



А. ГЕССЕН
ВО ГЛУБИНЕ
СИБИРСКИХ
РУД...

Издательство
«Детская литература»

Во глубине

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

А. С. Пушкин

А. ГЕССЕН

сибирских руд...



ДЕКАБРИСТЫ
НА КАТОРГЕ И
В ССЫЛКЕ

*

Издательство
„Детская
литература“

Москва

1965

Наши обязанности -

Сурьеза выучит насильственно язык
До Сурьеза. нечего думать....
Кто мерзаво планирует наши судьбы,
Но умел скрывать обман.

Но будь спокоен, Бурда, человек,
Своей судьбой гордиться смей;
И за забвением неогрени,
Все думо съездивше надъ забвением!

Наши обязанности трудны и громады —
Их забыть возгорится немая,
И правдолюбивый наш народъ
Сверстие подъ светом знамен.

Вери скучивше мы иже цитовъ —
И немая вновь захочетъ свободы!
Она напряженье на Царей,
И правдолюбивый народъ!

Кетовъ.
1828г.

Александръ Овсяннинъ.

*Марии, жене моей,
полувековой спутнице
в жизни и в труде*

ОТ АВТОРА

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА, после подавления восстания, декабристы начали свой тяжкий тридцатилетний путь от Сенатской площади в Петербурге на каторгу и в ссылку, свое тридцатилетнее «гражданство всех возможных тюрем и изгнаний».

«В 1825 году Россия, — писал В. И. Ленин, — впервые видела революционное движение против царизма». И Николай I жестоко расправился с восставшими.

13 июля 1826 года были казнены К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский, и уже в конце июля началась отправка декабристов из Петропавловской крепости. Крошечные решетчатые окна крепости обращены были к Зимнему дворцу, и в них мерцали Николаю I лица восставших. Он поспешил избавиться от них. Одна за другой выезжали из старинных Петровских ворот крестости фельдъегерские тройки и увозили декабристов в Шлиссельбургскую, Роченсальмскую, Кексгольмскую, Свеаборгскую, Выборгскую и другие крепости самодержавной Российской империи.

Одну партию за другой, по четыре человека в каждой, в сопровождении фельдъегерей и жандармов Николай I начал сразу же отправлять декабристов на каторгу. Это были суровые и мрачные этапы: Нерчинские рудники, Читинский каторжный острог, тюрьма Петровского завода и затем разбросанные по необъятным сибирским просторам заснеженные медвежьи углы, места ссылки и поселения — село Шушенское, Нарым, Туруханск, Мертвый Култук, Якутск, Вилюйск, Березов, Братский Острог, Верхнеколымск, Витим, Пелым...

Их было сто двадцать человек. И все они были еще очень молоды. Собранные вначале вместе в одной большой каторжной тюрьме, декабристы нашли друг в друге опору. Четыре года читинской каторги они называли «юношеской поэмой» своей драмы. Они и в трудных условиях сибирской подневольной жизни не прекращали начатой еще до 1825 года борьбы. Через годы и десятилетия каторги и ссылки они пронесли свою неугасимую ненависть к крепостничеству и самодержавию. Твердой поступью вышли они 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь, и через тридцать лет оставшиеся вернулись с гордо поднятой головой умирать на родину.

Это были «друзья, братья, товарищи» всех лучших людей тогдашней России, и на призыв Пушкина «хранить гордое терпенье» они ответили с каторги:

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!

«Vivos voco» — «Живых призываю» — этими двумя латинскими словами из «Песни о колоколе» Шиллера, призывавшими к свободе, равенству и миру, декабристы шутя называли свои кандалы... Их звон разбудил целое поколение...

* * *

Подвиг декабристов был назван В. И. Лениным величайшим патриотическим подвигом, вызывающим нашу законную гордость и восхищение. Этот подвиг имел огромное агитационное значение и призывал к действию все последующие поколения русских революционеров. В этом смысле представляет исключительный интерес впервые приводимое М. В. Нечкиной в ее большом труде о движении декабристов письмо старого декабриста И. И. Горбачевского. Незадолго до смерти он писал молодому шестидесятнику В. А. Обручеву, соратнику Н. Г. Чернышевского:

«Моя душа и сердце всегда с вами... Одно скажу без украшений и прибавлений, что, сидя дома, в одиночестве... благословляю тот случай, который мне помог в моей жизни и в моем сердце заменить Вами потерю моих прежних бывших товарищей, которых смерть унесла и которых я любил и высоко уважал; я в Вас встретил их, я их узнал, опять их вижу и слышу, говоря с Вами...»

Декабристам много помогли на каторге и в ссылке выехавшие в Сибирь за мужьями жены. Их было одиннадцать, этих героических женщин.

24 июля 1826 года из великолепного особняка на Английской набережной в Петербурге выехала в Сибирь двадцатипятилетняя дочь графа Лавала, княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая.

Эта выросшая в богатстве и роскоши аристократка первая последовала на каторгу и в ссылку за своим осужденным мужем, декабристом С. П. Трубецким.

Вслед за нею из дома Волконских на набережной Мойки в Петербурге, из той самой квартиры, где через десять лет после этого поселился А. С. Пушкин, выехала к мужу, С. Г. Волконскому, в Нерчинские рудники двадцатипятилетняя княгиня Мария Николаевна Волконская, дочь известного героя 1812 года генерала Н. Н. Раевского.

Через день после нее выехала к мужу в Сибирь Александра Григорьевна Муравьева, дочь графа Г. И. Чернышева. А. С. Пушкин направил с нею в Сибирь два послания: одно — декабристам, «Во глубине сибирских руд», другое — своему осужденному на вечную каторгу лицейскому товарищу, «первому другу, другу бесценному» И. И. Пущину.

И вслед за ними одна за другой по тому же бесконечному сибирскому тракту направились жены декабристов: Е. П. Нарышкина, Н. Д. Фонвизина, А. И. Давыдова, А. В. Ентальцева, М. К. Юшневская и А. В. Розен.

Среди этих замечательных женщин были еще две юные француженки. Почти не зная русского языка, они отправились в суровую Сибирь, чтобы разделить участь тех, кого давно любили: Полина Гебль вышла на каторге замуж за И. А. Анненкова, Камилла Ле-Дантю — за В. П. Ивáшева.

Еще многие хотели разделить участь своих мужей, но Николай I никому больше не разрешил ехать.

В далекой Сибири эти героические женщины начали строить свою новую жизнь и стали «посредниками между живыми и умершими политической смертью».

Вместе с декабристами они самоотверженно несли свою тяжкую долю. Лишенные всех прав, находясь вместе с каторжниками и ссыльнопоселенцами на самой низкой ступени человеческого бытия, жены декабристов на протяжении долгих лет своей сибирской жизни не переставали бороться вместе с

мужьями за те идеи, которые привели их на каторгу, за право на человеческое достоинство в условиях каторги и ссылки.

И не оставляли они без внимания тех, кого встречали на своем жизненном пути и кто нуждался в их помощи. Уже пройдя двадцатипятилетний путь каторги и ссылки, жены декабристов пришли в Тобольской тюрьме на помощь отправлявшимся на каторгу петрашевцам, среди которых был и Ф. М. Достоевский. Он был тогда «как ломоть отрезанный, как в землю закопанный» и позже писал в «Дневнике писателя»:

«...В Тобольске, когда мы, в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь...»

Жены декабристов держали себя всегда свободно и независимо и своим большим моральным авторитетом много сделали вместе с мужьями и их товарищами для поднятия культурного уровня местного населения.

Сибирское начальство, большое и малое, боялось их.

«Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разрывать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына (Нарышкина. — А. Г.), — доносил по начальству полицейский агент. — Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных, и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг».

Почти в тех же выражениях шефу жандармов Бенкендорфу жаловался на Фонвизину и Анненкову генерал-губернатор Западной Сибири Горчаков.

Десятилетия продолжалась эта ни на один день не прекращавшаяся борьба декабристов и их жен с Николаем I и его агентами...

О женах декабристов писала в начале нашего века, выйдя из каземата Шлиссельбургской крепости, В. Н. Фигнер:

«Не найдем ли мы в этих женщинах то необыкновенное, что поражало и восхищало их современников, и не признаем ли мы в них предтечей, светочей, озаряющих даль нашего революционного движения...»

Не все декабристы вынесли тридцатилетнюю сибирскую каторгу и ссылку. И не всем женам суждено было снова увидеть родину и своих оставленных дома детей и близких. Но вернувшиеся сохранили ясность сердца и души и всегда тепло и благодарно вспоминали свою крепко спаянную, дружную семью декабристов.

«Главное, — писал И. И. Пущин с каторги, — не надо утрачивать поэзию жизни, она меня до сих пор поддерживала; горе тому из нас, который лишится этого утешения в исключительном нашем положении».

О том же писала и вернувшаяся из Сибири П. Е. Анненкова:

«Надо сознаться, что много было поэзии в нашей жизни. Правда, много было лишений, труда и всякого горя, зато много было и отрадного. Все было общее — печали и радости, все делилось, во всем мы друг другу сочувствовали. Всех нас связывала тесная дружба, а дружба помогала нам переносить лишения и заставляла многое забывать...»

Декабристы скипелись в горниле тридцатилетних страданий...

В своем послании декабристам Пушкин писал в 1826 году:

...Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд...

«...их дело не пропало», — подтвердил уже в наши дни В. И. Ленин.

Перед читателем проходит на страницах этой книги вся тридцатилетняя жизнь на каторге и в ссылке этих бесстрашных героев и последовавших за ними жен — долгие годы мук и страданий, трагических неожиданностей, надежд и разочарований, постоянного ожидания облегчения их тяжелой доли, беспрерывных мечтаний и слабой веры в осуществление своих грез, грустных воспоминаний о прошлом и тягостных мыслей об ускользающей жизни...



глава Первая

В ДОМЕ У СИНЕГО МОСТА

...Тактика революций заключается в одном слове: *дерзай*, и, ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других.

К. Ф. Рылеев

ВСЕ НИТИ заговора тянулись к большому серому дому на набережной Мойки у Синего моста. В этом доме, в нескольких минутах ходьбы от Сенатской площади, жил общепризнанный глава и вдохновитель северных членов Тайного общества, «Шиллер заговора» — Кондратий Федорович Рылеев, человек с открытым сердцем и жаркой душой, мученик правды, как называли его друзья.

В одной квартире с ним временно жил в те дни его близкий друг Михаил Бестужев, и в том же доме — писатель Александр Бестужев (Марлинский), вместе с которым Рылеев издавал «Полярную звезду». Часто бывал здесь их третий брат — Николай Бестужев. Все они были членами Тайного общества.

В то время Рылеев писал свою поэму «Исповедь Наливайки». Дописав страницу, он зашел в комнату М. Бестужева и прочитал:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Пророческий дух этих строк порастил Бестужева.

— Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобой? Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? — ответил Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей гибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем о необходимости примера для пробуждения спящих россиян...

Это было время, когда вся Европа только что пережила тяжкие испытания. Ставленник французской буржуазии, Наполеон в результате захватнических войн подчинил влиянию Франции крупнейшие европейские страны. Под его пятой оказались Пруссия, Австрия, Швейцария, Италия. Из шестнадцати немецких государств был создан покорный ему Рейнский союз. Оставалась еще Россия — единственное самостоятельное, не покоренное Наполеоном государство.

Бетховен, посвятивший Наполеону написанную им новую, Героическую симфонию, воскликнул, когда узнал в 1804 году, что гражданин Бонапарт превратился в императора:

— Герой, превратившийся в тирана, погиб для меня. Черта с два я посвящу ему свою симфонию!..

И разорвал титульный лист с посвящением симфонии Наполеону...

Стремясь к мировому господству, Наполеон двинулся на Россию. Создав «великую армию», насчитывавшую 640 тысяч солдат, 1372 орудия и 156 тысяч лошадей, он напал летом 1812 года на Россию, сумевшую тогда сконцентрировать вдоль своих западных границ всего лишь 218 тысяч солдат. Захватчику удалось занять значительную территорию русской земли, но поднявшийся на священную Отечественную войну народ отразил вступившего уже в Москву врага. «Великая армия» была разгромлена. Наполеон бежал. Русские войска вошли в Париж.

Гордая своей победой над Наполеоном, русская гвардия возвратилась домой в ореоле славы. Перед ней была «немытая Россия, страна рабов, страна господ». Но это была родина. Население восторженно встречало своих сынов. Во главе гвардейской дивизии с обнаженной шпагой в руке гарцевал на коне император Александр I.

«Мы им любовались, — рассказывал впоследствии присутствовавший при этом герой Бородина и Кульма, будущий декабрист И. Д. Якушкин, — но в самую эту минуту почти перед его

лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако ж, не могла видеть мыши, не бросившись на нее...»

За этим первым разочарованием последовало новое — второе, третье...

В Европе вскоре после окончания войны воцарилась реакция. «Феодальные аристократы, — писал Ф. Энгельс, — господствовали во всех кабинетах от Лондона до Неаполя, от Лиссабона до С.-Петербурга». И всюду начали стихийно вздыматься волны революционных восстаний — в Испании, Неаполе, Португалии, Пьемонте, Греции.

Начали пробуждаться и «спящие россияне». Вернувшись из заграничного похода домой, солдаты и офицеры победоносной русской армии сразу почувствовали, как мрачно и убого на родине.

Нигде на Западе феодально-крепостнические отношения не сохранили таких чудовищных и уродливых форм, как в России, где крепостное право глубоко укоренилось, где

...барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Нигде в Европе народ не был так скован жестоким произволом властей и беспроектным рабством, как в России.

Скоро русское оружие и само стало оружием мировой реакции... Для организации подавления революционного восстания Александр I выехал за границу, и собравшийся в октябре 1820 года в Троппау конгресс принял решение силой подавлять повсюду революционное движение.

Правой рукой царя был в то время временщик Аракчеев, которого Пушкин заклеил эпиграммой:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полов злобы, полов мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? *Преданный без лестии...*

«Преданный без лести» — слова эти Аракчеев написал на своем фамильном гербе. Жестокий и беспощадный, он повсюду насаждал военные поселения — худший вид крепостного права. Солдаты-крестьяне должны были проходить в этих поселениях 25-летнюю военную муштру и одновременно пахать землю и добывать своим трудом хлеб и пропитание. За всякую провинность их жестоко истязали.

Крестьянская Россия волновалась. За первую четверть XIX века вспыхнуло двести восемьдесят восстаний. То тут, то там с кольями и дубинами в руках крестьяне восставали против своих угнетателей и помещиков. На Дону в 1818—1820 годах развернулось широкое крестьянское движение, в 1819 году вспыхнуло чугуевское восстание аракчеевских военных поселений. Крестьяне села Грузино, поместья Аракчеева, убили в 1825 году его подрядку, ненавистную им Настасью Минкину. В 1820 году в Петербурге разразилась так называемая «Семеновская история» — бунт солдат Семеновского гвардейского полка против командира полка, полковника Шварца, который собственноручно бил солдат, вырывал у них усы, заставлял их плевать друг другу в лицо и всячески унижал их человеческое достоинство.

«Отечественная война всколыхнула народные массы и явилась школой политического воспитания для первых русских революционеров, — читаем мы в статье академика М. В. Нечкиной и П. А. Жилина, написанной в дни недавнего празднования 150-летия Бородинской битвы. — Многие из них, в том числе все инициаторы движения декабристов, были активными участниками войны 1812 года. И в дыму великих битв, и в повседневных трудностях военных будней молодые офицеры общались с народом, видели воочию его героизм, стойкость, готовность пожертвовать жизнью во имя победы. «Между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле», — писал декабрист И. Д. Якушкин.

Декабристы вспоминали потом, как спали под одной шинелью со своими солдатами в лютые морозы, как выручала их народная сообразительность, как народ горел мечтой о воле. Самое сопоставление народного героизма с тяжелой долей крепостных, самый вид героя под палкой крепостника зывали к чувству чести».

«Я роптал на бога и царя, — заявил декабрист Я. М. Андреевич на следствии, — и в сем ожесточении старался исследовать источник всего неистовства, коим терзают моих соотечествен-

ников — еще в то время, когда не знал ни о каких (тайных) обществах.... Скажите, чего достойны сии воины, спасшие столицу и отечество от врага-грабителя, который попирали святыню? Так они, никто другой спас Россию... А такое ли возмездие получили за свою храбрость? Нет, увеличилось после того еще более угнетение...»

Такова была обстановка, в которой зрело после Отечественной войны 1812 года движение декабристов. Его возглавили, по выражению М. И. Муравьева-Апостола, «дети 12-го года».

«Мы... имели слово, потрясающее сердца равно всех сословий в народе: свобода», — писал уже из крепости своим судьям П. Г. Каховский. «Дух преобразования заставлял, так сказать, везде умы клокотать», — говорил П. И. Пестель.

Эти слова погибших на виселице декабристов отражают тогдашние прогрессивные общественные настроения в России и на Западе...

* * *

19 ноября 1825 года в Таганроге неожиданно скончался император Александр I. Члены Тайного общества считали, что наступил «час пробуждения спящих россиян», что можно наконец свершить то, к чему они много лет готовились.

Момент для этого был подходящий. У Александра I не было детей, царем должен был стать его брат, Константин, но он был женат на особе нецарской крови, на польской графине Иоанне Грудзинской, что, по закону о престолонаследии, лишало его права стать царем. Занимая должность главнокомандующего польской армией, он фактически был наместником царя в Польше, жил в Варшаве и давно отрекся от престола.

В запечатанных конвертах в Государственном совете, Сенате и Синоде в Петербурге и в Москве — в кремлевском Успенском соборе хранились документы отречения Константина. На пакете, находившемся в Государственном совете, имелась надпись Александра I: «Хранить в Государственном совете до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном собрании».

Отречение Константина держалось в глубокой тайне, о нем знал лишь очень ограниченный круг придворных.

При таких условиях царский престол должен был перейти к следующему брату Александра I — Николаю. Тот рвался к короне, но боялся сразу объявить себя императором, ибо народ считал законным наследником Константином и все ему уже при-

схватили. Притом Николай был груб, жесток, тупо ограничен. Армия его ненавидела.

Николай стал выжидать. Он хотел получить новое, формальное отречение Константина. Но Константину, видимо, тоже не хотелось упускать ускользавшую от него корону, хотя он и не очень к ней стремился. Николай ждал приезда Константина, но тот ограничивался лишь письмами чисто семейного характера.

Формально уже царствовал Константин I, были отчеканены монеты с его профилем, в витринах появились его портреты. Но фактически Россия жила без царя, создалось междоцарствие, и это продолжалось семнадцать дней, до 14 декабря. События между тем назревали. Рано утром 12 декабря Николай получил рапорт от начальника штаба Дибича, где излагалось содержание допосов Шервуда и Майбороды и назывались имена главных заговорщиков. И подпоручик Яков Ростовцев подтвердил это своим доносом. Медлить было нельзя.

Николай нервничал. В этот день за обедом пришел наконец долгожданный пакет из Варшавы, от Константина. Но это было снова лишь частное письмо, причем составленное в резких, не подлежащих обнародованию выражениях.

При таких условиях Николай решил не считаться больше с формальностями. 12 декабря, вечером, он приказал изготовить манифест о его восшествии на престол; 13 декабря, утром, подписал манифест и приказал Сенату 14 декабря, в семь часов утра, присягнуть ему, новому императору Николаю I...

* * *

Декабристы Батенков и Н. Бестужев в тот же день, 13 декабря, узнали о новом манифесте и назначении новой присяги — «переприсяги», как ее называли в народе.

Они давно уже готовились к действию — с того дня 27 ноября, когда в Петербурге получено было известие о смерти Александра I.

— Теперь или никогда! — воскликнул тогда Рылеев.

В девятнадцать лет окончив кадетский корпус, Рылеев отправился в чине прапорщика в армию, действовавшую против Наполеона. В 1818 году вышел в отставку в чине подпоручика, поступил на гражданскую службу и занялся литературной деятельностью.

Талантливый поэт, Рылеев стал известен своими «Думами» — небольшими историческими картинами в стихах, поэмами «Войнаровский» и «Наливайко» и одами на гражданские темы.

Один из деятельнейших членов Северного тайного общества, Рылеев не скрывал на следствии своей главной роли в организации восстания:

— Я мог бы предотвратить оное, — сказал он, — но, напротив, был гибельным примером для других.

Друзья называли его «наш первый поэт-гражданин», и в его квартире находился революционный штаб подготовки восстания.

В течение двух недель члены Тайного общества в «решительных и каждодневных совещаниях» собирались у Рылеева для обсуждения и выработки плана действий. В жарких спорах рождался этот план, и все сошлись на необходимости открытого выступления и революционного переворота для сокрушения самодержавия и крепостничества и провозглашения конституционного строя.

Ночь напролет Рылеев и братья Николай и Михаил Бестужевы обходили перед восстанием улицы Петербурга, останавливали солдат, разъясняли им создавшееся положение. Они говорили, что «переприсяга» незаконна и что, если воцарится Николай, ждать каких-либо льгот населению и снижения срока двадцатипятилетней солдатской службы уже не придется. Солдаты с жадностью слушали их.

Население волновалось.

За два дня до восстания, в субботу 12 декабря, Рылеев зашел к Н. Бестужеву.

— Николаю известно о готовящемся заговоре, — сказал он. — Яков Ростовцев, старший адъютант гвардейской пехоты, сообщил ему...

Рылеев держал в руках листок, на котором недавно принятый в члены Тайного общества Ростовцев изложил содержание своего разговора с Николаем: он сообщил царю о «таящемся возмущении», не назвав имен. Бестужев, однако, усомнился: не сказал ли Ростовцев Николаю больше, чем написал на этом листке?

— Что же, ты полагаешь, нужно делать? — спросил Рылеев.

— Никому ничего не говорить о том, что Николаю все известно... Лучше быть взятым на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества и никто не будет знать, где мы и за что пропали...

Рылеев обнял Бестужева.

— Я уверен был, — сказал он, — что это будет твое мнение. Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!..

Трогательное прощание Рылеева с Николаем Бестужевым дало А. И. Герцену основание писать, что, поднимая восстание, декабристы шли на верную гибель. Между тем подавляющее большинство восставших — и офицеров и солдат — отдавало себе полный отчет в грозящей им опасности и возможности личной гибели, но они верили в успех своего дела. Все они были «истинными и верными сынами отечества» и подняли восстание во имя родины.

«Мы так твердо были уверены, что или мы успеем, или умрем, что не сделали ни малейших сговоров на случай неудачи», — говорил брат Николая Бестужева, Александр. Все чувствовали и свое моральное обязательство выступать. «Случай удобен, — писал московским друзьям И. И. Пущин. — Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Так были настроены и солдаты. Слишком тяжела и невыносима была двадцатипятилетняя солдатчина, без семьи, без родных и близких. Солдат в николаевской армии был существом безличным, его можно было бить и истязать, прогонять сквозь палочный строй, издеваться над ним. У всех еще свежа была в памяти жестокая расправа с восставшими солдатами Семёновского полка.

В следственных делах сохранились показания ряда участвовавших в восстании нижних чинов: фейерверкеров Фадеева, Гончарова, Зенина, Анойченко и других. Их ответы на следствии показывают, что это были подлинные революционеры — пылкие и горячие, твердые и непоколебимые, быстрые в решениях, уверенные в правоте и успехе своего дела. 14 декабря солдатская масса не слепо шла на Сенатскую площадь за офицерами, с которыми плечом к плечу прошла по полям сражений до Парижа. Они шли сознательно, выражая тем решительный протест против попрания родины, против крепостничества, насилий и унижения человеческого достоинства русских людей. И они, конечно, верили в успех восстания.

Наоборот, Николай чувствовал себя в те дни растерянным и, как писал он впоследствии в своих «Записках», мысль о возможной победе восставших не оставляла его...

В ночь на 14 декабря, накануне восстания, на бурном собрании в квартире Рыльева был утвержден окончательный план действий.

Диктатором восстания был выбран полковник князь С. П. Трубецкой, участник Отечественной войны 1812 года. Он начал ее подпоручиком лейб-гвардии Семеновского полка, находился в армии во все время отступления от Вильны до Бородины, участвовал в Бородинском бою, затем в преследовании отступавших французов и в заграничном походе; был в сражениях под Люцею и Кульмом, под Лейпцигом был ранен. Вступив в члены Северного тайного общества, управлял его делами вместе с Н. М. Муравьевым и Е. П. Оболенским.

Командование войсками при занятии Зимнего дворца поручено было капитану А. И. Якубовичу. Это был смелый и решительный человек, которого знал весь Петербург. За участие в качестве секунданта в дуэли графа А. П. Завадовского с В. В. Шереметевым из-за известной в то время балерины А. И. Истоминой он был переведен из уланского полка на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк. В связи с этой дуэлью Якубович и сам дрался на дуэли с А. С. Грибоедовым, которому прострелил левую ладонь. На Кавказе Якубович отличался лихими набегами против горцев. В одном из таких набегов он был ранен в голову, из-за чего впоследствии постоянно носил повязку.

Якубович не принадлежал к Тайному обществу, но на Сенатскую площадь вышел 14 декабря вместе с декабристами и уже из крепости направил Николаю I свое замечательное письмо, в котором писал о разорительном мотовстве дворянства и противопоставлял ему беззащитное положение перед сильными трудового человека: «Нет защиты угнетенному, нет грозы и страха угнетителю!»

Захватить Петропавловскую крепость поручено было полковнику А. М. Булатову, старому школьному товарищу и «приятелю с детских лет» Рыльева. Булатов долго служил в лейб-гренадерском полку, солдаты очень любили его и в 1812 году вынесли его, раненого, с поля сражения. На них он крепко надеялся при осуществлении порученного ему дела.

Товарищ многих декабристов по Московскому университетскому благородному пансиону поручик П. Г. Каховский соглашался «открыть путь» к восстанию и, как бы совершая самостоятельный террористический акт, проникнуть утром 14 декабря в Зимний дворец и убить Николая.

14 декабря, в день «переприсяги», восставшие войска должны были выйти на Сенатскую площадь и силою оружия заставить Сенат отказаться от присяги Николаю. На Рылеева и Пущина возложена была обязанность предложить Сенату опубликовать революционный манифест к русскому народу. В этом манифесте царское правительство объявлялось низложенным, уничтожалось крепостное право, устанавливалось равенство всех сословий перед законом, объявлялась свобода печати, совести и занятий, обеспечивалась гласность судов, чиновники заменялись выборными лицами, сокращалась двадцатипятилетняя военная служба, уничтожались рекрутство и военные поселения, вводилась всеобщая воинская повинность и учреждалась внутренняя народная стража, отменялась подушная подать, слагались недоимки, уничтожались правительственные монополии на соль, водку.

Для решения вопроса о будущем политическом строе России — республике или конституционной монархии — предполагалось созвать Великий Собор.

Восставшие войска должны были с утра занять Зимний дворец и арестовать всю царскую семью. Судьбу ее тоже должен был решить Великий Собор.

* * *

До выхода на Сенатскую площадь оставались часы. Снова и снова на квартире Рылеева подсчитывались силы, проверялись принятые решения, готовились к восстанию.

«Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! — вспоминал позже Михаил Бестужев. — Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине, — физиогномия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им.

Так и в этот роковой вечер, решавший туманный вопрос «быть или не быть», его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями. Я любовался им...»

План переворота был выработан на этом собрании довольно подробно, но в нем отсутствовала самая главная и самая действенная сила всякой революции — народ.

Это не сулило успеха...

Рылеев не скрывал от друзей и близких своих настроений и предчувствий. О существовании Тайного общества была осведомлена и мать его, Анастасия Матвеевна. Как-то, еще задолго до восстания, уезжая в деревню, она зашла к сыну попрощаться. В кабинете у него сидел Николай Бестужев.

— Вот я уезжаю в деревню, — сказала она, — а мне так грустно! Меня тревожит мысль, что я не увижу тебя больше. Мне кажется, что я оставляю тебя обреченного на какую-то гибельную судьбу... Дай мне спокойно закрыть глаза. Я хочу видеть тебя счастливым и желаю умереть с тою же мыслью, что ты останешься счастлив и после меня... Побереги себя, ты неосторожен в словах и поступках.

Рылеев подошел к матери, нежно поцеловал ее и сказал, что он скрытен с чужими, но откровенен с друзьями, с теми, кто разделяет его взгляды и настроения.

Мать прервала его:

— Милый Кондратий, эта откровенность и убивает меня; она и показывает, что у тебя есть важные замыслы, которые ведут за собою важные последствия. С горестью предвижу, что ты вызываешься умереть не своею смертью. Зачем ты открываешь эту ужасную тайну матери?

Глаза матери наполнились слезами.

— Он не любит меня, — сказала она, обращаясь к Николаю Бестужеву. — Вы друг его, пользуетесь его расположением — убедите его: может быть, он вам поверит, что убьет меня, ежели с ним что-нибудь случится...

Н. Бестужев взял ее за руку и начал успокаивать. Она недоверчиво качала головой. Рылеев, взяв ее за другую руку, сказал:

— Матушка, до сих пор я видел, что вы говорили только об образе моих мыслей, и не тайл их от вас, но не хотел тревожить, открываясь в цели всей моей жизни, всех моих помышлений. Теперь вижу — вы угадываете, чего я ищу, чего хочу... Мне должно сказать вам, что я член Тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей...

Мать Рылеева побледнела.

— Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь... Я служил отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластного деспота... В наше время свет уже утомился от военных подвигов и славы героев,

приобретаемой не за благое родное дело помощи страждущему человечеству, но для его угнетения... Нет, матушка, ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше, — я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них; счастье россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права со властью, может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезарева... Итак, благословите меня!..

Рылеев был прекрасен. Глаза его сверкали, лицо горело каким-то необыкновенным для него румянцем. В беседе с матерью он выразил настроения подавляющего большинства друзей...

Матери передался энтузиазм сына. Она улыбалась, хотя слезы не переставали катиться из ее глаз. Она наклонила голову сына и благословила его. Горесть и чувство внутреннего удовлетворения боролись в ней.

— Все так, но я не переживу тебя... — сказала она, заливаясь слезами и выходя из кабинета сына.

Ей и не пришлось пережить казнь сына: она скончалась за год до восстания.

* * *

В день восстания, 14 декабря 1825 года, Рылеев встал на рассвете. В ту минуту, когда он выходил с Н. Бестужевым, навстречу ему выбежала жена, Наталья Михайловна, и преградила им путь.

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его! — вскрикнула она, обращаясь к Н. Бестужеву. — Я знаю, что он идет на гибель.

Оба они, Рылеев и Н. Бестужев, старались ее успокоить, но слова их не доходили до ее сердца. Она смотрела на них своими большими, полными ужаса черными глазами, и они не могли вынести ее взгляд.

Рылеев был в замешательстве. Вдруг жена его отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая пятилетняя дочь Рылеева, рыдая, обняла колени отца, и мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев бережно положил ее на диван и убежал...

глава Вторая

«ДЕТИ 1812 ГОДА»

Ни Пушкина нельзя понять без декабристов, ни декабристов без Пушкина.

М. В. Нечкина

ДЕКАБРИСТЫ... Кто были эти люди, возглавившие в мрачную эпоху самодержавия первое революционное движение против царизма и выступившие 14 декабря 1825 года с развернутыми боевыми знаменами на Сенатскую площадь?

«Лучшие люди из дворян помогли разбудить народ», — отвечает на этот вопрос В. И. Ленин.

«...фаланга героев, вскормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники», — писал А. И. Герцен.

Как возникли у этих «лучших людей из дворян» смелые, звавшие на подвиг, революционные мысли? Что питало их? Кто был их певцом и вдохновителем?

Рассказывая в своем капитальном труде «Движение декабристов» о том, как родились и созрели в России тайные общества, академик М. В. Нечкина пишет: «Ни Пушкина нельзя понять без декабристов, ни декабристов без Пушкина»...

* * *

«Имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями... Мне кажется, — говорил декабрист П. И. Пестель на следствии, — что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными...»

«Главное стремление русской революционной мысли на перевале XVIII и XIX веков сводилось к борьбе с крепостничеством и самодержавием.

Уже в «великую весну девяностых годов XVIII века», как назвал А. И. Герцен первые шаги передового отряда русского революционного движения, возник смоленский кружок офицеров, который вел значительную антиправительственную агитацию против сословного неравенства граждан и власти церковников. Членом этого кружка был, между прочим, знаменитый герой Отечественной войны, вольнодумец А. П. Ермолов, впоследствии командир Кавказского корпуса и управляющий гражданской частью на Кавказе, позволивший себе в приказе по войскам от 1 января 1820 года назвать солдат «товарищами». С ним поддерживал тесную связь и отец декабриста П. Г. Каховского. В ноябре 1797 года и в конце декабря 1798 года А. П. Ермолов был в связи с этим дважды арестован и в январе 1799 года отправлен в ссылку, из которой его освободила лишь смерть Павла I.

Каховский пытался даже вовлечь в «план к перемене правления» А. В. Суворова при вступлении на российский престол Павла I. Суворов, услышав это, подпрыгнул, перекрестил рот Каховского и сказал: «Молчи, молчи, не могу. Кровь сограждан!..»

Отражая недовольство широких общественных кругов, зрело и политическое сознание будущих декабристов. Все они охвачены были большой любовью к родине и подлинным патриотизмом, резко отличавшимся от казенного «квасного» патриотизма.

* * *

Одна за другой начали возникать после войны 1812 года ранние преддекабристские организации. Две офицерские артели возникли в Семеновском полку и среди офицеров Главного штаба в Петербурге. Возникла «Священная артель», к которой были близки многие лиценсты. Вслед за ними начали образовываться все новые декабристские организации.

В Петербурге родилось тайное общество, Союз Спасения, учредителями которого явились будущие декабристы: А. Н. Муравьев, С. П. Трубецкой, Никита Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин. Первоначально оно ставило себе целью освобождение крестьян от крепостной зависимости, но скоро поставило перед собою и другие задачи: борьбу с самодержавием, с абсолютизмом и создание конституционной монархии.

Союз Спасения, малочисленная, тщательно законспирированная организация, просуществовал всего два года: в 1818 году

он распался, и вместо него был создан Союз Благоденствия, который значительно расширил свой круг и решил, опираясь на самые разнообразные слои общества, подготовить общественное мнение к борьбе за политический переворот и свержение монархии, за учреждение республики.

Прошло еще два года, а Союз Благоденствия, казалось, дремал. Его программа и тактика перестали удовлетворять членов общества. Руководители Союза признали необходимым разработать новую революционную тактику и, опираясь на армию, наметить планы близкого выступления.

Созванный в 1821 году в Москве съезд постановил ликвидировать Союз Благоденствия. Радикально настроенные члены Союза имели в виду, прикрываясь этим решением, освободиться от его слабых и колеблющихся членов и организовать новое тайное общество.

В марте 1821 года возникло Южное тайное общество, осенью 1822 года — Северное. Идеологами их стали: Южного — П. И. Пестель, Северного — Никита Муравьев. Пестель направил в Петербург составленный им конституционный проект — «Русскую Правду», но северяне признали его слишком радикальным, и Никита Муравьев разработал параллельно свой проект Конституции. Они значительно отличались друг от друга: проект Пестеля предусматривал уничтожение крепостного права и учреждение республики, проект Н. Муравьева — уничтожение крепостного права и установление конституционной монархии.

* * *

В Отечественную войну 1812 года между офицерами, бывшими московскими студентами, и солдатами устанавливались простые человеческие отношения. В лице тех, кого дворяне привыкли считать крепостными, рабами, кого можно было вместе с семьями купить и продать, они увидели таких же людей, как и сами они, людей, глубоко любящих свою родину, готовых отдать за нее жизнь.

Оппозиционные настроения окрепли в боевой обстановке. И солдаты, вернувшись на родину, стали роптать. Декабрист Александр Бестужев писал Николаю I из крепости:

«Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляли потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».

Побывав за границей, будущие декабристы воочию убежда-

лись, как в результате революции утверждался представительный конституционный строй. Это дало им понятие «о пользе законов и прав гражданских». И еще утверждалось у них представление, что революционные завоевания прочны и возвращение после них к дореволюционным порядкам труднее, чем «проект перелить Женевское озеро в бутылки»...

Настроение в России было тяжелое. «Во всех углах виднелись недовольные лица, — писал А. Бестужев, — на улицах жимали плечами, везде шептались — все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом».

Характеризуя настроения общества и дух того времени, А. И. Герцен писал:

«Не велик промежуток между 1810 и 1820 годами, но между ними находится 1812 год. Нравы те же, тени те же; помещики, возвратившиеся из своих деревень в сожженную столицу, те же. Но что-то изменилось. Пронеслась мысль, и то, чего она коснулась своим дыханием, стало уже не тем, чем было».

И уже на следствии А. Бестужев говорил:

«Едва ли не треть русского дворянства мыслила почти подобно нам, хотя была нас осторожнее».

И Пестель писал:

«...Породилась мысль, что революция, видно, не так дурна, как говорят...»

Где гнездились очаги нараставшего общественного брожения?

Одним из таких очагов был Московский университет, где в разные годы учились около сорока будущих декабристов, среди которых было много основателей и виднейших деятелей тайных обществ.

Если в годы детства и юношества крепостное право представлялось будущим декабристам правом естественным, вытекавшим из их привилегированного княжеского или дворянского происхождения, то уже в самые свои молодые годы они знакомятся с запрещенной литературой вольнолюбивых русских писателей и под влиянием лекций передовых профессоров того времени начинают задумываться над темными сторонами русской действительности. В их дневниках встречаются, например, записи о том, что нигде в мире не оказывается более презрения к простому народу, как в России, что многие скачущие в каретах «молокососы» позволяют своим фрейторам безнаказанно бить бедных простолюдинов на улицах.

Таким же подлинным очагом воспитания декабристского

мировоззрения явилась Московская школа колонновожатых, выросшая впоследствии в Академию Генерального штаба. Из этой школы вышли двадцать четыре будущих декабриста — участники и основатели Военного общества, ставшие затем членами Союза Спасения и Союза Благоденствия. Здесь на первом плане стояли общественные интересы, культивировалось товарищество, поощрялась самостоятельность и воспитывалось чувство равенства. Здесь родилось «Юношеское собрание» и возникла мысль создать на Сахалине, по планам «Социального договора» Жан-Жака Руссо, республику на основе равенства между собою людей.

И очень ярко зрели свободолюбивые настроения в Царскосельском лицее, где расцветал в то время гений Пушкина.

* * *

Что питало в лицее вольнолюбивые настроения Пушкина и его друзей?

Уже директор лицея Е. А. Энгельгардт, на всю жизнь сохранивший дружеские отношения с своими питомцами, предупреждал их, знакомя с правилами внутреннего лицейского распорядка:

«Все воспитанники равны, как дети одного отца и семейства, а потому никто не может презирать других или гордиться пред прочими чем бы то ни было. Если кто замечен будет в сем пороке, тот занимает самое нижнее место по поведению, пока не исправится... Запрещается воспитанникам кричать на служителей и бранить их, хотя бы они были крепостные люди...»

В день открытия лицея большое впечатление произвело на лицейстов прочитанное преподавателем нравственных и политических наук профессором А. П. Куницыным «Наставление воспитанникам Царскосельского лицея». Отрешившись от штампованного архаического казенного славословия, Куницын ни разу не упомянул в своем наставлении имени присутствовавшего на торжестве императора Александра I. Он призывал юных лицейстов не к раболепным верноподданническим чувствам, а к гражданскому служению родине. Он приглашал их действовать так, как «думали и действовали древние россы: любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководителем».

Не прерывавший связей даже с своими осужденными на каторгу питомцами, Энгельгардт вспоминал позже в своих письмах к Кюхельбекеру, что «Куницын на кафедре беспрестанно говорил против рабства и за свободу».

Рядом с Куницыным большую роль в развитии свободного и ясного мировоззрения у Пушкина и его лицейских товарищей сыграли профессор А. И. Галич, И. К. Кайданов, Н. Ф. Кошанский.

В свободные от занятий часы Кошанский читал лицеистам русские и иностранные журналы «при неумолкаемых толках и прениях», вспоминал позже Пушкин. «Профессора приходили к нам и научили нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное».

Колоритной фигурой среди лицейских профессоров являлся профессор французской словесности Д. И. де Будри, родной брат Жана-Поля Марата, знаменитого деятеля французской революции. Лицейсты, надо думать, не раз тайком беседовали с своим профессором, слушая его рассказы о событиях Великой французской революции...

* * *

Пушкину только что исполнилось тринадцать лет, когда, охваченная патриотическим порывом и пламенной любовью к родине, мимо окон лицея, на борьбу с Наполеоном.

...текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Мимо лицея проходила и победно возвращавшаяся из Парижа на родину русская армия. Лицейсты восторженно встречали их, и юный поэт читал 8 января 1815 года на лицейском экзамене свои высокопатриотические «Воспоминания в Царском Селе»:

О вы, которых трепетали
Европы сильны племена,
О галлы хищные! и вы в могиле пали.
О страх, о грозны времена!
Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
Исчез, как утро страшный сон!

В том же году он написал проникнутое патриотическим пафосом стихотворение «Наполеон на Эльбе», а позже — «Наполеон»:

Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал...

И еще на лицейской скамье Пушкин четко и ясно определяет в стихотворении «Лицинию» свой дальнейший жизненный путь:

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа...
В сатире праведной порок изображу
И правы сих веков потомству обнажу...

* * *

В Царском Селе лицеисты встретились с будущими членами тайных обществ. Пушкин и его друзья знакомятся с офицерами стоящего в Царском Селе лейб-гвардии Гусарского полка и посещают их квартиры. Среди них — П. Я. Чаадаев и П. П. Каверин, с которыми Пушкин особенно сблизился, и А. Н. Зубов.

В лицей приезжают: «прапорщик Муравьев», «адъютант Пестель», «полковник Глинка». Пушкин знакомится с будущими декабристами. В ряды декабристов вступают его ближайшие лицейские друзья — И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер.

«Лицейский дух», лицейские настроения были враждебны самодержавному крепостническому строю, и Ф. В. Булгарин — журналист, редактор «Северной пчелы» и одновременно агент ведавшего секретным политическим розыском III отделения — доносил, что в «лицее начали читать все запрещенные книги, там находится архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в лицей».

Н. В. Каразин, умеренно либеральный деятель пушкинской поры, интересуясь делами лицея и «нравственностью» его воспитанников, записывает в своем дневнике и доносит министру внутренних дел Кочубею: «В самом лицее царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все вышедшие оттуда... из воспитанников более или менее есть почти всяк Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же

и в действительные ложи поступили. Кто сочинители карикатур или эпитграмм, каковые, например, на двуглавого орла, на Стурдзу, в котором высочайшее лицо названо весьма непристойно и проч. Это лицейские питомцы!..»

* * *

Лицейский товарищ и близкий друг Пушкина И. И. Пущин вошел в Союз Спасения еще в свои лицейские годы, а в 1818 году, когда Союз Спасения был ликвидирован и на его месте возник Союз Благоденствия, членами его, помимо И. И. Пущина, стали лицейские товарищи Пушкина, будущие декабристы — В. К. Кюхельбекер и В. Д. Вальховский.

Но все это они скрывали от Пушкина.

Зная «подвижность пылкого нрава» поэта, они не хотели подвергать его опасности и одновременно боялись, что каким-нибудь неосторожным словом Пушкин может погубить все их дело.

Между тем и сам Пушкин состоял членом литературного общества «Зеленая лампа», являвшегося «побочной управой», отделением Союза Благоденствия, и не раз бывал в кругу членов Союза Благоденствия у Ильи Долгорукова.

В своем показании, написанном 28 января 1826 года в каземате Петропавловской крепости, декабрист И. Н. Горсткий сообщил, что Пушкин «читывал», зимой 1819—1820 годов, на этих собраниях свои стихи.

Именно об этих своих юношеских встречах Пушкин писал в болдинскую осень 1830 года в незаконченной строфе сожженной им десятой главы «Евгения Онегина»:

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.
Казалось; но
Узлы к узлам
И постепенно сетью тайной
России
Наш царь дремал...

«Зеленая лампа», членом которой состоял Пушкин, была литературным обществом с ярко выраженной политической

окраской. На собраниях ее за круглым столом, при свете зеленой лампы, обсуждались новости литературы и политики.

О характере этих бесед дает представление дошедшая до нас политическая утопия «Сон», написанная членом «Зеленой лампы» А. Д. Улыбышевым.

Автор утопии видит сон, который «согласуется с мечтами его товарищей по «Зеленой лампе». Перед ним послереволюционный Петербург. На фасаде Михайловского дворца большими золотыми буквами начертана надпись: «Дворец государственного Собрания». В зданиях переполнявших город бесчисленных казарм разместились общественные учреждения, академии, библиотеки. Аничков дворец стал «Русским пантеоном», но среди украшавших его бюстов великих людей не было бюста Александра I.

По этому новому Петербургу автора водит во сне почтенный старец, который говорит ему, что «великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили также почти угасшую искру нашего народного гения». Увеличилось благосостояние народа, невиданно расцвели земледелие, промышленность, торговля, все виды литературы и искусства.

Обе головы двуглавого орла на старом гербе России — деспотизм и суеверие — отрублены. На новом гербе изображен парящий в облаках феникс с венком из оливковых ветвей, эмблемой мира в клюве...

Многие члены «Зеленой лампы» были и членами Союза Благоденствия. Пушкин не был его членом, но постоянное участие его на собраниях «Зеленой лампы» бесспорно накладывало свою печать на его мировоззрение.

Находясь позднее в ссылке, Пушкин вспоминал «Зеленую лампу»:

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, золотая чаша,
В руках веселых остряков?..

В этом окружении лучших сынов тогдашней России, в волнующей атмосфере нараставших революционных настроений Пушкин «действовал как нельзя лучше для благой цели». Уже тогда он стал ярким выразителем идеологии декабристов...

Поселившись после выхода из лицея в Петербурге, Пушкин часто посещал дом Тургеневых на Фонтанке.

В дневнике С. И. Тургенева появилась тогда запись о раз-

вертывающемся таланте юного Пушкина: «Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность, и вместо оплакиваний самого себя пусть первая песнь его будет: «Свобода».

Пушкин как будто подсмотрел эту запись С. И. Тургенева и, глядя из окон комнаты его брата, Н. И. Тургенева, на покинутую твердыню Михайловского замка, где был убит император Павел I, создал свою первую песнь Свободе — оду «Вольность».

Через год, одно за другим, появились три стихотворения Пушкина:

«К Н. Я. Плюсковой» —

Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей..

«Noël» —

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
За ним и весь народ..

«К Чаадаеву» —

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Еще через год, в 1819 году, Пушкин написал «Деревню»:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тоще влачится по браздам
Неумолимого владельца...

* * *

Все эти смелые, вольнолюбивые стихи юный Пушкин писал в годы жесточайшей реакции, и Александр I выслал его за них на юг России.

Высланный из Петербурга, отбывая ссылку в Кишиневе, Пушкин не раз бывал в имении Давыдовых Каменке, которую позднее называли столицей южных декабристов.

24 ноября 1820 года в Каменке праздновали день имени хозяйки, Екатерины Николаевны. Сыновья, Василий Львович

и Александр Львович Давыдовы жили в Каменке постоянно. Старший сын его от первого брака, знаменитый герой 1812 года генерал Николай Николаевич Раевский, приехал поздравить мать вместе с своим сыном Александром.

Один за другим прибыли в тот день в Каменку П. И. Пестель, М. Ф. Орлов, И. Д. Якушкин, К. А. Охотников. Все они, как и В. Л. Давыдов, были членами Союза Благоденствия и собрались в Каменке не случайно.

Якушкин был крайне удивлен, когда к нему неожиданно выбежал с распростертыми объятиями А. С. Пушкин. Они познакомились незадолго перед тем в Петербурге, у друга поэта, П. Я. Чаадаева, и в Каменке часто и подолгу беседовали.

Якушкин как-то прочитал Пушкину его вольнолюбивые стихи: «Деревню», «Noël» («Ура! в Россию скачет...»), «На Аракчеева», «К Чаадаеву» и другие. Пушкин удивился: откуда Якушкин знает их? Тот объяснил, что «они не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть»...

Пушкин оказался таким образом в самом центре южных заговорщиков, ежедневно встречался с ними, часто присутствовал при их беседах.

Поэту Н. И. Гнедичу он писал 4 декабря 1820 года: «Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше... разнообразная и веселая смесь умов оригинальных людей, известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя... много острых слов, много книг».

Но время в Каменке протекало, конечно, вовсе не в «демагогических спорах». В связи с приездом Якушкина из Петербурга и приглашением собравшихся на московский съезд члены южного, более радикального крыла Союза Благоденствия должны были выработать в Каменке свою линию поведения на будущем съезде.

Для своих тайных бесед гости обычно собирались в комнатах В. Л. Давыдова или в гроте, над которым начертаны были слова К. Ф. Рылеева: «Нет примиренья, нет условий между тираном и рабом».

Сводный брат Давыдова, генерал Н. Н. Раевский, не принадлежал к Тайному обществу, но подозревал его существование и с большим любопытством наблюдал все происходившее вокруг него.

Чтобы сбить его с толку, собравшиеся члены Союза Благоденствия организовали однажды беседу на политические темы, а его выбрали президентом. С полушутливым и полуважным видом, рассказывает в своих воспоминаниях декабрист И. Д. Якушкин, генерал Н. Н. Раевский управлял беседой.

В этой беседе принял участие и Пушкин, который с жаром доказывал, что Тайное общество могло бы принести России большую пользу.

Якушкин, настроенный очень радикально, стал, вопреки своим взглядам, нарочно доказывать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть сколько-нибудь полезно.

Раевский не соглашался с ним, и Якушкин сказал ему:

— Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?

— Напротив, наверное бы присоединился! — ответил генерал Раевский.

— В таком случае, давайте руку! — сказал Якушкин.

Генерал Раевский протянул Якушкину руку, а тот в ответ на это расхохотался и сказал:

— Разумеется, все это только одна шутка!..

Другие тоже рассмеялись, но Пушкин был очень взволнован: ему казалось, что он находится среди руководителей Тайного общества и станет, наконец, его членом. Когда он увидел, что все это собрание было превращено в шутку, он встал и, раскрасневшись, сказал со слезой на глазах:

— Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь свою облагороженною и высокую цель пред собой, и все это была только злая шутка...

«В эту минуту он был точно прекрасен», — вспоминал Якушкин...

* * *

В Кишиневе Пушкин продолжал общаться с декабристами, снова встретился с Пестелем, который был послан сюда для выяснения обстоятельств греческого восстания, познакомился с вождем этого восстания, Александром Ипсиланти, и думал даже встать в ряды борцов за освобождение Греции.

О своей встрече с Пестелем Пушкин записал в кишиневском дневнике: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Mon coeur est matérialiste, — говорит он,—

mais ma raison s'y refuse¹. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»

Пребывание в Каменке и Кишиневе и частые встречи с декабристами нашли свое отражение в творчестве Пушкина. В начале 1821 года поэт пишет стихотворение «Кинжал», в котором утверждает, что

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Вслед затем появляется послание к «В. Л. Давыдову»:

Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя —
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя.

Эти «два слова» — сочувствие предводителю греческого восстания Александру Ипсиланти и деятелям неаполитанской революции — Пушкин заканчивает выражением сочувствия революционным методам борьбы:

...мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся...

* * *

Отбывая после Кишинева и Одессы, вдали от друзей, михайловскую ссылку, Пушкин томился. Навещать его было опасно. На это решились лишь самые близкие его друзья — А. А. Дельвиг и И. И. Пущин, будущий декабрист.

Собираясь съездить в Псков к сестре, Пущин взял отпуск на 28 дней и как будто невзначай спросил А. И. Тургенева, тоже близкого друга поэта:

— Не будет ли у вас каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него?

— Как! Вы хотите к нему ехать? — удивился Тургенев. — Разве вы не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?

— Все это знаю, — ответил Пущин. — Но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад.

— Не советовал бы, — возразил Тургенев. — Впрочем, сделайте, как знаете.

¹ Сердцем я материалист, но мой разум этому противится (*франц.*).

То же самое услышал Пущин и от дяди поэта, В. Л. Пушкина. Но решился.

11 января 1825 года, около 8 часов утра, еще находясь в постели, Пушкин услышал звон колокольчика. Мимо крыльца его опального домика, утопая в сугробах снега, во весь опор пронеслись кони. Босиком, в одной рубашке, Пушкин выбежал на крыльцо. Навстречу ему, выскочив из саней, бежал его «первый друг, друг бесценный», Пущин. Весь в снегу, в заиндевевшей шубе и шапке, Пущин взял своего друга в охапку и внес в горницу.

Целый день, до глубокой ночи, беседовали друзья, и здесь наконец Пущин сообщил Пушкину о существовании тайного общества, а возможно, и о намечавшемся открытом выступлении против самодержавия...

Сын декабриста, М. С. Волконский, направляя академику Л. Н. Майкову первый том сочинений Пушкина в издании Российской Академии наук, писал, между прочим, в письме к нему от 8 мая 1899 года:

«Пушкин, гений которого освещал в Сибири мое детство и юность, был мне близок по отношению его к отцу и к Раевскому, так что я всю жизнь считал его близким себе человеком. Не знаю, говорил ли я вам, что моему отцу поручено было принять его в общество и что отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха...»

Пушкин, таким образом, лишь случайно не стал членом Тайного общества...

* * *

За три месяца до восстания произошло слияние Южного тайного общества с тайным Обществом соединенных славян, существовавшим с 1823 года и ставившим своей целью объединение всех славянских народов в одну демократическую республиканскую федерацию. Демократические настроения славян, однако, резко отличались от психологии дворянских революционеров.

Историк общества И. И. Горбачевский писал, что, с точки зрения соединенных славян, «никакой переворот не может быть успешен без согласия и содействия целой нации... Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются».

Члены Южного тайного общества думали произвести переворот одну военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни

нижним чинам: первых они надеялись увлечь энтузиазмом и обещаниями, вторых — или теми же средствами, или деньгами и угрозами.

Члены Общества соединенных славян в большинстве своем именно в народе искали помощи. Это были люди молодые, пылкие, доверчивые и решительные.

Эта разница во взглядах и настроениях ярко выразилась во время переговоров о слиянии Южного общества с Обществом соединенных славян.

— Народ, — говорил основатель Общества соединенных славян П. И. Борисов, — должен делать условия с похитителями власти не иначе, как с оружием в руках, купить свободу кровью и утвердить ее; безрассудно требовать, чтобы человек, родившийся на престоле и вкусивший сладость властолюбия с самой колыбели, добровольно отказался от того, что он привык почитать своим правом.

— Зачем объявили солдатам о замышляемом перевороте? — спросил во время переговоров член Южного тайного общества подполковник А. В. Ентальцев.

— Затем, — ответил ему Горбачевский, — чтобы им знать, за что они будут сражаться.

И когда на одном из собраний встал вопрос о цареубийстве, о готовности «освободить Россию от тирана», на это вызвались пятнадцать членов Общества соединенных славян...

* * *

Меня свои названия и постепенно реорганизуясь, тайные общества просуществовали, таким образом, со дня своего основания до дня восстания около десяти лет. Царское правительство, конечно, представляло себе, что протест против самодержавия и крепостничества зреет и ширится, но более обстоятельные сведения о существовании тайных обществ Александр I получил от доносчиков лишь накануне своей смерти, а Николай I — в дни междоусобицы.

* * *

Рассказ о возникновении тайных обществ в России и восстании декабристов будет не полон, если не рассказать о Владимире Федосеевиче Раевском, вошедшем в историю под именем «первого декабриста».

Раевский получил образование в Московском университете.

Отправляясь на войну и расставаясь со своим товарищем, будущим декабристом Г. С. Батенковым, он писал: «Мы расстались друзьями и обещали сойтись, дабы в то время, когда возмужаем, стараться привести идеи наши в действие»...

Возвратившись из заграничного похода 1812—1813 годов в Россию, Раевский столкнулся с «железными когтями» Аракчеева и вышел в отставку, но скоро вернулся в армию.

Он проходил службу на юге России, где оказался в кругу будущих декабристов и где обстановка благоприятствовала проведению его «идей в действие»: он вел агитацию среди солдат как при их обучении, так и знакомя их со своими пропагандистскими сочинениями — «О рабстве крестьян», «О солдате» и др.

Командиром дивизии, где служили многие члены Тайного общества, был известный генерал М. Ф. Орлов, отменивший в своих частях телесное наказание солдат. Все, и солдаты и офицеры, любили его за справедливое и человеческое отношение к ним.

С Орловым Пушкин, проживая в Кишиневе, был в большой дружбе. Раевский был адъютантом Орлова и здесь сблизился с поэтом. Оба они были членами кишиневской масонской ложи «Овидий».

До Александра I скоро дошли сведения о вольнолюбивых настроениях во Второй армии, и там учреждена была секретная полиция, которая довольно быстро показала себя.

Готовился арест Раевского, и вышло так, что первым предупредил его об этом Пушкин.

Проживая у начальника края генерала Инзова, Пушкин случайно услышал 5 февраля 1822 года разговор с Инзовым корпусного командира генерала Сабанеева. Около девяти часов вечера Пушкин постучался к Раевскому.

— Здравствуй, душа моя! — сказал он торопливо и изменившимся голосом.

— Здравствуй. Что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток Сабанеева. Но что такое?

— Вот что, — продолжал Пушкин. — Сабанеев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушко — ты знаешь, как он тебя любит, — отстаивал тебя горячо. Долго еще продолжался разговор; я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева уразумел,

что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал Раевский Пушкину, — я этого почти ожидал. Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкою расправой... Впрочем, что будет, то будет...

На другой день, 6 февраля 1822 года, Раевский был арестован. В руки агентов секретной полиции попали только некоторые его письма и записки «О солдате» и «О рабстве крестьян».

«Арестом кончилась моя светлая общественная жизнь, — началась новая, можно сказать, подземная, тюремная», — писал Раевский сестре через сорок лет, в 1863 году.

Он был заключен в Тираспольскую крепость и оттуда направил послания: «К друзьям в Кишинев» и «Певец в темнице».

Приятели Пушкина, Липранди, записал в дневнике, какое большое впечатление произвело на Пушкина чтение «Певца в темнице». На вопрос, какое место ему больше всего понравилось, поэт отметил стихи Раевского:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе...

Последнюю строку Пушкин повторил и сказал:

— Никто не изображал еще так сильно тирана: «И мысль и взор казнит на плахе...» Хорошо выражено, — добавил Пушкин, — и о династии: «Бичей кровавый род...» После таких стихов не скоро же мы увидим этого Спартанца...

Спартанцем Пушкин и прежде называл Раевского, а Раевский его — Овидиевым племянником...

В ответ на послания Пушкин адресовал Раевскому два стихотворения: «Не тем горжусь я, мой певец...» и «Ты прав, мой друг...». В четырех незаконченных строках этого последнего стихотворения Пушкин писал:

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
Тиран льстец
Иль предрассудков раб послушный.

Почти четыре года просидел Раевский в Тираспольской крепости. Во время допросов он держал себя мужественно и стойко, и следствию ничего не удалось узнать от него о существовании тайных обществ. После подавления восстания 14 декабря Раевского привезли в Петербург и 21 января 1826 года

направили в Петропавловскую крепость, откуда перевели в крепость Замостье. Он прошел пять военно-судных комиссий и писал «К друзьям в Кишинев»:

Но я замолк перед судом!..
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственные жизни
Не мрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.

Военно-судная комиссия приговорила Раевского к «лишению живота», но после его резкого, получившего широкую огласку «Протеста» смертная казнь заменена была лишением чинов и дворянства и ссылкой на поселение в село Олонки, близ Иркутска, «где бы он, не имея с другими сообщения, не мог распространять вредных его внушений...»

Глава Третья

НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Нравственное действие, произведенное днем 14 декабря, было удивительно. Пушкины Исаакиевской площади разбудили целое поколение.

А. И. Герцен

ЖАСТУПИЛО пасмурное утро 14 декабря 1825 года. В этом году, по выражению В. И. Ленина, «Россия впервые видела революционное движение против царизма».

Солнце в этот короткий зимний день взошло поздно — в девять часов с минутами. Николай мрачно бродил по залам Зимнего дворца. Он знал, что дворец, эта вековая твердыня русского царизма, окружен кольцом серьезного, угрожающего восстания...

«Завтра я — император или без дыхания», — писал он накануне одному из своих генералов. И сестре написал письмо, полное безнадежного уныния и растерянности.

Во дворец уже начали съезжаться для принесения вторичной присяги высшие командиры гвардии. Усилием воли Николай стряхнул с себя «дух уныния» и вошел в зал. Все встали. Он почувствовал себя императором.

— Если буду императором хоть на час, то докажу, что был того достоин! — сказал он собравшимся. И принял решение: не уступать, бороться за престол отцов и дедов и — никого не щадить...

* * *

Руководители восстания поднялись в тот день рано. Многие совсем не ложились. Начальник штаба восстания, старший адъютант командующего гвардейской пехотой поручик князь Е. П. Оболенский, начал еще затемно объезжать казармы. Декабристы уже готовились в это время выводить на Сенатскую площадь свои воинские части.

Было темно, когда в казармы лейб-гвардии Московского полка прибыл офицер лейб-гвардии драгунского полка Александр Бестужев. Одной из рот этого полка командовал его брат, штабс-капитан Михаил Бестужев, другой — штабс-капитан князь Д. А. Щепин-Ростовский.

«Я ожидал, что кончу жизнь на штыках, не выходя из полку, ибо мало на москвичей надеялся, — вспоминал позже А. Бестужев. — Я говорил сильно, меня слушали жадно...»

Солдаты зарядили боевыми патронами ружья, на всякий случай прихватили с собою артельные деньги и, у кого были, свои собственные, чтобы в случае необходимости не нуждаться.

У выхода из ворот им преградил путь командир полка генерал-майор барон Фредерикс.

— Отойдите прочь, генерал! — крикнул Александр Бестужев, наведя на него пистолет.

— Поди прочь, убьем! — раздались солдатские голоса.

Ударом сабли по голове Щепин-Ростовский свалил Фредерикса с ног. Сабельными ударами Щепин-Ростовский убрал с пути бригадного командира генерал-адъютанта Шеншина и полковника Хвоцинского.

Под сенью овечьих славою 1812 года знамен вышли первыми на Сенатскую площадь восемьсот человек Московского полка. Во главе их шел Александр Бестужев (Марлинский),

уже известный тогда писатель, рядом с ним — его брат Михаил и Щепин-Ростовский.

Прибывшие выстроились у подножия памятника Петру I в каре — боевым четырехугольником, — что давало возможность отражать нападения со всех четырех сторон.

Было не очень холодно, около восьми градусов мороза, с моря дул ледяной ветер. Стоять было нелегко. Но настроение у всех было бодрое. На глазах у построившихся Александр Бестужев точил свою саблю...

Между тем Рылеев был озабочен. Уже на рассвете он получил одно за другим два тяжелых известия. Надламывались основные звенья намеченного декабристами плана восстания: Якубович отказался вести Гвардейский экипаж в Зимний дворец для захвата царской резиденции и ареста царской семьи; Каховский отказался совершить цареубийство, чтобы открыть путь восстанию.

Позже выяснилось, что выбранный диктатором Трубецкой вовсе не явился на Сенатскую площадь, оставив, таким образом, восставших на произвол судьбы.

Во всем этом сказался ограниченный характер дворянской революционности.

Выяснилось еще одно не предвиденное руководителями восстания обстоятельство. По намеченному плану, Рылеев и И. Пущин должны были, после того как войска явятся на Сенатскую площадь, предложить Сенату не присягать Николаю и опубликовать составленный декабристами, обращенный к русскому народу манифест.

Но Николай, уже предупрежденный доносами унтер-офицера Шервуда, капитана Майбороды, поручика Якова Ростовцева и агента Бошняка о готовящемся восстании, предложил Сенату собраться для принесения присяги необычно рано, в семь часов утра, до того, как восставшие войска выйдут на Сенатскую площадь.

Уже в 7 часов 20 минут утра сенаторы принесли присягу и разошлись. Первые явившиеся на Сенатскую площадь восставшие солдаты Московского полка стояли перед пустым зданием Сената...

* * *

Николай со своими приближенными находился на площади перед Зимним дворцом. Сенатская площадь, которую заняли восставшие, была рядом, в десяти минутах ходьбы. Можно было видеть друг друга невооруженным глазом.

Петербургский военный генерал-губернатор М. А. Милорадович, очевидно, где-то уже встретился с восставшими, и встреча эта, судя по его виду, была не очень мирная: мундир его был расстегнут, воротник наполовину оборван, андреевская лента через плечо помята, галстук скомкан.

— Государь, вот в какое состояние они меня привели, — сказал он. — Теперь только сила может воздействовать... Они идут к Сенату... Но я поговорю с ними...

Милорадович направился к восставшим. Герой Отечественной войны, он умел говорить с солдатами. Опасаясь его влияния, Оболенский трижды просил генерала не обращаться к солдатам.

— Почему же мне не говорить с солдатами? — запальчиво крикнул Милорадович. И в морозном воздухе резко звучали его обращенные к ним слова: — Нет тут ни одного офицера, ни одного солдата!.. Вы пятно России! Вы преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед богом! Что вы затеяли?.. Вы должны немедленно пасть на колени перед Николаем! За мной, солдаты!..

Тогда Оболенский выхватил из рук ближайшего солдата ружье и с возгласом: «Прочь!» — отстранил штыком лошадь Милорадовича, а самого его ранил в правую ногу. В этот момент раздался выстрел: пуля П. Г. Каховского смертельно ранила и свалила Милорадовича с лошади. Одновременно с Каховским в Милорадовича стреляли и из солдатских рядов.

К москвцам в это время присоединились явившиеся на Сенатскую площадь под командой Николая Бестужева и лейтенанта А. П. Арбузова моряки Гвардейского экипажа, в числе свыше 1000 человек, и лейб-гренадеры — около 1250 человек, которых привел поручик Н. А. Панов.

Число восставших возросло до 3050 человек, но среди офицеров чувствовалась растерянность. Был уже час дня, а диктатора Трубецкого не было. Рылеев тщетно искал его повсюду...

Между тем Николай, придя в себя от первого испуга, приблизился с окружавшими его генералами к Адмиралтейскому бульвару, начал стягивать сюда уже присягнувшие ему полки, проверял караулы, отдавал распоряжения.

На прилегавших к Сенату площадях и улицах собрались к этому времени огромные толпы народа. Слухи о восстании распространились по Петербургу уже накануне, и людской поток, устремившийся к Сенатской площади затемно, с каждым часом все увеличивался. Крыши прилегавших к Сенатской площади домов были усеяны людьми.

Трудно сказать, как велико было 14 декабря это скопление народа на площадях и улицах Петербурга, — современники говорили об огромных людских массах, о десятках тысяч человек. В толпе преобладали цеховые, дворовые, крестьяне, разночинцы, составлявшие в то время, согласно официальной статистике, большинство населения столицы. Всего проживало тогда в Петербурге 422 891 человек.

Многие из собравшихся в тот день у Сенатской площади были явно на стороне декабристов и открыто это выражали. В Николая и его свиту, в действовавших по его приказу генералов и офицеров из толпы летели поленья и камни, люди вооружены были кольями и палками, некоторые ружьями и ножами.

— Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем! — раздавались голоса.

Но дворянские революционеры боялись активности народных масс, которые были на их стороне в день восстания 14 декабря, и не использовали их. Они боялись народа, боялись, что, соединившись с солдатами, «чернь» перехлестнет через их головы и перейдет к открытому восстанию и бунту.

Между тем на площади стояли три тысячи солдат, три тысячи человек, которые, оставив казармы, сожгли за собою все корабли и готовы были идти на все. Декабрист А. Е. Розен, участник восстания, писал позже, что эта сила в руках одного начальника, в окружении десятков тысяч готовых ей содействовать людей могла бы все решить. К тому же среди присягнувших Николаю солдат было много колеблющихся, и они при большей активности восставших не замедлили бы перейти на их сторону. Проявив активность, участники восстания могли бы легко захватить и направленные против них Николаем орудия.

Декабристы могли тем легче победить, что в первые часы восстания Николай растерялся и, не предвидя ничего для себя хорошего, распорядился даже заготовить экипажи, чтобы под прикрытием кавалергардов вывезти свою семью в Царское Село. «Самое удивительное в этой истории это то, — говорил он впоследствии своему двоюродному брату, герцогу Евгению Вюртембергскому, — что нас с тобою тогда не пристрелили».

Восставшие солдаты и их командиры томились в это время в вынужденном бездействии. Диктатора не было — Трубецкой скрылся. Чувствовалось безначалие.

Проходил час за часом, и Николай, воспользовавшись бездействием восставших, успел собрать и выставить против них 9000 штыков пехоты и 3000 сабель кавалерии, не считая вы-

званных позже 12 000 артиллеристов и 10 000 человек, стоявших на заставе в резерве.

И когда к восставшим прибыло наконец подкрепление, солдатам пришлось уже пробиваться на Сенатскую площадь сквозь замкнутое Николаем I кольцо окружения восставших. «Бездействие, — писал позже Н. Бестужев, — поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину...»

В это время стало темнеть, восставшие были голодны и устали от вынужденного пятичасового бездействия.

Учитывая обстановку, Николай сделал попытку призвать на помощь церковь. Солдат учили в то время умирать «за веру, царя и отечество». Отечество каждая сторона понимала по-своему, престиж царя, как показало восстание, был подорван, и Николай направил к восставшим высоким служителей «веры» — двух митрополитов.

Сверкая украшенными брильянтами митрами и крестами, они сели в карету. На запятки стал флигель-адъютант Стрекалов. Через несколько минут они были на Сенатской площади. Оставив на набережной карету, они подошли к восставшим и стали убеждать солдат «не лить зря христианскую кровь одноземцев».

В ответ на это из рядов восставших раздались крики и угрозы. Чтобы заглушить слова митрополитов, солдаты начали бить в барабаны. Перепуганные попы стали отступать, но их остановил и предложил вернуться посланный Николаем на подмогу генерал-адъютант Васильчиков.

— С кем же я пойду? — спросил один из старцев, подняв над головою крест.

— С богом! — ответил генерал.

В сопровождении двух дьяконов митрополиты повернули обратно и снова начали убеждать восставших присягнуть Николаю.

— Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягнул? — раздавались крики из рядов восставших. — Ты изменник, ты дезертир... Не верим вам, подите прочь!..

— Полно, батюшка, не прежняя пора обманывать нас! — сказал Каховский.

Из рядов солдат раздались крики:

— Ступайте прочь, не здесь ваше место, а в церкви! Нам попов не надо!..

Служители церкви поспешили удалиться и скрылись за за-

бор у строившегося тогда Исаакиевского собора. Здесь они наняли двух извозчиков и с дьяконами на запятках вернулись к Николаю.

— Чем нас утешите? Что там делается? — засыпали их вопросами.

— Обругали и прочь отослали! — уныло ответил митрополит Серафим.

После неудавшейся попытки воздействовать на восставших именем бога Николай направил к ним своего младшего брата, Михаила.

Михаил был шефом Московского полка, но до москвичей не дошел — ему преградили путь моряки Гвардейского экипажа. Он стал убеждать их присягнуть Николаю, заявив, что Константин отрекся от престола.

Михаила слушали вяло, солдаты заглушали его слова. Пущин, заметив пистолет в руках Кюхельбекера, предложил ему «садить» великого князя. Кюхельбекер выстрелил, но пистолет дал осечку...

Перехватив инициативу, Николай предпринял против восставших конные атаки. Они следовали одна за другой. Из рядов восставших отвечали огнем...

Было уже поздно. В короткий декабрьский день солнце зашло рано, около трех часов дня. Ледяной ветер не переставал дуть с моря. Солдаты коченели в своих мундирах, устали. Устали от безначалия, бездеятельности и топтания на месте. Лишь в конце дня вместо изменившего Трубецкого был выбран новый диктатор, Оболенский. Но это была уже запоздалая мера.

Декабристы чувствовали, что дело их проиграно.

Рылеев обнял Николая Бестужева, приветствовал его «первым целованием свободы», отвел в сторону и попрощался с ним.

— Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы! Мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою, — сказал он.

Опасаясь, что «бунт» может сообщиться черни, что начнется перебежка правительственных войск на сторону восставших, Николай решил прибегнуть к своему последнему доводу — пушкам. «Ultima ratio regis» — «Последний довод короля» — это латинское изречение прусский король приказал когда-то вычеканить на своих пушках. В начале пятого часа дня Николай дал приказ стрелять картечью.

— Пальба орудиями по порядку, правый фланг начинай, первая!.. — скомандовал он.

Но выстрела не последовало. Стоявший у орудия солдат-канонир держал в руках зажженный фитиль, но команды не выполнил.

— Почему ты не стреляешь?! — набросился на него командовавший орудиями офицер Бакунин.

— Да ведь свои, ваше благородие... — тихо ответил солдат.

— Если бы я сам стоял перед дулом и тебе скомандовал «пали», ты должен был бы стрелять! — крикнул офицер, выхватил у канонира фитиль, зажег его и сам направил первый выстрел в восставших.

«Первая пушка грянула, — писал позже Николай Бестужев, — картечь рассыпалась, одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не заметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии».

За первым выстрелом последовал второй, третий. Ряды восставших дрогнули, и солдаты бросились врассыпную в разные стороны, стараясь скрыться в прилежавших к площади улицах и на Английской набережной.

«В промежутках выстрелов, — писал Н. Бестужев, — можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алая, замерзала».

Под градом картечи декабристы пытались восстановить боевое построение. Но солдаты толпами бросились через Неву, по льду, на Васильевский остров. Михаил Бестужев сделал попытку здесь же, посреди Невы, построить солдат в боевой порядок, но Николай догонял их своими ядрами, снаряды пробивали лед, образовывались полыньи, люди тонули. Те, кто успел перебежать через Неву, пытались закрепиться во дворе Академии художеств, на набережной Невы, но мчавшаяся во весь опор конница рассеяла их.

В шесть часов вечера все было кончено. Начались облавы на людей. Всех сгоняли на соседнюю Исаакиевскую площадь, строили рядами и отправляли в Петропавловскую крепость и в тюрьмы. Многих везли в санях ранеными и истекавшими кровью. На Сенатской площади подобрано было восемьдесят трупов. Кровь полиция присыпала снегом,

Петербург принял вид осажденного города. У Зимнего дворца и на площади разместились батареи. Повсюду стояли войска, горели бивуачные огни, разъезжали патрули. Ворота в домах приказано было запереть на замки.

Поздно вечером у Рылеева в последний раз собрались декабристы. Они договорились, как держать себя на следствии, и, попрощавшись, обняли друг друга.

Декабриста ротмистра Н. Н. Оржицкого Рылеев попросил немедленно выехать на юг, в расположение Второй армии, и известить руководителей Южного тайного общества, что восстание подавлено.

* * *

На юге между тем ничего не знали о событиях в Петербурге. Лишь позже выяснилось, что Александр I, получив накануне своей смерти донос Майбороды и донесение Бошняка о готовящемся восстании, дал приказ арестовать указанных в доносе офицеров.

Для производства обысков и арестов в Тульчин, где находился штаб Второй армии, направлены были за несколько дней до восстания на Сенатской площади генерал-адъютанты А. И. Чернышев и П. Д. Киселев. Имея на руках поступившие доносы с именами членов Южного тайного общества, они сразу же направили в Линцы, где стоял Вятский полк, приказ всем командирам немедленно прибыть в Тульчин. Имя Пестеля было в этом приказе упомянуто трижды.

Появление генерал-адъютантов вызвало тревогу в штабе Южного тайного общества. «Всю ночь мы жгли письма и бумаги Пестеля», — писал впоследствии в своих записках его близкий друг Н. И. Лорер. Пестель решил было сказатьсь больным и в Тульчин не ехать, но затем передумал. 13 декабря он выехал и в тот же день был арестован и отправлен в Петербург.

Это произвело на всех тяжелое впечатление. Пестель являлся признанным вождем и организатором Южного тайного общества, крупнейшим идеологом наиболее левого крыла декабристов. Уничтожая бумаги Пестеля, товарищи спасли рукопись «Русской Правды», которая была принята южной организацией в качестве программного документа.

Пестель был боевым офицером. Девятнадцати лет он уже принял участие в Отечественной войне 1812 года. Кутузов лично вручил ему на поле Бородинского сражения награду.

В служебном формуляре Пестеля было сказано: «1812 года

в пределах России против французских войск находился на фронте лейб-гвардии в Литовском полку и с оным везде был до 26 августа, в который день в главном сражении при Бородине, действуя со стрелками, был ранен пулею в левое берцо, с раздроблением костей и с повреждением сухих жил. За отличную храбрость, оказанную в сем сражении, пожалована ему золотая шпага с надписью: «За храбрость». Имеет в память 1812 года установленную серебряную медаль на голубой ленте».

Бок о бок с ним сражались в тот день на Бородинском поле «первый декабрист» В. Ф. Раевский, М. И. Муравьев-Апостол, И. Д. Якушкин и другие будущие декабристы. Раевский получил за участие в Бородинской битве золотую шпагу «За храбрость», М. Муравьев-Апостол и Якушкин — георгиевские кресты.

Человек очень образованный, исключительно одаренный, с ясным умом и неотразимой логикой, Пестель выделялся среди товарищей по полку. «Удивляюсь, — говорил о нем его корпусной командир, — как Пестель занимается шагистикой, тогда как этой умной голове только и быть министром, посланником...»

Пестель был настроен революционно, и это, видимо, известно было Александру I. Царь не доверял ему, как не доверял и командиру его дивизии, будущему декабристу М. Ф. Орлову, который в связи с арестом В. Ф. Раевского был отстранен от командования дивизией. По служебной лестнице Пестель поднимался медленно, и лишь в ноябре 1821 года получил чин полковника и был назначен командиром Вятского полка.

Николай I, как и Александр I, не напрасно опасался Пестеля. Он писал своей матери, что, если бы Чернышев не арестовал Пестеля, на юге произошли бы события еще худшие, чем в Петербурге...

* * *

Пестель был арестован 13 декабря. Но прошла уже неделя, а на юге еще ничего не знали о петербургских событиях и разгроме восстания 14 декабря.

После ареста Пестеля возглавить движение на юге должен был подполковник Сергей Муравьев-Апостол. Предвидя возможность своего ареста, Пестель уполномочил его на это еще в ноябре. Это был тоже храбрый боевой офицер. Ему не было еще семнадцати лет, когда он в июле 1812 года принял участие в сражениях под Витебском, в августе — под Бородином, в октябре — под Тарутином и Малоарославцем, в ноябре — под Крас-

ным. При взятии Могилева и переправе через Березину был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость».

С. Муравьев-Апостол был замешан в восстании солдат Семеновского полка в Петербурге, в связи с чем у него был произведен обыск с конфискацией документов и переписки.

Семеновский полк был расформирован, солдаты разбросаны по армейским полкам, а С. Муравьев-Апостол переведен был в Полтавский пехотный, а затем в Черниговский полк. Здесь, на юге, он встретился со своими товарищами по штрафному Семеновскому полку: старшим братом, подполковником Матвеем Муравьевым-Апостолом, и подпоручиком М. П. Бестужевым-Рюминым.

Здесь же оказались и многие штрафные солдаты бывшего Семеновского полка, очень любившие и уважавшие своих офицеров.

Говоря о С. Муравьеве-Апостоле, нельзя не сказать и о его друге Бестужеве-Рюмине. Они жили вместе, часто встречались с Пестелем, и Бестужев-Рюмин, которому тогда было всего восемнадцать лет, сделался одним из наиболее энергичных деятелей Южного тайного общества.

С. Муравьев-Апостол возглавлял Васильковскую управу Южного тайного общества. Вместе с Бестужевым-Рюминым он вел переговоры о совместных действиях с революционным Польским обществом и с Обществом соединенных славян, принимал меры к слиянию Северного тайного общества с Южным. Бестужев-Рюмин ознакомил славян с «Русской Правдой» Пестеля.

Доказывая необходимость свержения самодержавия и уничтожения крепостного строя, Бестужев-Рюмин произносил страстные речи.

— Для приобретения свободы, — говорил он, — не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения; нужен один энтузиазм. Энтузиазм пигмея делает гигантом! Он разрушает все, и он создает новое!

Во время переговоров с членами Общества соединенных славян Бестужев-Рюмин произнес одну из своих самых ярких политических речей:

— Бек славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства... Взгляните на народ, как он угнетен... Порывы всех народов удерживает русская армия. Коль скоро она провозгласит свободу, все народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века...

Известие о подавлении восстания на Сенатской площади в Петербурге привез в Васильков, где стояли части Второй армии, девятнадцатилетний Ипполит Муравьев-Апостол. Он был членом Северного тайного общества, а его старшие братья, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, — Южного. В день восстания, 14 декабря, он находился в Петербурге, был свидетелем расправы Николая I с декабристами и тотчас же поскакал на юг, чтобы сообщить о случившемся братьям.

Когда по приказу из Таганрога, в результате доноса Майбороды, был арестован Пестель, одновременно был дан приказ арестовать Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов и Бестужева-Рюмина. Их долго разыскивали и наконец арестовали в Трилесах, где было расквартировано одно из подразделений Черниговского полка.

Наутро обоих должны были везти в Васильков, где стоял Черниговский полк. Они сидели в избе под охраной, но караул был слабый, и этим воспользовались вызванные сюда тревожной запиской товарищи по полку. Пользуясь сочувствием солдат, они сняли караулы и освободили заключенных.

29 декабря 1825 года С. Муравьев-Апостол возглавил восстание Черниговского полка и утром 30 декабря вступил в Васильков. Перед выстроившимся 31 декабря полком священник Даниил Кейзер прочитал составленный С. Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым революционный «Катехизис» — замечательнейший документ революционной идеологии. Он написан в вопросах и ответах.

Приводим небольшой отрывок из него, чтобы дать представление о характере этого «Катехизиса»:

Вопрос. Какое правление сходно с законом Божиим?

Ответ. Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей.

Вопрос. Стало быть, бог не любит царей?

Ответ. Нет! Они прокляты суть от него, яко притеснители народа...

Вопрос. Отчего же упоминают в церквах о царях?

Ответ. От нечестивого приказания их самих, для обмана народа...

Черниговский полк двинулся в направлении Белой Церкви. Но уже утром 3 января 1826 года восставших встретил пушечными выстрелами посланный подавить восстание генерал

Гейсмар. Сергей Муравьев-Апостол был ранен картечью в голову и вместе с Бестужевым-Рюминым арестован на поле боя. Одновременно был арестован принимавший участие в восстании Черниговского полка старший брат Муравьева-Апостола, Матвей.

Третий, младший их брат, Ипполит, давший клятву «победить или умереть», застрелился после боя.

Восставших офицеров окружили и обезоружили. В ночь на 12 января всех арестованных на юге генералов и офицеров заковали в кандалы и отправили в Могилев, а оттуда в Петербург.

Пестель, С. Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин... Они все трое готовили восстание на юге России, были связаны дружбой и после разгрома восстания в один и тот же день и час нашли смерть на виселице...

Всех привлеченных прямо или косвенно к делу о тайных обществах, событиях 14 декабря и восстании в Черниговском полку насчитывалось более 3000 человек, из них свыше 500 офицеров и свыше 2500 солдат. Не было почти ни одного дворянского семейства, знатного, богатого и культурного, которое не имело бы среди восставших офицеров своего представителя.

Не все, однако, были арестованы. Если вначале Николай I и Следственная комиссия усиленно выискивали участников, то в дальнейшем, когда дело начало касаться значительных лиц, комиссии дано было указание не слишком далеко простираť свои поиски и преследования.

Многие из активных деятелей восстания не попали в известный «Алфавит декабристов»...

* * *

В ночь на 15 декабря в Зимний дворец начали привозить арестованных. Одним из первых привезли Рылеева и сразу же отправили в Петропавловскую крепость с собственноручной запиской царя на имя коменданта крепости генерал-адъютанта Сукина: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский рavelин, но не связывая рук, без всякого сообщения с другими, дать ему и бумагу для письма и что будет писать ко мне собственноручно, мне приносить ежедневно»...

В ту же ночь Николай I приступил к следствию и допросу арестованных. Так начался и окончился первый кровавый день его мрачного тридцатилетнего царствования...

Глава Четвертая

ДЕРЖАВНЫЙ ТЮРЕМЩИК

Желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности... ваших капризов или минутных настроений.

Н. Бестужев — Николаю I

МИННЫЕ и торжественные залы Зимнего дворца преобразились. Еще утром здесь царила злобная тишина, и Николай мрачно бродил по ним в тяжелом раздумье: «Я царь или не царь?»

В ночь на 15 декабря дворцовые залы напоминали собою бивуаки военного лагеря после боя.

Командовал на этой «съезжей» сам царь, новый император всея Руси Николай I. Сразу же после кровавых событий первого дня своего царствования он приступил к расправе со всеми арестованными.

Доставленных в Зимний дворец декабристов направляли на дворцовую гауптвахту, обезоруживали и вели к царю. После первого допроса царь отсылал их в здание Генерального штаба, где для них отведены были особые комнаты, или в Петропавловскую крепость, комендантом которой был черствый и раболепный генерал-адъютант Сукин.

«Дом Генерального штаба, — писал позже декабрист В. И. Штейнгель, — некоторым образом походил на чистилище, а крепость на Дантов ад, над входом которой не хватало только надписи: «Оставь надежду всяк входящий сюда».

На дворцовой гауптвахте было шумно и суетно. Одних приводили, других уводили. Угол комнаты был огражден большим столом, и за ним, подложив под голову свернутый мундир, спал на диване арестованный офицер.

Из-за стеклянной двери можно было видеть, как конвой преображенцев окружил добровольно явившегося на гауптвахту писателя А. А. Бестужева (Марлинского). Когда за ним пришли, чтобы вести к царю, он сам, по старой привычке, скомандовал: «Марш!» — и пошел с конвоем в ногу.

Через полчаса повели на допрос к царю декабриста И. И. Пущина, близкого друга А. С. Пушкина. Один из офицеров, С. П. Галахов, неожиданно увидел своего товарища арестованным, прорвался через цепь конвоя и дружески обнял Пущина.

С декабристами во дворце обращались цинично и грубо. Царь задавал тон, придворная челядь подражала ему. Михаил Бестужев был свидетелем таких возмутительных сцен, что невольно спрашивал себя: «Неужели это люди? Блестящая толпа гвардейцев превратилась в наглую дворню буяна хозяина и, в подражание ему, заслуживая его милостивое внимание и ему в угоду, безнаказанно глумилась над связанными их собратьями по мундиру. Тут я увидел, как тлетворен воздух дворцов... Я тут видел, как самые священные связи дружбы, любви и даже родства служили только поводом, чтобы рельефнее выказать свою душевную низость и лакейскую преданность...»

* * *

Первый допрос арестованных проводился во внутренних царских покоях. Минуя Эрмитаж, декабристов вели из гауптвахты в просторную, ярко освещенную переднюю, через которую беспрестанно приходили и уходили генералы и флигель-адъютанты.

Рядом, в большом зале, под портретом папы Климента IX, стоял стол, за которым сидел генерал-адъютант Левашев. Он задавал вопросы и записывал ответы.

От времени до времени дверь из соседней комнаты открывалась, и на пороге появлялся Николай I. Он грозно оглядывал арестованного, прерывал Левашева и сам начинал задавать вопросы.

Левашев записывал.

Многих арестованных генералов и офицеров Николай I знал лично, других изучал при допросе. И с каждым разговаривал по-разному. Он был до крайности подозрителен, всего боялся, чувствовал, что около него нет ни одного преданного ему человека, ему всюду мерещились заговоры, он был настроен злобно и мстительно. Вникая во все подробности, Николай I пытался до конца распутать сложный клубок организации восстания. В зависимости от поведения арестованного он действовал то лаской, то угрозой.

Свои выводы в отношении каждого декабриста Николай I делал обычно уже после первого допроса. Они часто находили отражение в записках, которые царь писал на клочках бумаги

и отсылал вместе с арестованными коменданту Петропавловской крепости генерал-адъютанту Сукину.

Всего было написано Николаем I во время следствия около ста пятидесяти записок. Они выдают натуру черствую и жестокую, между строк можно было уже прочесть будущие приговоры декабристам — царскую месть за участие в восстании и за их смелое, решительное и непримиримое поведение во время допросов...

В своем поединке с декабристами Николай I был и тюремщиком, и следователем, и судьей...

Нужно сказать, что Николай I прекрасно владел искусством перевоплощения. Как Наполеон — у актера Тальма, он учился тому, как носить горностаевую мантию, подниматься на трон, придать себе гордую осанку, устрашающий, неприступный вид, надеть на лицо маску торжественности, благожелательности, приветливости, ласковости, даже интимной искренности.

Как хороший актер, Николай I сумел таким образом очаровать и обмануть некоторых декабристов. И потому он охотно разрешал им писать ему, надеясь, что кое-кто из этих стойких и мужественных людей поверит в его доброту...

* * *

Суду преданы были 121 человек. Среди них было много бесстрашных героев, закаленных в боях с Наполеоном, героев Аустерлица, Прейсиш-Эйлау, Бородина, Кульма, Лейпцига. Все они беззаветно любили родину и хотели видеть ее счастливой. Это были в большинстве своем молодые люди. Многим из них не было еще двадцати лет, когда они вступили в тайное общество. «Дети 1812 года» — генералы, полковники, капитаны, поручики, прапорщики блестящих гвардейских полков, — они всем сердцем стремились к свержению самодержавия и освобождению русского народа от позорного ига крепостничества.

На допросах почти все они держали себя стойко и независимо, не покинули сплоченных рядов товарищей по восстанию и бесстрашно вступили на путь каторги и ссылки.

Декабристу И. И. Пущину его лицейский товарищ, князь А. М. Горчаков, принес на другой день после восстания заграничный паспорт и предложил бежать. Пущин отказался.

Мог спастись и находившийся в то время в Варшаве подполковник М. С. Лунин. Его начальник, великий князь Константин, относился к нему с большим доверием и уважением. Он знал, что Лунин причастен был к делам Тайного общества, вы-

звал его к себе и, вручая заранее приготовленный заграничный паспорт, предложил бежать и тем избежать суда и кары. Лунин отказался.

— Бежать за границу, избегая той участи, которой подвергнутся товарищи, было бы малодушием, — сказал он. — Я разделял с товарищами их убеждения, разделю и наказание.

Отказались покинуть товарищей и другие декабристы, имевшие полную возможность скрыться...

Николая I не любили. Не любили его отца, Павла I, брата, Александра I, мать, жену. Он был груб и злопамятен, в бытность свою великим князем собственноручно бил солдат и сумел восстановить против себя офицеров и армию. И потому декабристы бросали ему в лицо во время допроса ответы, полные достоинства, ненависти и презрения.

— Вы знаете, что все в моих руках, — сказал Николай I Н. А. Бестужеву. — Я могу простить вас и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить...

Николай Бестужев был храбрый офицер, моряк, человек очень образованный, исключительно и разносторонне талантливый, бесстрашный и решительный, самый старший из четырех братьев Бестужевых, бывших в день 14 декабря на Сенатской площади.

— Ваше величество! — смело ответил он царю. — В том и несчастье, что вы все можете сделать, что вы выше закона. Желая, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности... ваших капризов или минутных настроений...

Из уст в уста передавался потом в петербургских гостиных этот смелый ответ царю Николаю Бестужеву, который одной фразой обрисовал неприглядную картину тогдашнего бесправия и беззакония в стране...

Когда доставили младшего брата Николая Бестужева, Михаила, с него сорвали во дворце мундир и так крепко стянули веревкою руки, что он только из гордости не кричал. Сторож, старый солдат, накинул на него из жалости шубу. Двое суток М. Бестужева днем и ночью мучили допросами. Он устал и сел.

— Как смеешь ты садиться в моем присутствии? Встань, мерзавец! — закричал на него присутствовавший при допросе великий князь Михаил Павлович, младший брат царя.

— Я устал слушать! — ответил М. Бестужев и решительно перестал обращать на него внимание и отвечать на вопросы.

М. Бестужеву, который 14 декабря первым пришел во главе Московского полка на Сенатскую площадь, спасения не было, он это прекрасно понимал, и ему даже доставляло удовольствие бесить своих мучителей.

В зал вошел в эту минуту царь. Обращаясь к присутствовавшему при допросе военному министру генерал-адъютанту Чернышеву, он кричал:

— Видишь, как молод, а уже совершенный злодей! Без него такой каши не заварилось бы! Но что всего лучше, он меня караулил перед бунтом. Понимаешь?.. Он меня караулил!..

Царь вспомнил, что 12 декабря, накануне восстания, Михаил Бестужев стоял со своей ротой в карауле у его спальни. При смене караула часовые нечаянно сцепились ружьями, и железо довольно громко звякнуло.

Николай ждал в это время с большой тревогой известий из Варшавы, от Константина. Из доноса Ростовцева он уже знал, что готовится восстание. Бледный, испуганный, очевидно вспомнив, как был убит своими приближенными его отец, император Павел I, он приоткрыл дверь из спальни и спросил:

— Что такое? Кто тут?.. А, это ты, Бестужев? Что случилось? — сказал он, увидев начальника караула.

Бестужев объяснил причину, и царь успокоился:

— Ничего больше? Ну хорошо... Ступай!..

Когда М. Бестужева привели после допроса в Петропавловскую крепость, Сукин прочитал присланную вместе с ним царскую записку: «Бестужева посылке, равно и Оболенского и Щепина, велеть заковать в ручные железы. Бестужева посадить также в Алексеевский рavelин».

— Жалею, вас приказано заковать в железы... — сказал Сукин, отправляя М. Бестужева в Алексеевский рavelин.

В одну из камер этого страшного рavelина посадили и Николая Бестужева, привезенного с запиской: «Присылаемого при сем сего Николая Бестужева посадить в Алексеевский рavelин под строгий арест, дав писать, что хочет».

Третьего брата, Александра Бестужева (Марлинского), царь отправил с запиской: «Присылаемого Бестужева посадить в Алексеевский рavelин под строжайший арест».

При допросе морского лейтенанта Д. И. Завалишина речь зашла о конституции.

— Жаль, жаль, — сказал ему Левашев, приступая к допросу, — испортили дело. А, кажется, сам государь расположен был дать конституцию в свое двадцатипятилетие.

Завалишин улыбнулся.

— Тс! — сказал Левашев, указывая пальцем на дверь, из которой каждую минуту мог появиться Николай I...

Один из основателей Общества соединенных славян, А. И. Борисов не столько давал на следствии показания, сколько бросал вызов своим обвинителям. Он решительно заявил:

— Может быть, я в заблуждении, но я твердо уверен, что законы ваши неправы, твердость их основана на силе и пред-
рассудках...

* * *

Очень смело вел себя на допросе отставной капитан И. Д. Якушкин, один из самых замечательных и мужественных людей в рядах восставших, автор великолепных, лучших по краткости, ясности и правдивости записок о движении декабристов. Офицер Семеновского полка, Якушкин был близок со всеми виднейшими членами Северного и Южного тайных обществ. Герой Бородина и Кульма, он ненавидел Александра I, о котором писал, что этот император, «в Европе покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но, что хуже того, бессмысленным деспотом». Ненавидел Якушкин и Николая I.

Приступая к допросу Якушкина, Левашев предупредил его, что следствию все известно.

— Я даже расскажу, милостивый государь, — добавил он, — подробности намереваемого вами убийства: из числа бывших тогда на совещании ваших товарищей на вас пал жребий.

— Ваше превосходительство, — ответил Якушкин, — это не совсем справедливо: я вызвался сам нанести удар императору и не хотел уступить этой чести никому из товарищей...

Левашев записал его слова.

— Теперь, милостивый государь, — продолжал он, — не угодно ли будет вам назвать тех из ваших товарищей, которые были на этом совещании?

— Этого я никак не могу сделать, — ответил Якушкин, — вступая в Тайное общество, я дал слово никого не называть.

— Так вас заставят их назвать. Я приступаю к обязанности судьбы и скажу вам, что в России есть пытка.

— Очень благодарен вашему превосходительству за эту доверенность, но должен вам сказать, что теперь еще более, чем прежде, я чувствую моей обязанностью никого не называть, — ответил Якушкин.

Стоявший поодаль Николай I все это слушал и затем подошел к Якушкину.

— Вы нарушили присягу? — спросил он.

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но то, что ожидает вас на том свете, должно вас ужасать. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить: я пришлю к вам священника... Что ж вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно: если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами не обращались, как со свиньей, вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству генералу Левашеву.

— Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом! — сказал царь Якушкину.

— Назвать, государь, я никого не могу.

Царь отсочил на три шага назад и, указав пальцем на Якушкина, крикнул:

— Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог!

Через несколько минут Якушкина везли в Петропавловскую крепость с царской запиской на клочке бумаги:

«Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железы; поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея».

Генерал-адъютант Сукин, постукивая по каменному полу своей деревянной ногой, принял Якушкина и запиской же немедленно раболепно донес царю:

«При высочайшем вашего императорского величества повелении ко мне присланный Якушкин для содержания, как злодея, во вверенной мне крепости мною принят и по закованию в ножные и ручные железы посажен в Алексеевском равелине, в арестантский покой № 1, о чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу...»

* * *

Привезли майора Н. И. Лорера, одного из деятельных членов Южного тайного общества.

Не успели еще его обыскать, как в комнату вбежал фельдъегерь и, запыхавшись, крикнул:

— Пожалуйте арестанта к государю императору!

Восемь конвойных солдат окружили Лорера, но он резко отстранил их и сказал конвойному офицеру:

— Покуда я еще майор русской службы и ношу мундир, который носит с честью вся армия, а не преступник, осужденный законом, и с конвоем я не сделаю шага добровольно.

— Здесь такой порядок! — извинился офицер.

— Вольно же вам из дворца сделать съезжую! Кто дежурный генерал-адъютант? — спросил Лорер.

— Левашев...

— Потрудитесь послать кого-нибудь, хоть фельдъегеря, просить генерала дозволить мне предстать пред государем без конвоя.

Посланный скоро принес разрешение, и Лорер встретился с Николаем I.

— Знаете ли вы наши законы? — спросил царь.

— Знаю, ваше величество.

— Знаете ли вы, какая участь вас ждет? Смерть! — сказал Николай I и провел рукою по своей шее, как будто показывая, что голова Лорера должна отделиться от туловища.

Лорер ничего не ответил.

— Чернышев долго убеждал вас сознаться во всем, что вы знаете и должны знать, — продолжал Николай I, — а вы все финтили. У вас нет чести, милостивый государь!

— Я в первый раз слышу это слово, государь! — ответил Лорер.

Царь опомнился, стал разговаривать приличнее, затем взял Лорера за плечи, повернул к свету лампы и стал смотреть ему в глаза. Он почему-то боялся черных глаз, полагая, что у всех революционеров черные глаза...

На этом аудиенция окончилась.

После ухода Николая I допрос продолжался.

— А знаете ли, — сказал Лореру Левашев, — что у нас, господа, есть средства принудить вас говорить!..

Лорер, улыбаясь, ответил:

— Вы, вероятно, генерал, хотите напомнить о пытке? Но я и, конечно, все мои товарищи помним, что в девятнадцатом веке она не существует в образованных государствах, и не думаю, чтобы Николай Первый начал свое царствование тем, что отменили еще Елизавета и Екатерина Вторая.

Левашев позвонил и, передав вошедшему фельдъегерю пакет с черной печатью, коротко приказал:

— В крепость!..

На клочке бумаги, с которым Лорера направили в Петропавловскую крепость, рукою Николая I было написано: «Содержать под строжайшим арестом...»

Николай I допрашивал М. Ф. Орлова. Это был боевой генерал, подписавший в 1814 году, после окончания войны с Наполеоном, акт о капитуляции Парижа, один из самых ярких и замечательных представителей русской общественно-политической мысли декабристского периода, член образовавшегося после Отечественной войны литературного содружества «Арзамас», активный деятель Союза Благоденствия, друг Пушкина. Он пользовался позже глубоким уважением молодого Герцена и его друзей. Они писали, что большая часть молодого поколения того времени поклонялась ему, сохранившему и после суда и высылки из Петербурга свои вольнолюбивые настроения.

Царь очень благоволил к Орлову, но тот не оправдал его надежд. После ареста ему предъявлено было обвинение в том, что, являясь командиром дивизии Второй армии, он, «порушив Раевскому юнкерскую школу, оставлял без внимания действия его относительно внушения юнкерам вредных правил, из чего произошли все неурядицы в 16-й дивизии и буйственный поступок нижних чинов Камчатского пехотного полка, коим Орлов объявил прощение, не имея на сие никакого права».

Николай I решил говорить с Орловым, как с товарищем, начал допрос с замечания, что ему больно видеть у себя Орлова без шпаги, и просил чистосердечно рассказать все, что ему известно о Тайном обществе и заговоре.

— Я ничего не знаю, ни о каком обществе и заговоре не знал и не слышал, — ответил Орлов.

Он хорошо знал своего императора, не доверял ему и говорил с ним с язвительной улыбкой на лице. В тоне его явно чувствовалась насмешка. Царь, рассчитывая на свои добрые отношения с Орловым, настаивал и требовал признания.

— Что же, разве об обществе «Арзамас» хотите вы узнать? — иронически спросил его Орлов.

— До сих пор с вами говорил старый товарищ, — сказал царь, — теперь вам приказывает ваш государь. Отвечайте прямо: что вам известно?

— Я уже сказал, что ничего не знаю и нечего мне рассказывать.

— Вы слышали? — сказал царь генералу Левашеву. — Примитесь же за ваше дело, — и, обращаясь к Орлову: — а между нами все кончено.

У Михаила Орлова был брат Алексей, который не был членом Тайного общества, пользовался большим доверием Николая I и впоследствии заменил Бенкендорфа на посту шефа

жандармов. Снисходя, очевидно, к просьбам своего любимца, Николай I решил пощадить Михаила Орлова. Он приказал отправить его в Петропавловскую крепость, а коменданту Сукину послал записку: «...Генерал-майора Орлова посадить в Алексеевский равелин... и содержать хорошо... Дать видеться с братом Алексеем и перевести на офицерскую квартиру, дав свободу выходить, прохаживаться и писать, что хочет, но не выходя из крепости».

Через полгода М. Орлов был освобожден и направлен под надзор полиции в Калужскую губернию...

* * *

Левашев допрашивал поручика Финляндского полка А. Е. Розена, который до восстания уже присягнул с полком Константинову, но, услышав о возмущении Московского полка, вернулся в казармы, поднял свою часть и направился с нею к Сенатской площади.

Встречая по пути солдат, шедших на подкрепление к Николаю, он удерживал их, угрожая первого, кто пойдет, заколоть шпагою.

Во время допроса из соседней комнаты вышел Николай I. Розен сделал несколько шагов вперед, но царь повелительно и резко остановил его:

— Стой!

Он подошел к Розену, положил ему на плечо руку и, заставляя его шаг за шагом отступать и вернуться на прежнее место, повторял:

— Назад, назад, назад!

Горевшие на столе перед Левашевым восковые свечи слепили глаза.

Больше минуты Николай I пристально смотрел в лицо Розена и затем начал задавать ему вопрос за вопросом. Вспоминая безупречную службу Розена, царь требовал от него чистосердечных признаний и, уходя, крикнул:

— Тебя, Розен, охотно спасу!

Когда Левашев записал все показания Розена и предложил подписать лист допроса, Розен отказался.

— Я прошу уволить меня от подписи, — сказал он, — ибо не мог показать всю правду.

Левашев начал вторичный допрос, но Розен снова решительно отказался подписать акт.

Николай I припомнил ему это: при смягчении вынесенного Верховным уголовным судом приговора декабристам эта цар-

ская «милость» не коснулась Розена. Розену были оставлены все десять лет каторги без всякой скидки.

Такая же участь постигла братьев Николая и Михаила Бестужевых, дававших смелые и резкие ответы на вопросы царя.

* * *

Совсем другой характер носил допрос С. П. Трубецкого. Николай I принял в беседе с ним такой дружеский и ласковый тон, что Трубецкой поверил ему.

— Что было в этой голове, — сказал Николай I, тыча пальцем в лоб Трубецкого, — когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело!.. Князь Трубецкой! Гвардии полковник!.. Какая милая жена! Вы погубили жену!.. У вас есть дети? Нет? Это ваше счастье, ваша участь будет ужасна! Ужасна!..

Царь подвел Трубецкого к столу и, подавая листок бумаги, сказал:

— Пишите вашей жене!

Трубецкой сел. Царь стоял.

«Друг мой, будь спокойна и молись...» — начал писать Трубецкой.

Царь прочитал эти строки через плечо Трубецкого и прервал письмо.

— Что тут много писать! Напишите только: я буду жив и здоров, — сказал Николай I.

Трубецкой написал:

«Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров».

Трубецкой подал царю листок. Тот прочитал и сказал:

— Я жив и здоров буду. Припишите буду, сверху.

Трубецкой вписал сверху: «б у д у».

Царь взял листок и знаком руки велел увести Трубецкого.

Пока Трубецкой был на допросе, исчезла его шуба. Ему дали какую-то чужую шинель на вате и увезли в Петропавловскую крепость с запиской царя:

«Трубецкого, при сем присылаемого, посадить в Алексеевский рavelин. За ним всех строже смотреть; особенно не позволять никуда не выходить и ни с кем не видаться».

* * *

Допытываясь во время допросов, почему некоторые декабристы, не принимавшие активного участия в восстании 14 декабря, не донесли правительству о существовании Тайного

общества, Николай I давал своеобразное толкование понятию о чести.

— Если вы знали, что есть такое общество, отчего вы не донесли? — спросил царь поручика кавалергарда И. А. Анненкова.

— Тяжело, нечестно доносить на своих товарищей, — ответил Анненков.

— Вы не имеете понятия о чести! — крикнул Николай I. — Знаете ли вы, что заслуживаете?

— Смерть, государь! — ответил Анненков.

— Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны. Нет, я вас в крепости сгною!..

Достойный ответ дал Николаю I по поводу его рассуждений о чести Александр Раевский, брат жены декабриста, М. Н. Волконской, отпущенный после первых допросов с оправдательным аттестатом.

— Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще...

Такой же вопрос, почему он не сообщил правительству о существовании Тайного общества, задали, уже в крепости, на следствии, генералу М. Орлову. Сидя в крепости, Орлов думал о том, что при других обстоятельствах восстание могло победить, и потому ответил:

— Теперь легко сказать: «дóлжно было донести», ибо все известно и преступление совершилось, но тогда не позволительно ли мне было по крайней мере отложить на некоторое время донесение? Но, к несчастью их, обстоятельства созрели прежде их замысла, и вот отчего они пропали...

Получив протокол этого допроса, Николай I дважды подчеркнул последнюю фразу, а над словами «но к несчастью» поставил ряд восклицательных знаков и на полях — еще один огромный восклицательный знак...

Между прочим, 14 декабря, в день петербургского восстания, Орлов находился в Москве. К нему пришел Якушкин, когда пришло известие о разгроме восстания.

— Ну вот, генерал, все кончено... — сказал он.

— Как это — кончено? — ответил Орлов. — Это только начало конца...

* * *

Декабристы не доверяли Николаю I, но у некоторых из них сложилось после беседы с царем неверное представление о личности, взглядах и намерениях императора. Они не сразу

разглядели в нем сухого, холодного актера и беспощадного деспота, жестокого самодержца, всероссийского царя-жандарма. Возвращаясь после допроса в камеры, они готовы были видеть в нем человека, способного понять их мечты и увлечения и — простить.

И не все декабристы проявили поэтому во время следствия революционную стойкость. Николай I действовал на заключенных то угрозами, то ласкою и обнадеживающими обещаниями, то напоминанием о судьбе их семей, и нашлись среди дворянских революционеров люди, которые после поражения восстания потеряли почву под ногами, называли имена товарищей и написали царю письма с искренними и откровенными признаниями. Так поступили такие глубоко убежденные, революционно настроенные и деятельные декабристы, как Никита Муравьев, Оболенский, Якубович.

Так поступил Трубецкой, дружески встреченный и обласканный Николаем I при первом допросе. Вернувшись в каземат, уверенный в милостивом отношении к нему царя, он написал ему письмо с полным и чистосердечным признанием. Так поступил и Каховский, пуля которого сразила на Сенатской площади генерал-адъютанта Милорадовича. Вернувшись после допроса в каземат, он писал:

«Говоря с государем, я заметил слезы на глазах его, и они сильнее меня тронули, чем все лестные обещания и угрозы. К несчастью народов, история не много представляет нам людей на престолах». «Отцом отечества» назвал Каховский Николая I в своем письме из крепости.

Царь по-своему ответил на это рыцарское доверие декабристов: Каховского приказал повесить, Трубецкого приговорил к смертной казни «отсечением головы», заменив позже казнь вечной каторгой...

Ознакомление со следственными делами декабристов показывает, что их покаянные письма писались в минуты глубокого душевного уныния и моральных пыток, писались закованною в кандалы рукою. Но люди эти до конца дней оставались верны идеалам, которые привели их на каторгу. И уже своею освободившеюся от цепей рукою, в ответ на пушкинское послание, Одоевский писал с каторги:

Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Здесь необходимо сказать и о тех, кто не выполнил своего долга в день 14 декабря: о полковнике Трубецком, поручике Каховском, капитане Якубовиче, полковнике Булатове.

Трубецкой, не явившийся 14 декабря на площадь, чтобы принять вверенное ему командование восставшими, был храбрый боевой офицер. Под Бородином он спокойно простоял четырнадцать часов под ядрами и картечью. Под Кульмом шел во главе своей части с одним холодным оружием и громким русским «ура», размахивая шпагой над головой, несмотря на свистевшие из опушки леса неприятельские пули. В «битве народов» под Лейпцигом был тяжело ранен.

Почему же изменил Трубецкой в день 14 декабря, хорошо зная, что «с маленькими эполетами без имени» никто не решится принять команду над восставшими? Храбрый на поле боя, Трубецкой был человеком нерешительным в особо серьезных случаях жизни. Один из основателей и деятельных членов Тайного общества на протяжении всех десяти лет его существования, он уже задолго до 14 декабря стал страшиться радикализма Пестеля и Рылеева. Выбирая его диктатором, декабристы, по словам члена Тайного общества Д. И. Завалишина, «недостаточно различали военную храбрость от политического мужества, редко совмещаемых даже в одном лице».

Увидев, что на Сенатскую площадь вышли вначале лишь восемьсот человек Московского полка, Трубецкой решил не идти на площадь. Он стоял у Главного штаба, в нескольких минутах ходьбы от Сенатской площади, и наблюдал, не увеличится ли число восставших полков, предполагая, видимо, лишь в этом случае возглавить восстание. Он даже запасся ядом на случай неудачи.

Еще утром Трубецкой сказал Рылееву и Пушкину, что придет на Сенатскую площадь. Но когда увидел, что события нарастают и может пролиться кровь, классово ограниченное мировоззрение одержало в нем верх, он грубо нарушил свой долг, изменил товарищам и позже, оправдываясь, писал: «Терзаем совестью, мучим страхом грозящих бедствий, я видел, что во всяком случае и я погиб неизбежно; но решился, по крайней мере, не иметь еще того на совести, чтобы быть в рядах бунтовщиков...»

Отказавшийся вести моряков в Зимний дворец, чтобы арестовать царскую семью, Якубович поступил честнее: он заранее сообщил руководителям восстания о своем отказе выполнить принятое на себя обязательство, но на Сенатскую площадь

явился и присоединился к восставшему Московскому полку. Он даже направился в разведку, имея в виду выяснить, что делается в лагере противника, и встретился лично с Николаем. После этого он вернулся к восставшим и доложил обо всем виденном.

Но в поведении Якубовича также сказались ограниченность дворянской революционности. У него была личная ненависть к Александру I за перевод его из гвардии в армию, и он готов был его убить, но на Николая у него рука не поднялась, и он отказался вести матросов в Зимний дворец.

Между тем позже, уже находясь в крепости, Якубович направил Николаю I замечательное письмо, в котором писал по поводу невыносимого положения русского крестьянства:

«Вся тягость налогов и повинностей, разорительное мотовство дворянства, все лежит на сем почтенном, но несчастном сословии... Нет защиты угнетенному, нет грозы и страха утешителю!»

Каховский отказался убить Николая по мотивам личного характера: обдумав свое поведение, он пришел к выводу, что готов жертвовать собою для блага отечества, но не может стать террористом-одиночкой, который после убийства Николая I окажется вне революционной организации, человеком, вынужденным уйти от товарищей и бежать из России. Он и доказал потом готовность жертвовать собою, явившись 14 декабря на Сенатскую площадь и сразив своею пулею генерал-адъютанта Милоладовича.

Наконец, о Булатове, храбром боевом офицере, отказавшемся выполнить взятое на себя обязательство захватить Петропавловскую крепость.

Навсегда покидая 14 декабря свой дом и прощаясь с своими маленькими дочерьми, Булатов сказал:

— Может быть, увидят, что есть и в России свои Бруты и Риэги.

Когда его привели после поражения восстания на допрос в Зимний дворец, Николай I встретил его словами:

— Как, и вы здесь?

— Вас это не должно удивлять, — ответил Булатов, — но вот меня удивляет, что вы еще здесь... Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженным пистолетом и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало...

И здесь сказались ограниченность дворянской революционности... Но Булатов тяжело переживал свою измену общему

делу восстания; предполагали, что муки раскаяния привели его даже к самоубийству: 11 января 1826 года он разбил себе голову о стену каземата Петропавловской крепости, которую должен был захватить, и через несколько дней скончался от сотрясения мозга...

* * *

Все эти срывы нанесли делу восстания огромный вред. Но, оказавшись на каторге, декабристы решили предать забвению эти факты и в личных взаимоотношениях друг с другом не касаться их.

Как и во всяком человеческом обществе, среди них были разные люди, но движение декабристов в целом является значительнейшей страницей в истории русского революционного движения.

В. И. Ленин считал декабристов зачинателями русского революционного движения. Он писал: «Тогда руководство движением принадлежало почти исключительно офицерам и именно дворянским офицерам».

Глава Пятая

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ

- Как твое имя?
- Зачем, ваше высокоблагородие, знать мое имя? Я человек мертвый!..

Из беседы М. Бестужева с тюремщиком

УЖАС и смятение царили в Петербурге после событий 14 декабря. Никто не знал, что ждет арестованных. Знали лишь, что ведется строгое следствие и что руководит им сам Николай I. Это не предвещало ничего хорошего.

Тесно заселена была арестованными командирами, солдатами, гражданскими чинами, неслужащими дворянами и людьми разного звания Петропавловская крепость со всеми ее рavelи-

нами и камерами. Были заполнены все петербургские гауптвахты, Шлиссельбургская крепость, крепости в Финляндии, Нарве, Ревеле.

О мрачном Алексеевском рavelине Петропавловской крепости и расположенном на его территории страшном «Секретном доме» в городе ходили темные слухи. О тех, кто здесь сидел, говорили как о «забытых», заживо погребенных людях, о которых опасно было вспоминать и спрашивать. Из него редко кто выходил на волю. Смотритель дома, мрачный семидесятивосьмилетний старик Лилиенанкер был подчинен непосредственно коменданту крепости Сукину и не имел права выходить за пределы крепости без его разрешения.

Сторожа Алексеевского рavelина лишены были права переступить мостик через наполненный водою ров, соединявший рavelин с крепостью. Со стороны рavelина на нем стояли два солдата инвалидной роты, а со стороны крепости — два гвардейских часовых из ежедневно сменявшегося в крепости гвардейского караула.

Здесь была своя кухня, свое хозяйство, своя баня. Закушница провизии всегда обыскивали перед уходом в город и после возвращения, и он лишен был возможности сноситься с другими тюремщиками.

Это было мрачное царство тьмы и нечеловеческих страданий. Сами тюремщики, вынужденные обслуживать одиночные камеры Алексеевского рavelина, чувствовали себя в их стенах живыми мертвецами.

Тюрьма была строго секретной: имя арестованного и преступление, за которое он посажен, должны были оставаться неизвестными даже тюремщикам, и сам узник не должен был знать, где он находится. Здесь содержались лишь политические заключенные. Их уже не называли по имени, они значились под номерами камер, в которых содержались. Отсюда заключенных отправляли только на смертную казнь или в ссылку. Но декабристы, несмотря на такие строгости, скоро все же узнавали, кто сидит с ними рядом. И тюремщикам были хорошо известны их имена.

В «Секретном доме» царило вечное безмолвие. Переступавшие его порог тюремщики не имели права не только оказывать какие-либо услуги заключенным, но даже разговаривать с ними. На все их вопросы они обязаны были отвечать молчанием. За стены этого мрачного дома не проникали голоса жизни. Живыми мертвецами становились заключенные, переступив порог рavelина.

В ночь на 15 декабря казематы «Секретного дома» Алексеевского рavelина заполнили участники восстания на Сенатской площади.

«Меня привели в Алексеевский рavelин, — вспоминал позже М. Бестужев. — Двери четырнадцатого номера распахнулись, чтобы принять свою жертву. Мне показалось роковым совпадением четырнадцатого номера моего гроба с четырнадцатым числом декабря... Меня раздели до нитки и облекли в казенную форму затворников. При мерцающем свете тусклого ночника тюремщики суетились около меня, как тени подземного царства смерти: ни малейшего шороха от их шагов, ни звука голоса — они говорили взорами и непонятным для меня языком едва приметных знаков. Казалось, это был похоронный обряд погребения, когда покойника наряжают, чтобы уложить в гроб. И точно, они скоро уложили меня в кровать и покрыли одеялом, потому что скованные мои руки и ноги отказывались мне служить.

Дверь, как крышка гроба, тихо затворилась, и двойной поворот ключа скрипом своим напомнил мне о гвоздях, заколачиваемых в последнее домовище усопшего...»

Это было страшное место: тюрьма в тюрьме. Если нужно было кого-нибудь заживо похоронить, его сажали в «Секретный дом». Если кто-нибудь слишком много знал и нужно было замкнуть его уста, его сажали сюда навечно или на десятилетия. Так случилось впоследствии с декабристом подполковником Г. С. Батенковым.

В сражении при Монмирале в 1814 году он получил десять штыковых ран; вернувшись в Россию в начале 1816 года, был уволен и перешел на службу в корпус инженеров путей сообщения. За участие в Тайном обществе был приговорен к двадцатилетней каторге и почти все эти двадцать лет провел в одиночном заключении, в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости. Сюда он был направлен по особому высочайшему повелению в июне 1827 года, из Свартгольмской крепости, где до того находился.

Причины, по которым Батенков не был отправлен на каторгу и содержался в крепости, были неизвестны даже III отделению. Можно предположить, что здесь сыграли роль его близкие отношения с членом Государственного совета М. М. Сперанским, крупным государственным деятелем, известным своим либерализмом. В его доме бывали некоторые члены тайных обществ, здесь они получали иногда серьезную и важную для

них информацию, и Сперанского прочили в члены Временного революционного правительства.

До Николая I доходили эти слухи о связи Сперанского с декабристами, но именно ему, известному «законнику», он поручил проведение следствия и суда над ними. Это доверительное царское поручение явилось для Сперанского большой личной трагедией...

Находясь в крепости, Батенков хотел в 1828 году лишиться себя жизни, но ему это не удалось. В 1835 году он отправил Николаю I через коменданта два запечатанных пакета, но оба они остались без ответа.

Так проходил год за годом. У Батенкова была с собою Библия, и он на протяжении двух десятилетий своего заточения мысленно переводил ее на разные языки. Он сам с собою вел громкие беседы, чтобы не разучиться говорить. В саду «Секретного дома» он посадил яблоньку, с которой собирал плоды...

Лишь в 1846 году о Батенкове «вспомнил» начальник III отделения А. Ф. Орлов и представил Николаю I доклад об облегчении участи Батенкова. На этом докладе царь положил резолюцию: «Согласен, но он содержится только оттого, что был доказан в лишении рассудка. Надо его переосвидетельствовать и тогда представить, как далее с ним поступить можно».

Согласно заключению врача и представлению коменданта Петропавловской крепости, Батенкова отправили в том же 1846 году на поселение в Томск, откуда он вернулся лишь после амнистии, и в 1863 году закончил свои дни в Калуге...

Таков был «Секретный дом». Помимо общих ужасных условий, в которых находились заключенные в нем декабристы, было еще одно обстоятельство, тяжело отражавшееся на их здоровье. За год до восстания, 7 ноября 1824 года, во время страшного наводнения вода поднялась в Петербурге во многих местах выше двух метров над улицами города. До сих пор на многих зданиях набережной Невы сохранились отметки, до какой высоты доходила в те дни вода...

Вода залила тогда казематы, пропитала крепостные стены и валы, и все отсырело. К тому же, ввиду большого количества арестованных, к каждой амбразуре крепостной стены были пристроены для заключенных клетки из сырого леса. Они были так тесны, что в них едва можно было поместить кровать, столик, чугунную печь. Когда печь топилась, клетка наполнялась таким густым дымом, что, сидя на кровати, нельзя было даже видеть дверь на расстоянии полутора метров. Как только закрывали

печь, клетка наполнялась удушливым смрадом, а пар, охлаждаясь, стекал со стен, и в течение дня из каждого каземата выносили ведрами воду. Естественно, что декабристы часто болели.

* * *

По Петербургу быстро распространялось содержание царских записок коменданту крепости. О них говорили втихомолку, с опаской, в аристократических салонах Петербурга и в дворянских гостиных, в обывательских квартирах и в народе. Впечатление, произведенное на умы декабрьскими событиями 1825 года, было очень велико и не ослабевало на протяжении десятилетий.

«На декабриста, к какой бы категории он ни принадлежал, — писал в своих воспоминаниях декабрист А. Г. Гангеблов, — смотрели как на какого-то полубога».

И перед этими «полубогами» заговорили даже некоторые суровые, безмолвные, ко всему привыкшие тюремщики Петропавловской крепости. Встретившись лицом к лицу с декабристами, они относились к ним снисходительнее и старались, когда могли, облегчить их тяжкую долю. Низшие исполнители часто оказывались мягче их суровых высших распорядителей. Это объяснялось отчасти общим недоверием к царским судам и сочувствием народа к осужденным.

* * *

В камерах Алексеевского рavelина, в условиях особо строгого и сурового режима, сидели декабристы, приговоренные впоследствии к смертной казни.

Во внутреннем треугольном дворике «Секретного дома», у каменной стены, росло несколько кленовых деревьев. Весь огромный человеческий мир сосредоточился для заключенных в этом видимом из окна крошечном тюремном дворике... Поднявшись к окошечку камеры, они могли видеть кусочек неба.

Это случилось вскоре после ареста. Немая охрана, немая прислуга, немые стены действовали угнетающе. Беспросветный мрак окутал душу вернувшегося с допроса Е. П. Оболенского. Неожиданно в камеру вошел тюремщик и молча положил в дальний угол два зеленых кленовых листочка.

В этот угол не достигал глаз часового, и Оболенский сразу же бросился к листочкам.

На них были написаны стихи:

Мне тошно здесь, как на чужбине
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст крыле мне голубине,
И полечу, и почию.
Весь мир, как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон...

Оболенский узнал по почерку, что это писал К. Ф. Рылеев, с которым он был очень дружен.

Бумага и чернила давались заключенным под расписку лишь тогда, когда они хотели писать лично царю или должны были отвечать на заданные Следственной комиссией вопросы. Оболенскому удалось пронести с собою иглу и клочок серой оберточной бумаги. В течение двух дней он накалывал на этой бумаге ответ Рылееву. Тот же тюремщик зашел в камеру, безмолвно взял у Оболенского наколотый им листок и отнес Рылееву.

Через два дня Оболенский получил от него ответ:

О милый друг! Как вятен голос твой,
Как утешителен и сердцу сладок;
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок...

Один из декабристов рассказывал, что, переведенный однажды в другую камеру, он нашел в ней оловянную тарелку, на оборотной стороне которой прочитал стихи Рылеева:

Тюрьма мне в честь — не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за Отчизну?

Необходимо сказать, что, как ни тяжела была жизнь декабристов в казематах Петропавловской крепости, они, разъединенные каменными стенами и железными решетками, но находясь рядом, стали как-то еще ближе друг другу. И в одиночных камерах процветала так называемая «казематская литература» — большей частью стихи...

* * *

Сидя в камере Алексеевского рavelина, Михаил Бестужев захотел выяснить, не здесь ли сидит и его брат Николай. Он стал насвистывать хорошо знакомую брату мелодию. Николай

услышал и начал вторить. Так он узнал, что брат сидит в соседней камере.

Помогая как-то Бестужеву вымыть скованные толстым железным болтом руки, сторож тихонько предложил ему переставить табурет к теплой печке и неожиданно ласково заговорил:

— Посмотрите на себя, на кого вы похожи, ваше высокоблагородие... Вам скучно... Попросите книг...

— Да разве можно?

— Другие читают, почему же вам не можно?..

— Кто подле меня сидит? — решил спросить его Михаил Бестужев.

— Бестужев, — ответил сторож.

Это был брат Михаила, Николай.

— А подле него и далее?

— Одоевский и Рылеев.

— Не можешь ли ты отнести записку к брату?

— Пожалуй, можно... Но за это нашего брата гоняют сквозь строй...

М. Бестужев готов был стать на колени перед тюремщиком, который, находясь в таких тисках, соглашался передать его брату записку.

Не желая подвергать тюремщика опасности, Бестужев записки не послал, но книгу затребовал и получил: ему принесли девятый том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

* * *

Два раза в неделю заключенных в Алексеевском рavelиню выводили гулять в крошечный внутренний дворик.

В одном из уголков здесь находилась могила, где, по преданию, похоронена была княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского. На самом деле она похоронена была в Новоспасском монастыре, а в Петропавловской крепости похоронили самозванку Тараканову, которая, живя в Ливорно, назвалась дочерью Елизаветы Петровны и объявила себя претенденткой на российский престол. По приказу императрицы Екатерины II ее привезли обманным путем в Россию, заключили в Алексеевский рavelин, и здесь она, по преданию, погибла во время наводнения. Эпизод этот изображен на известной картине художника Флавицкого, висящей в Третьяковской галерее.

Рассказывая об этой могиле, сторожа даже показывали, до какой высоты доходила вода во время наводнения.

— А кто же поставил этот крест над могилой? — спросили как-то сторожа.

— Да все мы же. Как один сгниет, упадет, мы и поставим новенький.

* * *

Среди крепостных тюремщиков были, конечно, и подосланные провокаторы, действовавшие с благословения и по прямому указанию администрации. Но были среди них и добрые люди, которых нужда и солдатчина вынудили пожизненно похоронить себя в мрачных стенах Петропавловской крепости. О некоторых из них декабристы вспоминали с благодарностью.

С первых же дней заключения декабристов наладилась тайная передача их писем на волю, получение от родных продовольствия и вещей. Уже через несколько дней после восстания Николай I предложил коменданту крепости Сукину выяснить, как попало на волю письмо от заключенного в крепости М. Пущина...

К декабристу поручику Н. В. Басаргину как-то зашел в камеру унтер-офицер и тихо сказал:

— Жаль мне вас, господа, от всего сердца. Хотелось бы очень кому-нибудь из вас помочь чем могу. А могу я многое, могу даже помочь вам вырваться из этих стен и уплыть на корабле в Англию...

Басаргин находился в мрачном настроении. Он служил в Тульчине при штабе Второй армии. Незадолго до восстания, оставив крошечного ребенка, скончалась его юная жена. Он не переставал думать о них.

Как-то он читал своей невесте только что вышедшую тогда поэму Рылеева «Войнаровский». Перед ними прошла исповедь друга и родственника Мазепы, Войнаровского, сосланного Петром I в далекую Якутию. Прервав чтение, Басаргин задумался.

— О чем ты думаешь? — спросила его девушка.

Басаргин давно хотел ей открыться. Прочитав поэму, он сказал, что хорошо знает автора, Рылеева, который является руководителем Северного тайного общества. И здесь же сообщил ей, что сам он тоже принадлежит к Южному тайному обществу.

— Не о нас ли думал Рылеев, когда писал свою поэму? — заметил он. — Может быть, и меня ожидает ссылка... Это разрушит наше счастье...

— Ну что же, — сказала девушка, — это не остановит меня.

Я ведь выхожу замуж не за дворянина, адъютанта или будущего генерала, а за человека, которого люблю...

Он читал дальше о том, как жена Войнаровского последовала за мужем в Сибирь, с трудом нашла его и, не выдержав якутской ссылки, погибла.

Басаргин снова прервал чтение и посмотрел на девушку. Она поняла и ответила на его безмолвный вопрос:

— В каком бы положении ты ни находился — в палатах или в хижине, в Петербурге, при дворе, или в Сибири, — я примирюсь со своей судьбой.

Девушка взяла из рук Басаргина книгу и прочитала эпиграф на первой странице поэмы, на итальянском языке, из Данте: «Нет большего горя, как вспоминать о счастливом времени в несчастье».

— Ну что ж, — заметила она, улыбаясь, — тем более я приду утешить тебя и разделить в несчастье твою участь. Так о чем же думать?..

Об этом вечере вспоминал Басаргин, когда вошел тюремщик. Оторвавшись от своих мыслей, он спросил его:

— Каким же это образом, любезный друг, можно вырваться из этих прочных каменных стен?

— А вот как... — ответил тюремщик. — Для этого, разумеется, нужно поначалу иметь пять-шесть тысяч рублей, а потом родные пришлют туда. И мне самому ведь тоже пришлось бы отправиться с вами, потому что оставаться мне здесь после этого уже нельзя будет. Я бы переговорил с капитаном иностранного судна и обо всем условился с ним, тут затруднения не будет. Корабли обычно уходят ночью, когда мосты на Неве разводят. В известный вечер, после обхода казематов, я бы пошел с вами гулять, вывел бы за крепость и спрятал в дровах. А затем запер бы казематы и отнес ключи плац-адъютанту. Постель нужно будет приготовить и так взбить одеяло, чтобы часовому казалось, что вы спите. Раньше девяти часов утра вас бы не хватились, а мы в это время были бы уже далеко в море.

— Но как бы мы вышли с тобой из крепости, когда при каждом воротах стоит караул? — спросил Басаргин.

— А вот, не хотите ли полюбопытствовать? — ответил унтер-офицер. — Так, хоть для примеру...

И в одну из ночей он действительно вывел Басаргина за ворота крепости.

— Я уже предлагал это одному из ваших товарищей, — прибавил унтер-офицер, — и деньги у него есть, и родные в Петербурге, но вы все, кажется, не потеряли еще надежду на милость

царя, а я так совсем не надеюсь на нее для вас. Не такой он человек...

У Басаргина не было денег, да он и не считал себя вправе воспользоваться предложением унтер-офицера. Еще в Тульчине, до ареста, он неожиданно обнаружил в ящике своего стола на службе чистый бланк заграничного паспорта, затребованного для одного уезжавшего в Париж француза.

Велико было искушение воспользоваться им и уехать. Тульчин находился всего в двухстах пятидесяти верстах от границы, и в течение каких-нибудь суток Басаргин мог уже быть вне пределов досягаемости.

Но долг чести и совести не позволил ему отделить свою судьбу от судьбы товарищей. Он изорвал и сжег документ, который давал ему возможность скрыться и избежать каторги...

Такое же предложение было сделано в крепости и декабристу М. А. Фонвизину, храброму, боевому генералу, племяннику знаменитого Дениса Фонвизина, автора «Недоросля». С пятнадцати лет он был в армии, в 1805 году под Аустерлицем был произведен в офицеры, в 1812 году был адъютантом начальника штаба армии А. П. Ермолова, в 1815 году командовал полком.

В 1814 году наполеоновский маршал Удино окружил и взял в плен весь его отряд, и Фонвизин оказался в Бретани. Узнав, что дело Наполеона проиграно, Фонвизин поднял там знамя восстания, захватил местный арсенал, обезоружил караул и объявил город на военном положении. Когда Фонвизин прибыл после этого в Париж, Александр I принял его хмуро: царь недоволен был его самоуправством в Бретани...

Вместе с армией Фонвизин вернулся на родину. Здесь он столкнулся с аракеевщиной, в 1822 году вышел в отставку и вступил в Тайное общество.

В одну из прогулок Фонвизина на тюремном дворе охрану в крепости несли солдаты полка, которым он когда-то командовал. Однополчане любили его: солдаты — за то, что генерал относился к ним по-человечески и отменил у себя в полку телесные наказания, офицеры — за честность, принципиальность, гуманность и храбрость. Когда он покидал полк, ему пожаловано было золотое оружие.

Видя своего бывшего командира полка в столь бедственном положении, солдаты предложили ему бежать. Генерал дружески поблагодарил их: нет, бежать он не хочет, он не желает подвергать опасности солдат, которые так самоотверженно хотят спасти его, и затем — он не считает себя вправе оставить находящихся в крепости товарищей по восстанию...

Особенно тепло и благодарно декабристы вспоминали в своих дневниках и записках охранявшего их унтер-офицера Соколова. Сначала он и его напарник Шibaев были немые, как рыбы, и на все вопросы декабристов отвечали молчанием.

Но вот как-то, будучи в хорошем настроении, декабрист А. Е. Розен запел в своей камере песню «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...». И вдруг услышал, что Соколов ему тихонько вторит. Он снова запел эту песню, и тюремщик снова вторил ему от начала до конца.

«Добрый знак! — подумал Розен. — Запел со мною, так и заговорит...»

Когда Соколов принес вечером ужин, Розен поблагодарил его. Тот вполголоса ответил:

— Хорошо, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое...

С тех пор, когда никого не было близко, Соколов охотно вступал с декабристами в беседу.

Как-то Розен услышал в соседней камере странный шум: казалось, скрипело перо и кто-то всю ночь перелистывал книгу.

— Скажи мне, пожалуйста, Соколов, — спросил он тюремщика, — как сделать, чтобы мне тоже получить книги?

— Сохрани вас бог от таких книг! — ответил тот. — Он, сердешный, так много писал, что уже написал себе железные рукавички.

— Как так?

— Да наделл железную цепь на обе руки весом фунтов в пятнадцать...

Эта участь постигла П. С. Бобрищева-Пушкина за то, что он отказался сообщить следствию, хотя и знал, где зарыли в землю написанную П. И. Пестелем Конституцию, так называемую «Русскую Правду».

Сохранился между тем точный план местности в поле, у села Кириасовки, близ Тульчина, где «под берегом придорожной канавы» была зарыта «Русская Правда». Предполагая, что «Русская Правда» может быть еще использована, и не желая, чтобы погиб его двенадцатилетний труд, сам Пестель указал при допросе его местонахождение.

После долгих поисков рукопись нашли в мерзлой земле и передали в собственные руки Николаю I...

До наших дней дошло лишь несколько первых глав «Русской Правды»...

Через Соколова декабристы узнавали, что делается на воле.

Однажды — это было 6 марта 1826 года — плац-адъютант не пришел в обычное время.

Унтер-офицер Соколов и сторож Шибаетов явились в новых шинелях и были гладко выбриты.

— Что сегодня, праздник? — спросил их Розен.

— Никак нет! — последовал ответ.

— Чего же вы так принарядились?

— Сегодня царя хоронят...

Все кругом было тихо. После обеда раздался пушечный выстрел, другой, третий: в это время в Казанский собор перевозили из Чесменской дворцовой церкви тело скончавшегося в Таганроге императора Александра I.

— Да здравствует смерть! — воскликнул Розен.

* * *

Тот же унтер-офицер Соколов облегчил крепостное заключение декабристу Н. И. Лореру. Когда его привезли из Зимнего дворца с запиской царя «содержать под строжайшим арестом», комендант Сукин встретил его вопросом:

— Вы майор Лорер?

— Я.

— Я получил высочайшее повеление содержать вас в крепости. Плац-майор проводит вас на вашу квартиру.

По крепостному двору Лорера повели мимо нескольких замаскированных мелом маленьких окошечек, и скоро он оказался в темном, грязном коридоре. Едва мерцавший ночник коптил и чадил. Подошли к первой двери.

— Занят! — сказал часовой.

Подошли ко второй, третьей... пятой. Все камеры были заняты.

— Пустой! — услышал наконец плац-майор, и Лорер оказался в своей «квартире».

Его охранял Соколов, в ведении которого было несколько камер.

С Лорера сняли мундир с золотыми эполетами и облачили в пестрый тюремный халат. Соколов заметно волновался.

— Добрая душа! — тихо сказал ему Лорер.

Он был голоден. Соколов дал ему кувшин кислого квасу и ломоть ржаного хлеба. Этот убогий завтрак показался ему необычайно вкусным.

Закрыли дверь. За скобы задвинули огромный железный болт, раздался режущий скрип двойного поворота, и в камере

воцарилась гробовая тишина. Нервы не выдержали, и Лорер заплакал.

Унтер-офицер и декабрист сдружились. Лорер узнавал от Соколова, кто сидит рядом с ним, кто прибыл вновь, кого увезли.

Как-то он спросил Соколова, получают ли заключенные табак, книги, белье. Соколов ответил, что получают те, у кого есть родственники.

— Но вот вчера, — сказал он, — Михаил Фотиевич Митьков получил из дома большой узел с вещами. Он ведь больной, у него чахотка... А когда узнал от меня, что лишь немногие получают передачи, снова завязал узел и просил возвратить, так как не может разделить его с товарищами.

Соколову удалось однажды как-то пронести и раздать заключенным в его камеру декабристам корзину апельсин и яблок. Лорер обнял его и поцеловал, а Соколов передал ему привет от сидевших рядом товарищей...

Как-то вечером к Лореру неожиданно вошел Соколов и предложил пойти гулять.

Час для прогулки был необычный, и Лорер удивился. К тому же настроение у него было грустное и не хотелось одеваться. Соколов настаивал. Чтобы не обидеть его, Лорер надел шинель и пошел.

Направляясь к крепостным воротам, Лорер увидел вдали человек двенадцать солдат в шинелях и фуражках.

— Что это за люди и для чего они здесь? — спросил Лорер.

Соколов улыбнулся и предложил подойти ближе. Лорер был поражен, увидев у ворот солдат роты Московского полка, которой когда-то командовал.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — приветствовал его один из солдат. — Рота послала нас проститься с вами... Она просит, чтоб вы крепились, чтобы имели силы перенести ваше несчастье и благополучно доехали до Сибири... Мы ежедневно молимся за вас...

Эта простая, сердечная речь солдата взволновала декабриста. Он поблагодарил всех, просил передать роте его привет, трижды облобызал усача-ефрейтора и сказал:

— Не могу, ребята, расцеловать вас всех, но с радостью обниму одного из вас, и пусть он передаст этот мой братский поцелуй всем остальным... Прощайте, друзья, служите счастливо!

Заступив однажды утром на дежурство, Соколов поделился с Лорером своей радостью: у него родился сын. Соглашаясь на просьбу тюремщика, Лорер стал восприемником его ребенка и из тюремной камеры дал ему имя...



1



2



3



4



5

1
Кондратий Федорович Рылев.
Миниатюра 1826 года.

2
Павел Иванович Пестель.
С портрета, принадлежавшего
отцу декабриста.

3
Сергей Иванович Муравьев-Апостол.
Акварель Н. И. Уткина.

4
Михаил Павлович Бестужев-Рюмин.
Зарисовка В. Ф. Адлерберга

5
Петр Григорьевич Каховский.
Миниатюра начала XIX века.



6

6
Сергей Петрович Трубецкой.
Аquatint Н. А. Бестужева.



7

7
Сергей Григорьевич Волконский.
Аquatint Н. А. Бестужева.



8

8
Никита Михайлович Муравьев.
Аquatint Н. А. Бестужева.

9

9
Иван Дмитриевич Якушкин.
С портрета Ш. Мазера.

10

10
Евгений Петрович Оболенский.
С портрета 30-х годов XIX века.

8



9



10



11



12



13

11
Вильгельм Карлович Нюхельбекер.
Миниатюра начала XIX века.

12
Иван Иванович Пушкин.
Акварель Н. А. Бестужева.

13
Николай Александрович Бестужев.
Акварель. Автопортрет.

14
Александр Александрович Бестужев
(Марлинский).
Акварель Н. А. Бестужева.

15
Михаил Александрович Бестужев.
Акварель Н. А. Бестужева.



14



15



16 17



18

16

Василий Львович Давыдов.
Акварель Н. А. Бестужева.

17

Матвей Иванович Муравьев-Апостол.
Акварель Н. И. Уткина.

18

Михаил Сергеевич Лунин.
Акварель П. Ф. Соколова.

19

Владимир Федосеевич Раевский.
Фотография 1863 года.

20

Алексей Петрович Юшневский.
Акварель Н. А. Бестужева.



19 20





21



22

21

Петр Иванович Борисов.
Аquatint Н. А. Бестужева.

22

Иван Иванович Горбачевский.
Аquatint Н. А. Бестужева.

23

Александр Викторович Поджио.
Аquatint Н. А. Бестужева.

24

Фердинанд Богданович Вольф.
Картон — масло Н. А. Бестужева.

25

Гавриил Степанович Батенков.
*Литография К. А. Зеленцова
1823 года.*



23



24



25



26 27



28 29



26
Михаил Александрович Фонвизин.
Акварель Н. А. Бестужева.

27
Петр Александрович Муханов.
Акварель Н. А. Бестужева.

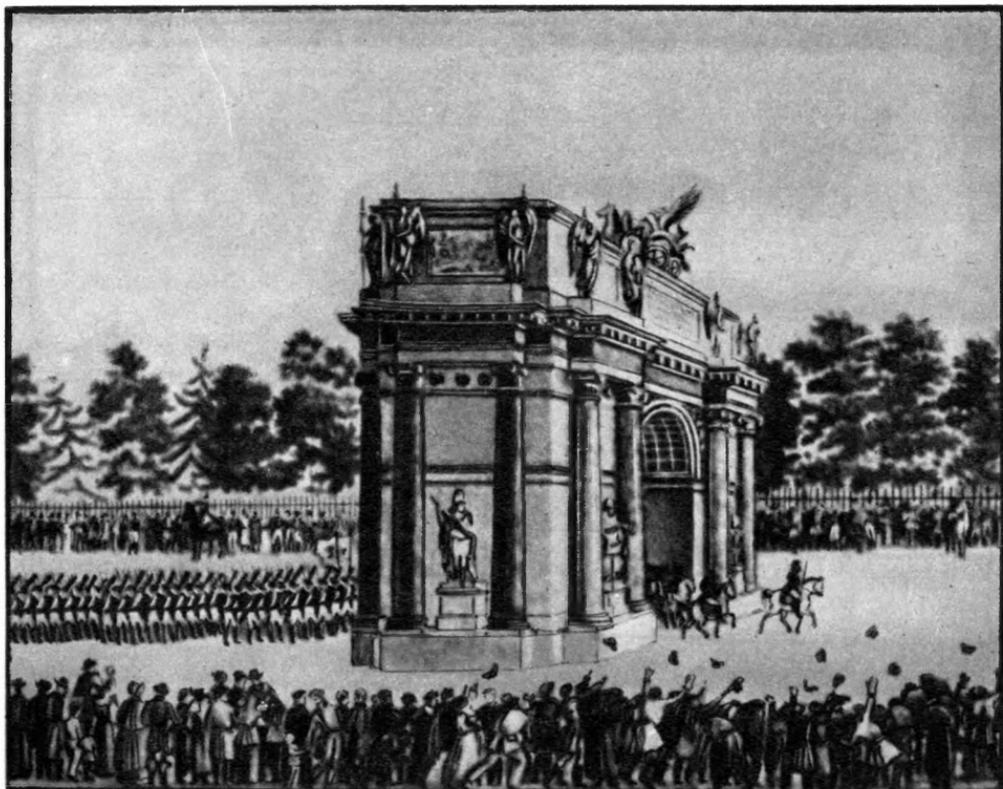
28
Николай Иванович Лорер.
Акварель Н. А. Бестужева.

29
Александр Иванович Одоевский.
Акварель Н. А. Бестужева.

30
Андрей Евгеньевич Розен.
Акварель Н. А. Бестужева.



30



Возвращение русской гвардии из Парижа,
30 июня 1814 года.
Рисунок очевидца.





Дом на набережной Мойки,
где жил К. Ф. Рылеев.
Фотография.



Дом на набережной Мойки
(ныне № 12). Отсюда выехала
в Сибирь М. Н. Волконская.
Фотография С. Иванова.

Дом Муравьевых на набереж-
ной Фонтанки, 25.

Из этого петербургского дома
выехала в Сибирь Е. И. Тру-
бецкая.





Любъ Лѣдъ, ае рѣтовѣ спрѣдъ
 Флорѣмъ Грѣхъ Дѣвѣна еанъ,
 И нѣдѣванѣмъ нѣдѣ нѣрѣсѣнѣ нѣмѣ
 Пѣрѣрѣдѣнѣнѣмъ Сѣвѣлѣтъ.
 Нѣмѣ, нѣнѣсѣтѣнѣтъ 3 8 ѣвѣлѣмъ едѣ сѣнѣсѣнѣмъ,
 137 ^{пѣнѣлѣтѣ} нѣрѣдѣнѣнѣмъ сѣвѣнѣмъ ѣвѣ нѣмъ
 И нѣрѣдѣнѣмъ нѣнѣсѣнѣмъ Дѣвѣнѣ нѣмѣнѣ,
 Нѣдѣ нѣдѣнѣмъ елѣнѣ сѣнѣсѣнѣмъ.

Собрание у К. Ф. Рылеева, 13 декабря 1825 года.
Рисунок Д. Н. Кардовского.

Автограф стихотворения К. Ф. Рылеева
«Гражданин».

Заглавный лист «Русской Правды»
П. И. Пестеля.

2

Русская Правда
или
Заповедная Государственная Грамота
Великаго Народа Русскаго
служащая
Завятомъ для Усовершенствованія
Государственной Устроики Россіи
и Савершенствъ
Воротнй наказъ какъ для Народа
такъ и для
Временнаго Верховнаго Справленія.



Восстание декабристов 14 декабря
1825 года на Сенатской площади в
Петербурге.

*Акварель К. И. Кольмана 20-х годов
XIX века.*

Выстрел декабриста П. Г. Каховского
в графа М. А. Милорадовича.
Рисунок А. И. Шарлеманя.



Конституция

Св. Никиты Муравьева.

Копированная его рукой в Казанском
университете в 1820 году.



Изъ Книгъ

М. Н. и Н. М. Муравьевыхъ
пожертвованныхъ
Н. Ф. Муравьевой

Заглавный лист Конституции
Н. М. Муравьева.

Книжный знак библиотеки, от-
правленной Е. Ф. Муравьевой
на каторгу сыну,
Н. М. Муравьеву.



1

1
Екатерина Ивановна Трубецкая.
Миниатюра начала XIX века.

2

2
Мария Николаевна Волконская.
Акварель Н. А. Бестужева.

3

3
Александра Григорьевна Муравьева.
Акварель П. Ф. Соколова.

4

4
Елизавета Петровна Нарышкина.
Акварель Н. А. Бестужева.

5

5
Наталья Дмитриевна Фонвизина.
Масло, неизвестного художника.



2



3



4



5



6



7



8



9

6

Прасковья Егоровна Анненкова.
Акварель Н. А. Бестужева.

7

Александра Ивановна Давыдова.
Акварель Н. А. Бестужева.

8

Мария Казимировна Юшневская.
Миниатюра Н. А. Бестужева.

9

Анна Васильевна Розен.
Акварель Н. А. Бестужева.

10

Камилла Петровна Ивашева.
Акварель Н. А. Бестужева.



10

Тепло и сердечно относились к декабристам и за стенами Петропавловской крепости.

Басаргин рассказывал, что как-то летом к нему зашел тюремный сторож, увидел, что он грустит, и сказал ему тепло, с участием:

— Знаю, что темно и тяжело сидеть в каземате, да куда же деваться?..

День был праздничный. Басаргин вспомнил, как проводились праздники дома, и, усмехнувшись, поделился с тюремщиком своими воспоминаниями: в такие яркие летние дни он забирался, бывало, в малинник и лакомился крупными, сочными ягодами.

Сторож по-своему реагировал на эти воспоминания декабриста. Он отпросился у плац-адъютанта в город и через час вернулся с корзиной фруктов и малиной.

— Но у меня нет денег, — сказал Басаргин, увидев корзину, — и не знаю, буду ли вообще иметь возможность вернуть их вам.

— Кушайте на здоровье, — ответил сторож, — и ни о чем не беспокойтесь. Я не истратил на них ни копейки.

— Откуда же ты взял все это? — спросил Басаргин.

— Прихожу я в Милютины лавки, — рассказал сторож, — и прошу в одной из них дать мне на четвертак¹ малины. Купец подает мне ягоды на листочке. Я прошу его прибавить и говорю: «Если бы ты знал, кому покупаю, то, верно бы, не поспешил...» — «Кому же?» — спрашивает он меня. «Одному из господ, заключенных в крепости. Ведь и четвертак-то мой, им не позволяют иметь денег». — «Что же ты прямо не сказал мне, для кого покупаешь? Возьми назад свои деньги и отнеси от меня все это. Да и впредь приходи ко мне брать полакомиться ему. Тяжко им там, бедным, да и вина их такая, что бог ее лучше рассудит, чем мы...»

Басаргина взволновал рассказ сторожа. Он разделил подарок купца между товарищами, и сторож все это разнес по камерам.

Каждый раз, когда сторож уходил в город, он спрашивал Басаргина, не зайти ли к купцу. Басаргин решительно запрещал это...

¹ Четверть рубля, двадцать пять копеек.

После первых допросов декабристов в Зимнем дворце Николаем I дальнейшие допросы проводились уже в комендантском доме Петропавловской крепости. Как правило, допросы производились всегда ночью. Ни на минуту не прекращавшаяся ходьба по тюремным коридорам, громкий стук открываемых и запираемых дверей и лязг кандалов не давали покоя.

Эти ночные заседания Следственного комитета напоминали собою судилища средневековой инквизиции. Декабристов водили на допросы с завязанными глазами. В первом зале их сажали за ширмы со словами: «Можете теперь открыться». Сидя за ширмами, декабрист мог слышать шарканье ног многочисленных плац-адъютантов и жандармов. Слышался хохот, рассказывались веселые анекдоты, подчеркивалась полная безучастность к судьбе декабристов.

Через крошечную дырочку в ширмах, едва ли не нарочно проделанную, можно было видеть, как вели на допрос товарищей со скрученными назад руками и с кандалами на руках и ногах.

В другой комнате — те же ширмы, за ними — две горящие свечи на столе, и ни одного человека во всей комнате.

Наконец заключенного вводили, снова надев повязку на глаза, в третью комнату.

— Стойте на месте! — раздавался голос плац-майора.

И затем, после минуты мертвой тишины, отрывистый приказ великого князя Михаила Павловича, басом:

— Снимите платок!

Ослепленный множеством свечей, декабрист неожиданно оказывался перед Следственным комитетом.

В центре сидел председатель Верховного суда генерал-адъютант Татищев, по бокам — великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютанты Дибич, Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Чернышев, Потапов, Левашев и гражданский сановник князь А. Н. Голицын.

Декабристы лишены были возможности защищаться. Это было не следствие в обычном понятии судебного процесса, а допрос, где следователи были одновременно и судьями. Здесь продолжались начатые Николаем I в Зимнем дворце допросы, но только более углубленные, с бесконечными очными ставками.

После словесных вопросов декабристам направляли в запечатанных пакетах вопросные пункты, на которые они должны были дать ответы.

Пестеля, который был болен, до того замучили вопросными пунктами и частыми очными ставками, что он попросил лист бумаги и в заседании комитета сам написал для себя вопросные пункты.

— Вот, господа, — сказал он, — каким образом логически следует вести и раскрыть дело, если хотите получить удовлетворительные ответы.

Велся протокол, но он ни в какой мере не отражал того, что в самом деле имело место на заседании. От декабристов часто требовали признания в том, о чем они понятия не имели. Выведенный из себя этими требованиями, член Союза Благоденствия полковник П. Х. Граббе резко сказал военному министру Чернышеву:

— Ваше превосходительство, вы не имеете права так говорить со мною: я под судом, но еще не осужден, и вам повторяю, что я показал правду и не перемену ни единого слова из своих показаний.

Чернышев побледнел и в тот же вечер пожаловался государю на дерзость арестованного полковника.

Но Николай I уже знал об этом от секретаря Следственного комитета флигель-адъютанта Адлерберга, который обязан был ежедневно доносить царю обо всем, что произошло на заседании...

Многих декабристов содержали в темных казематах, куда не проникал ни один луч света, на руках и ногах у них были кандалы, по временам им уменьшали рацион пищи и питья до голодной нормы. Естественно, что некоторые из них, стремясь избавиться от мук, в отчаянии, под давлением комитета, показывали на себя то, чего на самом деле не было и о чем понятия не имели.

* * *

В ходе следствия выяснилось, что вольнолюбивые стихи Пушкина были широко распространены в армии. Среди декабристов было много личных друзей Пушкина. Он был знаком с пятью казненными декабристами. Из тридцати приговоренных по первому разряду — с тринадцатью. И еще многих осужденных знал он...

Пушкин находился во время следствия в Михайловском и волновался за своих «друзей, братьев, товарищей». Волновало его и собственное неопределенное будущее. Он стремился вырваться из своего заточения и 20 января 1826 года писал Жуковскому:

«...Вот в чем дело: мудроно мне требовать твоего заступничества перед государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно. (NB: оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? напиши, сделай милость.) Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.

Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.

В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пуциным и Орловым.

Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я наконец был в связи с большею частью нынешних заговорщиков.

Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.

Письмо это неблагоприятно, конечно, но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив, это покамест первое мое желание.

Прежде, чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?

Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Но в течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры — глас народа. Следовательно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба.

В письме к Жуковскому от 7 марта 1826 года Пушкин снова возвращается к этому вопросу. Он пишет:

«Вступление на престол государя Николая Павловича по-

дает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

12 апреля 1826 года Жуковский ответил Пушкину на его письма и вопросы:

«В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством...»

Николай I в это время настойчиво, но безуспешно пытался установить причастность Пушкина к восстанию. На прямо поставленный царем М. П. Бестужеву-Рюмину вопрос, когда и от кого он получил стихотворение Пушкина «Кинжал», декабрист ответил, что «рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих было столько по полкам, что это нас самих удивляло».

Такие же показания давали и другие декабристы, и почти все они, когда царь спрашивал их о Пушкине, давали ответы осторожные и уклончивые.

Николаю I не удалось, таким образом, добиться от декабристов определенных показаний о прямой и непосредственной связи с ними Пушкина, и он дал приказ из дел вынуть и сжечь все «возмутительные», с его точки зрения, стихи поэта.

Стихотворения Пушкина можно было найти почти в каждом следственном деле. Декабрист И. Ф. Шимков показал, что в августе 1824 года он нашел их в местечке Белой Церкви, во время сбора дивизии, и переписал. На них было написано «П. Ш. Н.», что он «почел за Пушкин». Многие декабристы, уничтожая накануне ареста все, что могло выдать их, сжигали стихи Пушкина.

Николай I мог, конечно, приказать «из дел вынуть и сжечь» стихи Пушкина, но, жестоко расправившись со своими родолюбивейшими «друзьями 14 декабря», он все же не решился тронуть Пушкина.

Выяснившаяся во время следствия и суда над декабристами роль Пушкина в назревании событий 14 декабря давала Николаю I все основания расправиться и с поэтом, и с его несколько причастным к восстанию младшим братом, Львом. Но царь предпочел пойти по другому, подсказанному ему Бенкендорфом пути: «...если удастся направить его перо и его речи, в этом будет прямая выгода». Царь простил Пушкина и одновременно «милостиво» согласился стать цензором его произведений...

Известно, что накануне декабрьских событий 1825 года Пушкин хотел самовольно оставить Михайловское и выехать в Петербург. Существует предположение, что приехавший навестить его Пущин, лицейский товарищ, вызывал его в столицу. О том, что в Петербурге беспокойно, рассказывал ему вернувшийся оттуда повар Осиповых Арсений. Пушкин велел уже закладывать лошадей, чтобы ехать в Петербург, и лишь по чистой случайности отложил поездку.

Это спасло Пушкина. Приехав в Петербург накануне 14 декабря, он оказался бы в кипящем революционном котле восстания, на квартире у Рыльева, и вместе с «друзьями, братьями, товарищами» вышел бы на Сенатскую площадь.

Николай I, как известно, вызвал Пушкина в Москву после расправы с декабристами, и 8 сентября 1826 года поэт и царь встретились.

Пушкин никому не рассказывал, как проходила его беседа с царем, но некоторые подробности этой встречи декабрист Н. И. Лорер слышал из уст его брата Льва. И знакомая Пушкина, А. Г. Хомутова, передавала их со слов самого поэта.

Николай I спросил Пушкина, действительно ли он был дружен «со многими из тех, которые в Сибири».

— Правда, государь, — ответил Пушкин, — я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства!

— Можно ли любить такого пегодя, как Кюхельбекер? — задал вопрос Николай I.

— Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, — ответил Пушкин, — и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь!

Государь долго говорил с Пушкиным, потом спросил:

— Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?

— Непременно, государь, — ответил Пушкин, — все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня...

— Довольно ты подурачился, — возразил император, — надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором...

Беседа была закончена. Взяв Пушкина за руку, царь вышел с ним в наполненную царедворцами смежную комнату и сказал:

— Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем...

По случайному совпадению, вскоре после декабрьского восстания, в дни следствия над декабристами, 30 декабря 1825 года, вышел из печати сборник стихотворений Пушкина с эпиграфом на латинском языке: «Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятение». Это взволновало дружески расположенного к Пушкину историка Н. М. Карамзина, но принесший книгу поэт П. А. Плетнев поспешил его успокоить: Пушкин имел здесь в виду не что иное, как смятение чувств.

Декабристы сознательно таили от Пушкина существование Тайного общества: предвидя возможную неудачу восстания, они хотели спасти для России ее гениального поэта. К тому же он, по выражению Пуцина, «по-своему проповедовал в нашем смысле».

Что было бы с Пушкиным, если бы он стал членом Тайного общества и ему пришлось бы испытать жизнь на каторге? Этот вопрос задавал себе его лицейский товарищ, декабрист Пуцин, после того как узнал на каторге от приехавшего из Петербурга тюремного офицера В. В. Розенберга о гибели своего друга.

Отвечая самому себе на этот вопрос, Пуцин писал в своих позднейших «Записках о Пушкине», написанных по настойчивой просьбе сына декабриста, Е. И. Якушкина:

«Положительно сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере несвоевременно было прервано».

В грустные минуты Пуцин утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин будет всегда жив для тех, кто, как он, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бесмертных творениях...

В муках и страданиях декабристы провели в Петропавловской крепости шесть долгих месяцев. Следственный комитет стал собираться все реже и реже, и декабристы ждали суда.

Но суда фактически не было. Было много обвиняемых, много обвинителей и судей и ни одного защитника. Решено было не производить повторного допроса обвиняемых в официальном заседании, как того требовал закон, а ограничиться простым опросом подсудимых в самой крепости.

— Вас просят в комитет! — приглашали заключенных.

Те шли, полагая, что идут на суд и что им дадут возможность защищаться.

Но ничего этого не было.

Их встречали вопросами:

— Вы ли это писали? Подтверждаете ли все показанное вами? Вот подписка, заготовленная в этом смысле. Прочтите и подпишите.

— Что это значит?

— Государю угодно поверить беспристрастию действий комитета...

Времени для прочтения следственного дела декабристам не дали.

Все заключенные должны были в одни сутки проверить свои показания и документы. Они перелистывали свои «дела», которых судьи даже не выпускали из рук, и должны были при таком крайне беглом осмотре ответить на три вопроса: их ли рукой подписаны показания, добровольно ли они подписаны и были ли им даны очные ставки. Судьи решили сохранить если не самую форму, то, по крайней мере, придерживаться видимости формы...

Необходимо заметить, что при допросах и опросах в Петропавловской крепости, в отсутствие Николая I, допрашиваемые чувствовали себя свободнее и отвечали еще резче на задаваемые им вопросы.

Декабристов обычно спрашивали:

— Что побудило вас вступить в Тайное общество?

Подполковник В. И. Штейнгель поместил в своем ответе на этот вопрос такой предельно резкий, презрительный и отталкивающий верный портрет Николая I, что члены Следственного комитета решительно потребовали, чтобы он изменил показание.

— Как вы смели писать такие дерзости против священной особы государя? — спрашивали они декабриста. — Нам к делу невозможно присовокупить это! Ведь сам государь должен их будет читать!..

— Тем лучше, — ответил Штейнгель. — Пусть он посмотрится в это зеркало. А я, — прибавил он, повторяя слова Понтия Пилата из Евангелия, — «еже написах, написах...»

Позже Штейнгель писал Николаю I из крепости: «Сколько бы ни оказалось членов Тайного общества или ведавших про оное, сколько бы многих по сему преследованию ни лишили свободы, все еще остается гораздо множайшее число людей,

разделяющих те же идеи и чувствования... Чтобы истребить корень свободомыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее царствование».

Когда Штейнгеля стали обвинять во время допроса, что он не донес о готовившемся восстании, он ответил:

— Вы, милостивые государи, которые должны произвести надо мною суд по совести, приведите, прошу вас, на память этой самой вашей совести событие 1801 года, марта на двенадцатое число, вспомните, что и сам покойный государь, узнав ужасную тайну фон-дер-Палена, не объявил ее государю — родителю своему. И так были и будут обстоятельства выше человеческих постановлений и обязанностей...

Этими словами декабрист Штейнгель напомнил судьям об убийстве императора Павла I в ночь на 12 марта 1801 года, о чем его сын, будущий царь Александр I, был осведомлен. Судьи ничего не ответили на слова Штейнгеля.

Об обстоятельствах убийства императора Павла I напомнил Следственному комитету и декабрист Н. Бестужев. Когда член комитета Голенищев-Кутузов, сам участвовавший в убийстве Павла I, стал обвинять его в намерении совершить цареубийство, он ответил:

— Я еще не убил ни одного царя, а между моими судьями есть цареубийцы. — И добавил, обращаясь к Голенищеву-Кутузову: — Я удивляюсь, что это вы мне говорите...

* * *

1 июня 1826 года Николай I подписал манифест об учреждении Верховного уголовного суда над «государственными преступниками», и вскоре опубликовано было донесение Следственного комитета по делу декабристов.

Декабристы не теряли еще надежды, что их будут судить в Сенате, что им будет дана возможность защищаться. Но один из охранявших их унтер-офицеров сказал им:

— Вы все еще на что-то надеетесь? Напрасно, господа. Я поседел в этих стенах, я, можно сказать, человек мертвый. Горе и нужда заставили меня похоронить себя здесь. И я скажу: не миновать вам всем Сибири. Человек я простой, но знаю этих господ лучше вашего. От них не ждите ничего доброго, готовьтесь к худшему...

глава Шестая

ПРИГОВОР И КАЗНЬ

Рылеев умер, как злодей!
О, вспомани о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей.

Н. М. Языков

12 ИЮЛЯ 1826 ГОДА во всех коридорах Петропавловской крепости поднялась невообразимая суета.

— Слышите ли вы этот необычайный шум? — спросил Лорер, перестукиваясь через стенку со своим соседом. — Я думаю, что сегодня решится наша судьба и многим из нас не увидать завтрашнего заката солнца, сосед...

С шумом начали отпираться и запираться двери тюремных камер. Заключенным принесли форменное платье и мундиры, предложили одеваться и выходить из казематов.

Их ослепил яркий свет июльского солнечного утра и поразило открывшееся перед их глазами на крепостном дворе зрелище: взвод жандармов, много карет, большая толпа людей, много женщин.

Декабристов направляли в комендантский корпус, и здесь они впервые после полугодового тюремного заключения увидели друзей и товарищей.

Скоро стало известно, что их привели выслушать приговор.

— Как, разве нас судили? — раздались возгласы.

— Уже судили!..

* * *

За три дня до казни пяти декабристов, 10 июля 1826 года, Николай I писал своей матери: «Я отстраняю от себя всякий смертный приговор».

В то же время начальник Главного штаба генерал-адъютант Дибич писал председателю Верховного уголовного суда,

действительному тайному советнику 1-го класса князю Лопухину:

«На случай сомнения в виде казни, какая сим судом преступникам определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную».

Между тем приговор декабристам уже был вынесен и лежал у Николая I на столе. Вынося его, судьи прекрасно знали истинные настроения и желания царя. Они знали, что сразу после 14 декабря Николай I хотел в первые же двадцать четыре часа расстрелять всех взятых на Сенатской площади, но Сперанский остановил его.

— Помилуйте, государь, вы каждого из этих несчастных сделаете героем, мучеником... — сказал он царю. — Они сумеют умереть... Это дело общее — вся Россия, вся Европа смотрит на ваши действия... Надобно дать всему форму законности, которая к тому же откроет много важного, ибо, я полагаю, не одни военные замешаны в этой истории... В ней таится и другая искра...

Николай I внял этому совету...

Таким образом, уже после того, как приговор был предрешен, царь лицемерно писал матери, что он «отстраняет от себя всякий смертный приговор», и одновременно дал судьям понять через Дибича, что декабристы заслуживают смертной казни и «на случай сомнения в виде казни, какая сим судом преступникам определена быть может», сообщает, что он «никак не соизволяет... ни даже на простое отсечение головы». Он милостиво подсказывал судьям бескровную казнь декабристов — повешение.

* * *

Для объявления приговора в комендантский корпус Петропавловской крепости начали приводить 12 июля 1826 года находившихся в казематах декабристов. Пятеро отсутствовали — они готовились к казни.

Декабристов разместили в помещениях комендантского корпуса, по одиннадцати определенным Верховным судом разрядам осужденных, и группами начали вводить в зал заседаний Верховного суда.

К запертым дверям, охраняемым чиновником, первыми привели осужденных по первому разряду.

Двери раскрылись, и перед глазами декабристов предстало необычайное зрелище — за большим, крытым красным сукном столом сидели судьи: 18 членов Государственного совета, 36 сенаторов, 3 митрополита и 15 особо назначенных военных и гражданских чиновников, всего 72 человека — «жалких стариков, поседелых в низкопоклонстве и интригах, созданных на какой-то импровизированный суд», — как писал о них Н. П. Огарев.

Среди них находился министр юстиции Лобанов-Ростовский, в парадной форме и с андреевской лентой через плечо. Стоявший рядом с ним чиновник начал читать приговор, вызывая каждого по фамилии:

— Полковник князь Сергей Петрович Трубецкой, виновный, по собственному признанию, в том-то и том-то, лишается всех прав состояния, чинов, орденов и приговаривается к смертной казни отсечением головы...

Один за другим перед Верховным судом проходят тридцать декабристов, отнесенных к первому разряду осужденных, и всем им объявляется один и тот же приговор: смертная казнь отсечением головы.

В этот разряд вошли декабристы, давшие личное согласие на царевубийство, а также совершившие убийство на Сенатской площади: члены Северного общества — С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, В. К. Кюхельбекер, А. И. Якубович, Александр Бестужев, Никита Муравьев, И. И. Пущин, И. Д. Якушкин, А. П. Арбузов, Д. И. Завалишин, Н. А. Панов, А. Н. Сутгоф, Д. А. Щепин-Ростовский, В. А. Дивов и Н. И. Тургенев; члены Южного общества — Матвей Муравьев-Апостол, А. П. Бяргинский, А. В. Поджио, Артамон Муравьев, Ф. Ф. Вадковский, В. Л. Давыдов, А. П. Юшневский, С. Г. Волконский и В. И. Повало-Швейковский; члены Общества соединенных славян — братья Петр и Андрей Борисовы, И. И. Горбачевский, М. М. Спиридов, В. А. Бечаснов, Я. М. Андреевич и А. С. Пестов. Всего 31 человек, из которых Н. Тургенев находился за границей и был осужден заочно.

Их выводят через другую дверь, и в зал вводят семнадцать декабристов, отнесенных ко второму разряду. Среди них: М. С. Лунин, братья Николай и Михаил Бестужевы, Н. В. Басаргин, К. П. Торсон, И. А. Анненков, В. П. Ивашев, доктор Ф. Б. Вольф и другие. Все они должны были положить голову на плаху палача — таков был обряд политической смерти, —

после чего им объявлялось, что они приговорены к вечной каторге. Всем им вменялось в вину согласие с умыслом царевбийства.

Третий разряд — два человека: В. И. Штейнгель и Г. С. Батенков, осужденные на вечную каторгу.

Четвертый разряд — шестнадцать человек, среди которых: М. А. Фонвизин, П. А. Муханов, Н. И. Лорер, поэт А. И. Одоевский, М. М. Нарышкин, П. С. Бобрищев-Пушкин, А. М. Муравьев, братья Александр и Петр Беляевы и другие. Приговор — пятнадцать лет каторги, после чего — вечное поселение в Сибири.

Пятый разряд — пять человек, среди них: Михаил Кюхельбекер, брат лицейского товарища Пушкина, А. Е. Розен, Н. П. Репин, М. Н. Глебов и М. А. Бодиско 2-й. Все они приговорены были к десяти годам каторги и после этого к вечному поселению.

Шестой разряд — два человека, А. Н. Муравьев и Ю. К. Люблинский: шесть лет каторги и поселение.

Седьмой разряд — пятнадцать человек, приговоренных к четырем годам каторги и поселению. Среди них были: А. В. Ентальцев, З. Г. Чернышев, П. Ф. Выгодский, А. Ф. Бригген и другие.

Восьмой разряд — пятнадцать человек. Приговор: лишение чинов и дворянства и ссылка на поселение.

Девятый разряд — три человека, приговоренные к лишению чинов и дворянства и сдаче в солдаты в особо дальние гарнизоны.

Десятый разряд — один человек, Михаил Пущин, брат лицейского товарища Пушкина, приговоренный к лишению чинов и дворянства и разжалованию в солдаты с правом на выслугу.

Наконец, одиннадцатый разряд — восемь человек. Приговор: лишение чинов и разжалование в солдаты с правом на выслугу лет.

Приговор порастил всех своими суровыми сроками. Николай I продиктовал его Следственному комитету, а Верховный суд не судил и не рядил, а только безоговорочно, без всякой критики, принял продиктованное ему.

Подробный разбор донесений Следственного комитета показывает, что при вынесении приговоров часто не столько учитывалась вина осужденных, сколько поведение их во время допросов и личная неприязнь к ним Николая I. За одну и ту же вину декабристам давались разные сроки каторги. Одни и те же сро-

ки давались часто тем, кто принимал активное участие в восстании и кто задолго перед тем отошел от тайного общества; тем, кто готов был осуществить цареубийство и кто отказался от него.

Многие декабристы осуждены были лишь за разговоры о цареубийстве. Одновременно царь приказал изъять из донесения Следственного комитета показания декабристов об их борьбе за отмену крепостного права, за передачу крестьянам земли и сокращение двадцатипятилетнего срока солдатской службы. Николай I опасался, что опубликование таких материалов усилит сочувствие народа к декабристам.

Виднейшие юристы Западной Европы, осведомившись о приговоре, пришли к заключению, что из списка осужденных следовало бы исключить большую половину и, наоборот, дополнить его значительным списком крупных сановников, которых Николай I по тем или иным причинам решил не привлекать к ответственности.

Не только русских людей, но и иностранцев поразил вынесенный декабристам суровый приговор. Маршалы Англии и Франции, Веллингтон и Мортье, прибывшие в Петербург для поздравления Николая I с восшествием на престол, просили царя пощадить и помиловать декабристов. Их страны прошли через ряд восстаний и революций, и они хорошо знали, чем выносятся мятежи.

Император Николай I ответил Веллингтону:

— Я удивлю Европу своим милосердием.

Он действительно смягчил вынесенные декабристам суровые приговоры. Но необходимо сказать, что угодливые судьи, хорошо зная своего повелителя, умышленно повысили сроки наказаний декабристам, чтобы дать царю возможность оказать осужденным «милость» и при конфирмации смягчить вынесенное им суровое наказание.

Смягчение это было настолько незначительно, что никого не удивило: это было не милосердие, а продиктованная ненавистью злобная расправа царя с людьми, осмелившимися восстать против абсолютизма, против ужасов крепостного права и двадцатипятилетней солдатчины.

* * *

Осужденные выслушали приговор спокойно. Присутствовавшие при объявлении его члены Государственного совета и сепараторы с циничным любопытством разглядывали через лорнетты тех, кого они до того ни разу не видели и осудили заочно.

Церемония объявления приговора длилась несколько часов среди глубочайшей тишины.

Лишь Сухинов, выслушав приговор над участниками восстания Черниговского полка, громко сказал:

— И в Сибири есть солнце!..

* * *

Как встретили декабристы приговор?

«Мы так еще были молоды, — рассказывал в своих воспоминаниях Басаргин, — что приговор наш к двадцатилетней каторжной работе в сибирских рудниках не сделал на нас большого впечатления. Правду сказать, он так был несообразен с нашею виновностью, представлял такое несправедливое к нам жесточение, что как-то возвышал нас даже в собственных наших глазах.

С другой стороны, он так отделял нас от прошедшего, от прежнего быта, от всего, что было дорого нам в жизни, что необходимо вызывал в каждом из нас все силы нравственные, всю душевную твердость для перенесения с достоинством этого перехода...

Лишив нас всего и вдруг поставив на самую низкую, отверженную ступень общественной лестницы, правительство давало нам право смотреть на себя как на очистительные жертвы будущего преобразования России; одним словом, из самых простых и обыкновенных людей делало политических страдальцев за свои мнения, этим самым возбуждало всеобщее к нам участие, а на себя принимало роль жесточенного, неумолимого гонителя».

Среди осужденных декабристов были еще совсем молодые люди, которым только что минуло двадцать лет. Несмотря на вынесенные им суровые приговоры, они шли на каторгу, не теряя надежды на лучшее будущее...

Декабристы сохраняли спокойствие и держали себя с большим достоинством. Лейтенант Б. А. Бодиско 1-й, приговоренный к лишению чинов и дворянства и ссылке на поселение, заплакал, услышав приговор.

— Что это значит? — спросили его товарищи, державшие себя сурово, стойко и непреклонно.

— Неужели вы думаете, что я по малодушию плачу о своем приговоре? Напротив, я плачу оттого, что мне стыдно и досадно, что приговор мне такой ничтожный, и я лишен буду чести разделить с вами заточение и ссылку.

Сцена эта произвела на присутствовавших большое впечатление. Взволнованы были и солдаты, державшие ружья на караул.

Кроме ста двадцати одного человека, осужденных Верховным уголовным судом, было еще много людей, подвергшихся наказаниям без всякого суда. Офицеров переводили из гвардии в армию, ссылали в отдаленные гарнизоны, отстраняли от командования, отправляли на жительство в деревни и отдаленные города под надзор полиции. Некоторым осужденным произвольно меняли меры наказания и вместо ссылки в Сибирь содержали в течение ряда лет в самых тяжких условиях в крепостных казематах.

С солдатами обращались очень сурово: их прогоняли сквозь строй, секли, отправляли на каторгу, в ссылку в Сибирь, на Кавказ в штрафные части. Рассылали по другим частям и гарнизонам.

К числу пяти казненных декабристов надо прибавить еще насмерть запоротых солдат-декабристов. Иные из них были прогнаны двенадцать раз сквозь строй в тысячу человек, то есть получили по двенадцать тысяч ударов шпицрутенами.

Царь заменил при конфирмации приговора четвертование пяти декабристов повешением, другим заменил отсечение головы вечной каторгой. Остальным несколько снизил сроки каторги, но это не имело особого значения: большинство декабристов погибло в Сибири, а оставшиеся вернулись через тридцать лет умирать на родину глубокими стариками.

Николай I до конца дней не забывал своих «друзей 14 декабря». На протяжении всех тридцати лет своего царствования он следил из своего дворцового кабинета за каждым из осужденных, никогда не выпускал декабристов из поля своего зрения и не допускал по отношению к ним никаких послаблений.

* * *

Еще до того, как декабристов вывели из казематов для выслушания приговора, некоторые из них могли видеть через окошечко камеры, что на крепостном валу возводится какое-то сооружение из бревен. Около плотников суетился и отдавал распоряжения генерал-адъютант с белым султаном на головном уборе.

Не успели декабристы прийти в себя после объявления приговора, как в тот же день, около полуночи, всех разбудили и предложили одеваться.

Их всех вывели и собрали на крепостном дворе. Они обнимали и целовали друг друга и только здесь узнали, сколько их было. Многие из них впервые увидели тех, с кем им суждено было пройти рука об руку долгий и тяжкий путь каторги и ссылки.

Они вышли из своих казематов в странных пестрых одеждах. Казалось, это было какое-то фантастическое карнавальное шествие радостно обнимающихся и целующихся людей. Здесь были генералы в парадных мундирах, офицеры в гусарских сюртуках и казематских туфлях на ногах, смесь черных фраков, изодранных тулупов, круглых шляп, грузинских папах, белых кирасирских колетов и киверов.

Под конвоем их вывели из крепости через Петровские ворота. На площади, слева, они увидели виселицу. Гвардейские полки опоясывали полукругом площадь. Их ряды прорезывали свисавшие с перекладины пять веревок с петлями. На деревянных подмостках расхаживал палач в красной рубахе. На площади разложены были костры, в которых все время поддерживали огонь.

Осужденных поставили небольшим четырехугольником, начали срывать с них эполеты и ордена и бросали в огонь. Волконский сам снял и бросил в пламя свои знаки отличия.

Принесли шпаги. Началась так называемая гражданская казнь. По команде всех ставили на колени и над их головами ломали заранее подпиленные шпаги. Шпага Якушкина была недостаточно подпилена, и, когда ее ломали, ударила его по голове.

— Ежели ты повторишь еще раз такой удар, так ты убьешь меня до смерти! — сказал Якушкин солдату.

Церемония эта продолжалась больше часу. После нее на всех надели тюремные халаты и повели обратно.

Возвращение декабристов в казематы являло собою еще более трагическое зрелище: ободранные мундиры — и на головах нарядные гвардейские каски с султанами из цветных перьев, полосатые тюремные халаты — и ботфорты со шпорами на ногах... И весь этот трагический маскарадный кортеж проходил перед виселицей, на которой через какой-нибудь час должны были качаться тела пяти декабристов.

«И смешно ужасен был этот адский карнавал!» — вспоминал позже Михаил Бестужев день 12 июля 1826 года.

Когда декабристам раздавали арестантское платье, кто-то из них сказал:

— Господа, будет время, когда вы будете гордиться этой

одеждою больше, нежели какими бы то ни было знаками отличия...

Над всем этим витала черная тень «незабвенного», как декабристы называли впоследствии императора Николая I...

* * *

С той минуты, когда декабристов начали выводить из казематов, до окончания обряда гражданской казни генерал-адъютант Чернышев каждые четверть часа посылал к Николаю I в Царское Село фельдъегеря с донесением о том, что все идет, как приказано. При этом он отмечал, что декабристы равнодушно восприняли гражданскую казнь и сожжение орденов, а некоторые даже смеялись.

Николай I был взбешен, осведомившись о таком настроении осужденных, и писал матери в письме от 13 июля: «Презренные и вели себя, как презренные — с величайшей низостью... Подробности относительно казни, как ни ужасна она была, убедили всех, что столь закоснелые существа и не заслужили иной участи: никто из них не выказал раскаяния».

О «недостойном» поведении декабристов записала в своем дневнике и «достойная» супруга Николая I, немецкая принцесса: «Чернышев говорил мне, что большая часть этих негодяев имела вызывающий и равнодушный вид, который возмутил как присутствующих, так и войска; были такие, которые даже смеялись...» А в день восстания она записала, что «подлая чернь была вся на стороне мятежников» и что на лице мужа она якобы увидела, вечером 24 декабря, отпечаток смирения, на глазах — слезы...

Гражданская казнь декабристов-моряков происходила не на плацу Петропавловской крепости, а в Кронштадте, на флагманском корабле, куда их доставили из Петербурга в закрытом арестантском судне.

* * *

Приговоренные к повешению декабристы ждали в это время казни. В саванах и кандалах они, еще живые, казалось, слушали, как их отпевали.

Последние свои часы все пятеро провели в расположенных рядом камерах: К. Ф. Рылеев — в одной, С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин — в другой, П. И. Пестель и П. Г. Каховский — в третьей.

От начала до конца сохранял исключительное самооблада-

ние Пестель. Он до последней минуты проявлял бодрость духа, никого ни о чем не просил и спокойно смотрел, как его заковывали в кандалы. В беседе с Каховским высказывал равнодушные к смерти.

Спокоен был и Рылеев. За несколько дней до казни с ним произошел совершенно исключительный случай, составивший событие в жизни мрачного Алексеевского равелина: в тот момент, когда сторож выносил после обеда посуду из камеры Николая Бестужева, мимо раскрытой двери камеры вели на прогулку Рылеева.

Оттолкнув тюремщиков, друзья бросились друг другу в объятия...

Жена Рылеева дважды просила царя разрешить ей свидание с мужем, но получила его лишь 9 июня 1826 года, за месяц до казни Рылеева. На ее просьбу помиловать мужа царь ответил:

— Никто не будет обижен!

Декабрист В. С. Толстой рассказывал впоследствии, что накануне казни декабристов он услышал во дворе шум, подставил стул и, взобравшись на подоконник, неожиданно увидел внизу подбежавшую к стене растерянную женщину, которая спрашивала:

— Где Кондратий?

Это была жена Рылеева, Наталья Михайловна. Она искала свидания с мужем, но Рылеев, не желая волновать ее, от свидания отказался. Он писал в это время свое предсмертное письмо к жене...

Была глубочая ночь. Солнце еще не вставало. Рылеев дописывал письмо, когда к нему в камеру вошли плац-адъютант и тюремщик с кандалами в руках и сказали, что через полчаса надо идти. Рылеев дописал письмо, съел кусочек белого хлеба, запил водою, попрощался с тюремщиком и сказал:

— Я готов идти!

Всех поразило его мужественное спокойствие...

Через два дня Н. М. Рылеевой передали предсмертное письмо мужа. Он писал в нем:

«...я должен умереть, и умереть смертью позорною... не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправляйся к почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня... Я хотел просить свидания с тобою, но раздумал, боясь, чтобы не расстроить себя... Настеньку благословляю... Старайся перелить в нее твои христианские чувства, и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в

жизни; и когда будет иметь мужа, то осчастливит его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, осчастливила меня в продолжение восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами, они не могут выразить чувств моих... Прощай! Велят одеваться...

Твой истинный друг *Кондратий Рылеев*».

* * *

Сестра С. И. Муравьева-Апостола, Е. И. Бибикова, не зная еще, что брат приговорен к смертной казни, поехала в Царское Село и добилась разрешения на свидание с ним. Ночью, за несколько часов до казни, ее пропустили в крепость. Увидев законного в кандалы брата, она заплакала.

Сергей Муравьев-Апостол был спокоен. Это был человек твердой воли и мужества. Еще за десять лет до этого он как-то приехал в Тригорское, к своей двоюродной сестре Прасковье Александровне Осиповой, и подарил ей черный сафьяновый альбом. Речь зашла о смерти, и Осипова сделала в нем первую запись, Сергей Муравьев-Апостол — вторую, на французском языке. Он написал: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым. 16 мая 1816 года»...

Через десять лет после этого, 13 июля 1826 года, в день казни, Сергей Муравьев-Апостол подтвердил свою готовность к смерти. Сестре он сказал, что напрасно ее так смущают окопы: они ни языка, ни чувств не связывают и потому не помещают им дружески беседовать.

В одном из своих писем к сестре, от 13 января 1840 года, с каторги, М. С. Лунин вспоминал, что как-то ночью, когда он еще находился в каземате, было душно от тяжелого воздуха, насекомых и копоты, он не мог заснуть и вдруг услышал, как кто-то читает стихи:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не зваемый никем;
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос.

— Сергей Муравьев-Апостол, — последовал ответ...

В восстании декабристов приняли участие три брата Му-

равьевы-Апостолы. Второй брат, Матвей, приговорен был к каторжным работам, третий, Ипполит, застрелился на поле боя после поражения восстания Черниговского полка. Сергей Муравьев-Апостол просил сестру позаботиться о четвертом брате, Василии...

Полумертвую, без сознания, сестру вынесли из кабинета коменданта, когда брат, гремя кандалами, удалился в каземат.

Вернувшись в камеру, С. И. Муравьев-Апостол, как рассказывали позже тюремщики, стал успокаивать М. П. Бестужева-Рюмина, которому было всего двадцать три года и, может быть, труднее других было расставаться с жизнью. Он просил его не предаваться отчаянию, а встретить смерть твердо и спокойно, не унижая себя перед толпой, которая будет присутствовать при их казни. Он убеждал его смотреть на себя как на мученика за правое дело, за лучшее будущее утомленной деспотизмом России и помнить в последнюю минуту, что потомство всем им произнесет свой справедливый приговор.

Тюремные сторожа, уважая последние часы жизни осужденных, не мешали им беседовать друг с другом.

Выходя из каземата на казнь, Бестужев-Рюмин снял с груди и подарил тюремному сторожу Трофимову вышитый его двоюродной сестрой образок. Декабрист Розен предлагал потом Трофимову обменять этот образок на что-либо ценное, но старый солдат не соглашался ни на какие условия, заявив, что постарается отдать его сестре казненного.

* * *

На рассвете тюремщики загремели ключами и начали открывать двери камер: приговоренных выводили к смерти. В неожиданно наступившей тишине раздался возглас Рылеева:

— Простите, простите, братья!

Сидевший в соседней камере Оболенский бросился к окну и увидел внизу всех пятерых, в окружении гренадеров с примкнутыми штыками. Они были в длинных белых рубашках, руки и ноги закованы в тяжелые кандалы. На груди у каждого была доска с надписью: «Цареубийца»...

Все пятеро простились друг с другом. Они были спокойны и сохраняли необычайную твердость духа.

— Положите мне руку на сердце, — сказал Рылеев сопровождавшему его священнику Мысловскому, — и посмотрите, бьется ли оно сильнее.

Сердце декабриста билось ровно...

Пестель, глядя на виселицы, сказал:

— Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пули, ни от ядер. Можно было бы нас и расстрелять!..

Осужденных возвели на помост, подвели к виселице, накинули и затянули петли. Когда из-под ног повешенных выбили скамейки, Пестель и Бестужев-Рюмин остались висеть, а Рылеев, Муравьев-Апостол и Каховский сорвались.

— Бедная Россия! И повесить-то порядочно не умеют! — воскликнул окровавленный Муравьев-Апостол.

В старину существовало поверье, что люди из народа, сочувствуя приговоренным к повешению, нарочно делали петли из гнилых веревок, так как сорвавшихся во время казни с петель обычно миловали. Но не таков был Николай I и его ретивые исполнители.

Генерал-адъютант Чернышев, «по виду и ухваткам гнусный инквизитор», гарцевавший на коне вокруг повешенных и рассматривавший их через лорнет, приказал поднять их и снова повесить.

Эти трое осужденных умирали вторично.

Весь окровавленный, разбив при падении голову и потеряв много крови, Рылеев имел еще силы подняться и крикнул петербургскому генерал-губернатору Кутузову:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, скажите ему, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.

— Вешайте их скорее снова! — крикнул в ответ на это палачу Кутузов.

— Подлый опричник тирана! — бросил Кутузову в лицо неукротимый Рылеев. — Дай же палачу твои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз!..

На рассвете тела казненных положили в гробы и тайком увезли на остров Голодай, где и похоронили. Могила их не была найдена. На острове был сооружен в 1939 году обелиск.

Подробности казни стали в тот же день широко известны, о них говорили во всех кругах Петербурга.

* * *

Передавали, что сразу после казни генерал-адъютант Дибич привез из Царского Села приказ Николая I провести всех участвовавших в экзекуции солдат и осужденных участников восстания мимо тел повешенных.

Но даже угодливые царские генералы растерялись, получив этот дикий царский приказ. Они не решились на это — приказ остался невыполненным...

Заключенные в крепости декабристы находились во время казни их пяти товарищей в своих казематах. С площади до них доходил лишь глухой шум, но все они знали, что там совершается казнь.

Розена перевели в тот же день в четырнадцатую камеру, где провел свою последнюю ночь перед казнью Рылеев. Здесь, на столике, писал он жене свое последнее письмо. В оловянной кружке осталась не допитая им вода.

Лорер попал в камеру, оставленную Пестелем. Постель была в беспорядке и, казалось, хранила еще контуры его тела. Никакого письма или нацарапанной на стене надписи Лорер не нашел.

Вечером 13 июля, в день казни декабристов, Е. И. Бибикова зашла в Казанский собор и была поражена, услышав провозглашение вечной памяти Кондратию, Павлу, Сергею, Михаилу и Петру: облачившись в черные ризы, протоиерей собора Мысловский служил панихиду по пяти казненным декабристам.

Сергей, имя которого провозгласил Мысловский, был ее брат, Сергей Муравьев-Апостол...

В тот же день, вечером, группа офицеров Кавалергардского полка устроила на Елагином острове праздник с фейерверком в честь своего шефа, императрицы Александры Федоровны. Пестель и Бестужев-Рюмин, как и многие другие декабристы, служили когда-то в рядах этого полка, тела казненных еще не успели остыть, и этот раболопно устроенный группой офицеров праздник вызвал среди многих военных и передовой части населения Петербурга гнев и возмущение...

* * *

В петербургском «Дневнике» Пушкина, который поэт вел в 1833—1835 годах, мы читаем следующую запись о том, чем занимался Николай I в день казни декабристов: «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал ему сказать что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр... подняла платок в память исторического дня...»

Расправа Николая I с декабристами потрясла Пушкина.

Находясь в Михайловской ссылке, он писал своему другу П. А. Вяземскому: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна...»

Все передовое общество того времени было на стороне декабристов, и все прекрасно знали, зачем царь вызвал Пушкина в Москву в дни своего коронавания.

И потому Москва особенно восторженно встретила любимого поэта. Его приятель, В. В. Измайлов, писал ему 29 сентября 1826 года: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта... Извините, я забываюсь. Пушкин достоин триумфа Петrarки и Тасса; но москвитяне не римляне, и Кремль не Капитолий».

Царь расправляется с декабристами, фельдъегери один за другим увозят осужденных на каторгу, жены их с огромным трудом получают разрешение следовать за ними в Сибирь.

А Пушкин в это время, 27 декабря 1826 года, провожает уезжающую к мужу на каторгу М. Н. Волконскую и «в римском палаццо у Тверских ворот» Зинаиды Волконской читает на прощальном вечере свое обращенное к декабристам послание «В Сибирь». На другой день он посылает его декабристам с уезжающей в Сибирь Александриной Муравьевой:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

Стихотворение это широко распространялось в то время по всей России, под разными названиями: «В Сибирь», «Послание в Петровский завод», «Послание к друзьям», «В Сибирь, со сланным после 14 декабря»...

С Муравьевой же Пушкин направляет в тюрьму Петровского завода послание своему лицейскому товарищу Пуцину. Вспоминая, как тот посетил его в Михайловской ссылке, Пушкин называет его «первым другом, другом бесценным».

Пуцин сидел в это время в Шлиссельбургской крепости. «Отрадно отозвался во мне голос Пушкина!» — писал он позднее.

Почти в те же дни, находясь в доме уцелевшего декабриста В. П. Зубкова, Пушкин пишет свои «Стансы». Противопостав-

ля в них царя Петра палачу декабристов Николаю I, Пушкин делает попытку напомнить ему о судьбе декабристов:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен!

13 июля 1827 года, в годовщину казни декабристов, Пушкин, ставя себя в их ряды, пишет стихотворение «Арион»:

Нас было много на челне;
Иные парус напругали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

К своим заживо погребенным на каторге лицейским товарищам, декабристам Пуцину и Кюхельбекеру, Пушкин обращает свое посвященное лицейской годовщине 19 октября стихотворение:

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

Воспоминание о казни пяти декабристов не оставляло Пушкина и позднее, в 1828—1829 гг., когда он писал «Полтаву». На рукописи поэмы он нарисовал виселицу с пятью повешенными и написал: «И я бы мог, как...»

Приступая к изданию «Современника», Пушкин открыл первый номер своего журнала, вышедший 11 апреля 1836 года, стихотворением «Пир Петра Первого».

В нем поэт вспомнил исторический эпизод примирения Петра с оральным Долгоруким:

...Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Этим стихотворением Пушкин снова призывал Николая I примириться с декабристами, но царь остался глух к словам поэта, чей голос в то время был «эхом русского народа».

В восьмой главе «Евгения Онегина» Пушкин прямо говорит о круге вольнолюбивых друзей, среди которых он вращался до изгнания:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И, как вакханочка, резвилась,
За чашей пела для гостей.
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

«Молодежь минувших дней» — это, конечно, о декабристах говорил Пушкин после расправы с ними Николая I, и заключительную главу «Евгения Онегина» закончил в 1830 году воспоминанием о том, что

...те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече...

Декабристы, со своей стороны, внимательно и любовно следили на каторге за новыми, появлявшимися в печати стихотворениями Пушкина. Они, по выражению Петра Бестужева, согревали нас и в вьюгу зимы, и в зной летом, и в пылу битвы.

Сидя в тюрьме в кругу декабристов, Пущин часто рассказывал им о своих лицейских годах, о Пушкине, показывал имевшиеся у него рукописи и письма поэта.

* * *

Необходимо сказать несколько слов и о судьбе тех, кто предал своих товарищей декабристов, кто явился виновником их тридцатилетних мук и страданий.

Унтер-офицер И. В. Шервуд, принятый в члены Южного тайного общества и осведомивший Аракчеева о существовании заговора, был произведен в офицеры и награжден царским подарком — бриллиантовым перстнем. Царь переименовал его в Шервуда Верного, а товарищи по полку называли его Шервудом Скверным и «Фиделькой». За новые ложные доносы он был посажен в Шлиссельбургскую крепость, откуда, однако, был впоследствии освобожден.

Капитан А. И. Майборода, выдавший своего полкового командира П. И. Пестеля, был награжден императором Николаем I за донос, но в 1844 году покончил жизнь самоубийством.

Нерехтский предводитель дворянства А. К. Бошняк, шпионивший по заданию Николая I за Пушкиным и служивший во время польских событий 1831 года «с пользой отечеству», как сказано было в официальном документе, был убит за открытие в 1825 году заговора декабристов.

Поручик Я. И. Ростовцев, сообщивший Николаю I накануне восстания 14 декабря намерения и имена заговорщиков, был избит товарищами, но Николай I высоко оценил его донос и впоследствии приблизил к себе, назначив генерал-адъютантом...

Гром пушек возвестил 14 июля 1826 года, на другой день после казни декабристов, что готовится какое-то чрезвычайное торжество.

На Сенатской площади, на месте восстания 14 декабря 1825 года, состоялся большой парад, а в Москве, куда царь приехал для коронавания, 19 июля 1826 года — «очистительное молебствие» по случаю расправы Николая I с декабристами. По случаю того, как сказано было в царском манифесте, что «преступники восприняли достойную их казнь... отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся».

Об «очистительном молебствии» в Москве спустя четверть века после этого А. И. Герцен писал на страницах «Былого и дум»:

«Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Среди Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее—Сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества: Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронem, с этим алтарем, с этими пушками...»

* * *

Николай I расправлялся с декабристами злобно и мстительно. Через шесть лет, в 1831 году, он начал писать свои записки о декабрьских событиях 1825 года, через несколько лет продолжил их и закончил в 1848 году. В них царь хотел, видимо, доказать свое право на престол и тем оправдаться перед потомством за пролитую им на Сенатской площади кровь. Но это ему не удалось — он не нашел тех доводов и слов, которые могли бы оправдать его.

глава *Седьмая*

НА КАТОРГУ

Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна...

А. С. Пушкин

МЕРЕЗ несколько часов после казни пяти декабристов, 13 июля 1826 года, Николай I всенародно объявлял в своем манифесте:

«Дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено; преступники восприняли достойную их казнь... туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта».

Царь писал, что «горестные происшествия, смутившие покой России, миновались навсегда и безвозвратно». И все же опасался, как бы «потушенный умысел бунта» не вспыхнул вновь и не «заразил сердца развратные и мечтательность дерзновенную».

Ненадежной казалась даже суровая Петропавловская крепость, где за обращенными на Зимний дворец крошечными окнами сидели в кандалах декабристы. Их «мечтательность дерзновенная» вызывала сочувствие армии и народа, им сочувствовала даже суровая и молчаливая крепостная стража.

Декабристов начали увозить из Петропавловской крепости сразу же после казни пяти. Многие виднейшие декабристы были переведены в крепостные казематы Шлиссельбурга, Роченсальма, Свеаборга, Кексгольма, Динабурга, Нейшлота, Свартгольма, Выборга, Аландских островов. Среди них были: капитан И. Д. Якушкин, учредитель и составитель устава Союза Спасения, член Союза Благоденствия и Северного тайного общества; три брата Бестужевы — Николай, Михаил и Александр, ближайшие друзья К. Ф. Рылеева; подполковник М. С. Лунин, один из самых непримиримых врагов самодержавия, деспотизма и крепостничества; генерал С. П. Юшневский, член Союза Благоденствия и один из директоров Южного тайного общества; подполковник М. И. Муравьев-Апостол, один из основателей Союза Спасения и Союза Благоденствия, член Южного тайного общества; прапорщик Ф. Ф. Вадковский, член Северного, а затем Южного тайных обществ; И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер, товарищи и друзья Пушкина по Царскосельскому лицейу, и другие.

Пятнадцать человек, приговоренных к ссылке на поселение, отправили в самые отдаленные и глухие места Сибири — Якутск, Туруханск, Киренск, Олекминск, Витим, Верхоянск, Верхнеколымск и другие безлюдные поселения Сибири.

И сразу же, в июле, отправили на каторгу первую партию декабристов: открылись двери восьми казематов Петропавловской крепости, восьми заключенным принесли вещи и предложили одеваться.

После семимесячного заключения и сожжения мундиров на плацу крепости декабристы имели странный вид: многие были в арестантских халатах, другие были одеты в сохранившееся у них платье. У тридцатилетнего поручика Е. П. Оболенского выросла длинная борода. Бывший «диктатор» восстания полковник С. П. Трубецкой, генерал-майор С. Г. Волконский и подпоручики братья Андрей и Петр Борисовы совершенно потеряли свой прежний военный облик.

Они покидали наконец казематы, вновь встретились друг с другом, обнялись, и настроение у всех было бодрое.

— Ну, Оболенский, — весело крикнул Якубович, — если я похож на Стеньку Разина, то ты — на Ваньку-Каина...

Дверь неожиданно распахнулась, вошел комендант крепости Сукин и объявил:

— По высочайшему повелению вас велено отправить в Сибирь закованными.

Вошедший с комендантом солдат принес с собою и бросил на пол восемь пар кандалов. Они глухо брякнули об пол. Декабристов заковали в цепи, кольца скрепили замками и ключи передали фельдъегерю. Лязг кандалных цепей холодил душу, ходить в них было непривычно, и, чтобы спуститься с лестницы, декабристы вынуждены были воспользоваться помощью крепостной охраны.

У крыльца стояли запряженные тройки. При каждой из них был жандарм. Декабристов отправили двумя партиями, по четыре человека в каждой, по одному на тройке, чтобы они не имели возможности общаться друг с другом и с населением мест, мимо которых проезжали.

Декабристы быстро заняли свои места.

На гауптвахте крепости караул стал к ружью...

— Тройка фельдъегерская вперед! Жандармы, смотри не отставать от меня! — раздался окрик фельдъегеря, и кони понеслись.

На каторгу отправляли первых декабристов. Все они были в расцвете молодости. Одному только Волконскому было тридцать восемь лет, остальные были моложе. Петру Борису было всего двадцать шесть лет. И все они осуждены были на двадцатилетнюю каторгу.

Тройки выехали через Петровские ворота и рысью пронеслись по мосту через Неву. Город был прекрасен в сиянии пред-рассветного июльского утра. Невские воды мерно плескались о гранитные набережные.

Декабристы прощались с Петербургом. Навсегда. Навечно. Взоры невольно обратились в сторону Сенатской площади, вспомнился холодный, сумрачный день 14 декабря, людская кровь на снегу. И злые глаза императора Николая I...

У Летнего сада, миновав Марсово поле, поворотили к Литейному, выехали на Невский и пронеслись мимо Александровской Невской лавры. Ехали быстро. Скоро показались мрачные стены Шлиссельбургской крепости. Ямщикам знакомы были эти стены, и они невольно сдержали лошадей.

«Не сюда ли везут нас?» — пронеслось в мыслях каждого из декабристов.

— В город, на станцию! — скомандовал фельдъегерь, и тройки свернули вправо, мимо мрачных, страшных стен крепости.

Декабристы облегченно вздохнули и поехали дальше. Скакали день и ночь. Сутки за сутками, быстро промелькнули: Новая Ладога, Тихвин, Устюжна, Молога, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Владимир, Нижний Новгород, Вятка, Пермь, Кунгур. Когда прозрачным ранним утром поднимались на гребень Урала, перед декабристами открылось необозримое море сибирских лесов.

— Вот и Сибирь! — сказал ямщик, указывая кнутом на сивевшие впереди леса.

Население повсюду уже было осведомлено о событиях 14 декабря. И все хорошо знали, кто были эти восемь человек, первые восемь декабристов, которых везли из Петербурга в кандалах, под строгим конвоем. Их всюду встречали тепло и приветливо, и здесь, вдали от Петербурга, жандармы не очень мешали их общению с населением. Люди прибегали к различным уловкам, чтобы встретиться с декабристами и оказать им внимание.

Декабрист Розен рассказывал, что, когда их партия остановилась на ночной отдых в Рыбинске, одна из двух комнат с диваном и кроватью уже была занята проезжими, и они разместились в другой, на полу.

Неожиданно в комнату вошел адмирал с георгиевским крестом на груди. С ним было два мальчика. Один из них нес подушки, другой — узел с вещами.

Декабристы извинились перед адмиралом: звон их кандалов, вероятно, мешал детям уснуть...

Тот прервал их.

— Прошу вас, господа, — сказал он, — в мое помещение: оно теплее, и вы там лучше отдохнете. Ваш путь велик, а мой только до Петербурга...

Пока декабристы отдыхали, люди заполнили всю площадь перед домом. Утром, обнажив головы, все тепло провожали их.

Какой-то молодой человек, ворвавшись в комнату, крикнул:

— Господа, мужайтесь, вы страждете за самое прекрасное, самое благородное дело! Даже в Сибири вы встретите сочувствие!..

В Ярославле некоторые чиновники и другие значительные лица переоделись в простое платье, чтобы встретить декабристов и помочь им в гостинице, где они остановились, а вице-

губернатор, надев чей-то тулуп, светил им с лестницы, когда они шли на рассвете садиться в повозки.

Во многих местах навстречу им выезжали родные, и некоторым удавалось даже устраиваться в тех же помещениях, где останавливались декабристы, и передавать им деньги и вещи.

В Тобольске они остановились в доме полицмейстера, а когда пожелали отправиться в баню, губернатор прислал им свою карету. Фельдъегерь сидел рядом с ними, на запятках стоял квартальный надзиратель. Купцы угощали их обедами, считая за честь принять у себя декабристов.

До Иркутска оставалось около трех тысяч верст. Промелькнули Кольвань, Томск, Красноярск, Нижнеудинск...

В Иркутске чиновник Вахрушев неожиданно подошел к Оболенскому и протянул ему двадцать пять рублей:

— Не откажите, прошу вас, принять...

— Не беспокойтесь, у меня есть деньги, я не нуждаюсь, — сказал Оболенский.

Когда его отправляли с товарищами на каторгу и у подъезда стояли запряженные тройки, к нему подошел плац-адъютант Петропавловской крепости Подушкин и незаметно передал деньги...

— Это от вашего брата... — сказал он.

Большую часть этих денег Оболенский уже, правда, истратил в пути... Но Вахрушев настаивал:

— Очень прошу вас, примите!..

* * *

Начальство не знало в Иркутске, как поступить с этими необычными каторжниками и куда их направить. Инструкций из Петербурга еще не было, и декабристов отправили: Оболенского и Якубовича — в Усолье, на соляной завод, в шестидесяти верстах от Иркутска, Муравьева, Давыдова и братьев Борисовых — на Александровский, а Трубецкого и Волконского — на Николаевский винокуренный завод.

В Усолье горный начальник Крюков отнесся к Оболенскому и Якубовичу приветливо. Им дали по топору и предложили отправиться в лес на рубку дров, но тихонько сказали, что они могут не работать — работу за них выполняет другие.

Якубович был нездоров, и Оболенский с топором за поясом отправился в лес один. Хотелось двигаться, приняться наконец, после длительного заключения, за какую-нибудь работу. С большим трудом он срубил одно дерево.

Возвращаясь домой, Оболенский увидел на дороге незнакомого, одетого в добротный крытый сукном полушубок человека, который делал ему таинственные знаки и манил в лес.

Оболенский пошел за ним.

— Мы давно знаем о вашем прибытии, — сказал он, — и вас ожидали. Наших здесь много, надейтесь на нас, мы вас не выдадим...

Перед Оболенским стоял человек, принадлежавший к религиозной секте духоборов, который и декабриста принял за сектанта.

Вдали послышался скрип телеги, и Оболенский поспешил оставить незнакомца. В Усолье декабристам уже было известно, что вслед за ними в Сибирь выехала и находится в Иркутске жена декабриста Е. И. Трубецкая. Когда телега отъехала, Оболенский подозревал сектанта.

— Ты ошибаешься, мой друг, — сказал он ему, — но если хочешь сослужить мне службу, то исполни. Берешься ли доставить письмо к княгине Трубецкой в Иркутск? Только за труды я не могу тебе заплатить, у меня нет денег...

— Будьте покойны, — ответил незнакомец, — завтра, в сумерки, я буду на таком-то месте. Принесите туда письмо — оно будет доставлено.

Вернувшись к себе и посоветовавшись с Якубовичем, Оболенский написал и на другой день отнес в указанное место письмо. Незнакомец ждал его и в ту же ночь отправился в Иркутск.

Через два дня он принес ответ Трубецкой. Она сообщала, что дома все благополучно, и через несколько дней прислала второе письмо, в которое вложила пятьсот рублей. Одновременно писала, что секретарь отца, доставивший ее в Иркутск, возвращается в Петербург и с ним можно будет переслать письма к родным.

Так уже с первых дней начала налаживаться через жен декабристов переписка заключенных с родными и близкими.

В начале октября, после шестинедельного пребывания в Усолье, Оболенскому и Якубовичу неожиданно предложили собираться, чтобы ехать в Иркутск. Якубович был совершенно уверен, что их в связи с коронацией ждет помилование. Он даже не взял своих оставшихся у хозяйки дома, где он жил, двадцати пяти рублей медных денег. Оболенский был настроен более пессимистически и оказался прав: их не освобождали, а отправляли в Нерчинские рудники. На пути они встретились с остальными своими шестью товарищами и вместе прибыли в Иркутск.

За Верхнеудинском, в избе у перевоза, декабристы остановились ночевать. Поставили самовар. Неожиданно вошел молодой, хорошо одетый парень с корзиной, наполненной белым хлебом и сухарями.

— Дедушка просит вас принять его хлеб-соль! — сказал он.

Тронутые таким приветливым отношением, декабристы попросили юношу передать деду, что очень хотели бы его видеть. Старик скоро явился, и декабристы долго беседовали с ним...

Декабрист Басаргин рассказывал, что, когда они проезжали мимо сибирских сел, жители бросали им в повозки медные деньги. А однажды в избу, где отдыхали декабристы, вошла нищая старуха и, протягивая несколько медных монет, сказала:

— Вот все, что у меня есть. Возьмите это, батюшки, отцы наши родные. Вам они нужнее, чем мне...

Одну такую старую стертую монету Басаргин хранил у себя как некую большую ценность во все время своего тридцатилетнего пребывания в Сибири.

* * *

В Благодатском руднике тройки остановились у приготовленной для них тюремной казармы. Перед ними была деревня, состоявшая из одной лишь улицы, окруженной изрытыми горами, в которых добывали серебряную и свинцовую руду. На много верст кругом лес был вырублен, чтобы беглые каторжники не могли найти в нем убежища. Вырублены были даже кустарники. Это были голые и печальные места.

Тюрьма была расположена у подножия высокой горы. Ее охраняли три солдата и унтер-офицер. Два отделения тюрьмы разделялись холодными сенями. В одном содержались беглые каторжники, в другом — декабристы. В небольшом помещении находились солдаты и унтер-офицер, нимало не заботившиеся о чистоте помещений.

Вдоль стен тянулось нечто вроде конур или клеток, предназначенных для заключенных. Чтобы попасть в них, надо было подняться на две ступеньки.

Волконский, Трубецкой и Оболенский поместились в одной клетке, шириною в два и длиною в три аршина. Стоять в ней было невозможно — так низки были потолки. Это были маленькие тюрьмы в большой тюрьме. Трем заключенным трудно было поместиться в одной такой клетке, и Оболенский устроил для себя койку над койкой Трубецкого. Давыдов, Артамон Муравьев, Якубович и два брата Борисовы поместились рядом.

Из этих клеток декабристов выпускали на работу, на обед и ужин и затем снова запирали. Они были поставлены в худшие условия, чем остальные обитатели каторги. Те пользовались после работы полной свободой, декабристы вынуждены были оставаться в душной, переполненной насекомыми клетке. Их опекали два начальника — кварталный от иркутского губернатора и офицер от горного ведомства. Оба были грубы, боялись друг друга, и это тягостно отражалось на быте заключенных.

Декабристы были в кандалах и работали в шахтах на глубине ста пятидесяти метров. Напарниками у них были ссыльнокаторжные.

Работа начиналась в пять часов утра и в одиннадцать часов дня заканчивалась. Под землей было довольно тепло, а когда становилось зябко, брали в руки кирку и молоток и быстро согревались. С каторжниками у декабристов наладились простые человеческие отношения, те очень уважали их и нередко помогали выполнять дневную норму.

* * *

Нерчинские рудники считались в царской России самым страшным и губительным местом каторги. Редко кто возвращался оттуда живым.

И начальник рудников Бурнашев, «запечный мастер», как называли его декабристы, очень удивился, когда к нему прибыли эти титулованные «каторжники», а затем их жены, две княгини, которых, несмотря на их тяжкую участь, каторжане и местное население продолжали именовать княгинями, а самих декабристов — «нашими князьями».

От иркутского губернатора Цейдлера Бурнашев получил распоряжение, «чтобы сии преступники были употребляемы, как следует, на работу, и поступлено было с ними во всех отношениях по установленному для каторжан положению, чтобы был назначен для неослабного за ними смотрения надежный чиновник и чтобы о состоянии их ежемесячно доносилось в собственные руки его величества через Главный штаб».

При этом Цейдлер добавлял, чтобы рудник был для декабристов избран в стороне от больших дорог и не близко к китайской границе и чтобы содержание их было обеспечено, дабы не допускать их «до свободы, которую каторжане по окончании работ имеют для свискания себе вольными работами средств к содержанию подкрепления».

Распоряжения эти были необычны и удивили даже ко всему привыкшего Бурнашева. Его особенно поразило, что о состоянии этих «каторжников», которым он говорил «ты», необходимо было, по полученной инструкции, ежемесячно доносить в собственные руки императора через Главный штаб.

«Черт побери! — говорил он. — Какие глупые инструкции дают нашему брату: содержать строго и беречь их здоровье! Без этого смешного прибавления я бы выполнил, как должно, инструкцию и в полгода вывел бы их всех в расход...»

Он и выполнил бы это, несмотря на инструкцию, если бы на его пути не стали жены декабристов. Приезд Трубецкой, а затем Волконской заставил его насторожиться.

Вскоре, однако, в Петербурге решено было для обеспечения более строгого надзора сосредоточить всех декабристов в одной общей тюрьме и послано было распоряжение перевести находившихся в Нерчинских рудниках декабристов в Читинский острог. Трубецкая и Волконская выехали туда двумя днями раньше, в сопровождении унтер-офицера, которому предписано было «от станции до станции давать для безопасного проезда княгинь по два или по три человека конных вооруженных крестьян».

Декабристы уезжали из Нерчинских рудников больными. Еще в феврале управлявший медицинской частью рудников лекар Владимирский доносил, что из восьми покидавших рудники декабристов «Трубецкой страдает болью горла и кровохарканьем; Волконский слаб грудью; Давыдов слаб грудью, и у него открываются раны; у Оболенского цинготная болезнь с болью зубов; Якубович от увечья страдает головой и слаб грудью; Борисов Петр здоров, Андрей страдает помешательством в уме, Артамон Муравьев душевно страдает».

* * *

Восемь декабристов, уезжавших в Читинский острог, не были последними, кого Николай I направил в Нерчинские рудники. Вскоре после их отъезда в это гиблое место прибыли отбывать каторгу три члена Общества соединенных славян, участники восстания Черниговского полка на юге России, — поручик И. И. Сухинов, подпоручик А. А. Быстрицкий и прапорщик А. Е. Мозалевский.

В невероятной тяжелой и мучительных условиях, закованные в кандалы, в ветхой одежде, без денег, голодные и холодные, прошли они семь тысяч верст, с юга России до Нерчинских руд-

ников. Смердные и тесные тюрьмы, в которых они по пути оставались, были настолько перенаселены, что им приходилось не раз ночевать по очереди под нарами. Дорогою Быстрицкий заболел и отстал от товарищей.

Близ Тобольска Сухинова и его товарищей встретила Е. П. Нарышкина, одна из жен декабристов, направлявшаяся к мужу на каторгу. Ее муж страдал за то же дело, что и они, и она отнеслась к ним тепло и сердечно: посетила их в тюрьме, провела с ними несколько часов, рассказала им все, что знала о судьбе находившихся в Читинском остроге товарищей, и просила принять на дорогу деньги.

Лишь в феврале 1828 года Сухинов и его товарищи прибыли в Читу. Жены декабристов тепло встретили их, снабдили платьем, бельем и деньгами и проводили в дальнейший путь.

Через месяц они прибыли в Большой Нерчинский завод. Отсюда их направили в Зерентуйский рудник. Один год шесть месяцев и одиннадцать дней длилось их путешествие.

«Наше правительство, — говорили они, — не наказывает нас, но мстит нам... Это личное мщение робкой души...»

Сухинову было в то время тридцать три года. Под солдатским кивером, пятнадцатилетним мальчиком, он принял участие в походе 1812 года, а в 1826 году, уже в чине поручика, был арестован за участие в восстании Черниговского полка. Он, между прочим, принял самое деятельное участие в освобождении арестованных С. Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина.

Не желая сдаваться на милость победителей, Сухинов скрылся. В течение полутора месяцев, не имея ни приюта, ни денег, он скитался по югу России и наконец прибыл в Кишинев, имея в виду переправиться за границу. Царские агенты всюду искали его, ходили за ним по пятам и, случалось, встретив, спрашивали, не видел ли он Сухинова.

Оказавшись в Кишиневе, Сухинов был уже у цели: ему стоило только перейти через пограничную реку, и он был бы вне опасности. Но судьба товарищей по восстанию не переставала волновать его, и он стал колебаться.

«Горестно было мне, — рассказывал он позже, — расставаться с родиной. Я прощался с Россией, как с родной матерью, плакал и беспрестанно бросал взоры свои назад, чтобы взглянуть еще раз на русскую землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться... Но, увидя перед собою реку, я остановился... Товарищи, обремененные цепями и брошенные в темницы, представились моему воображению... Какой-то внутренний голос говорил мне: ты будешь свободен,

когда их жизнь пройдет среди бедствий и позора. Я почувствовал, что румянец покрыл мои щеки, лицо мое горело, я стыдился намерения спасти себя, упрекал себя за то, что хочу быть свободным... и возвратился назад в Кишинев».

Травля, погоня, неопределенность завтрашнего дня и мысли о заточенных в темницы товарищах действовали на него угнетающе. Он написал своему брату письмо с просьбой выслать ему в Кишинев, по определенному адресу, пятьдесят рублей. Полиция, произведя у брата обыск, осведомилась об этом и стала стеречь его в кишиневской почтовой конторе. Через одиннадцать дней его проследили, арестовали, заковали в цепи и отправили в Одессу.

Путь был трудный. Было холодно и сыро. Охранники обращались с ним в пути жестоко, издевались над ним. Он голодал. Открылись раны. Выведенный из себя, он схватил со стола нож и бросился на полицейского чиновника со словами:

— Я тебя, каналья, положу с одного удара; мне один раз отвечать. Но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе!..

Охранники перестали после этого издеваться над Сухиновым...

* * *

Оказавшись в тяжких условиях Нерчинских каторжных рудников, Сухинов не смирился. Близко знавший его декабрист И. И. Горбачевский писал позже, что вредить чем бы то ни было царскому правительству стало потребностью Сухинова. До последнего часа не угасли в нем ненависть к палачам и любовь к отечеству.

И здесь у Сухинова возникла смелая и отчаянная мысль: возмутить узников Зерентуйского рудника, где он работал, пойти во главе их по другим рудникам и заводам, поднимать и освобождать повсюду каторжан и посельщиков Нерчинского округа и затем освободить заключенных в Читинском остроге декабристов.

Находившиеся с ним в Зерентуе товарищи по восстанию, Мозалевский и Соловьев, люди твердые, храбрые и непреклонные, однако, не поддержали его: они опасались привлеченных Сухиновым к своему замыслу каторжан. Предубеждение это порождалось их классовой природой: они не понимали, что вся царская каторга состояла на три четверти из жертв крепостного режима, мертвящей солдатчины и социальной несправедливости, и что все эти люди были бы готовы поддержать их.

Мятежное настроение каторжан подсказывало Сухинову план действий. Двое из этой безликой каторжной массы стали помощниками Сухинова: разжалованные и наказанные кнутом фельдфебели Голиков и Бочаров. Оба они вели среди заключенных агитацию, и оба подчинили себе каторжников: Голиков — своим диким, независимым и неукротимым нравом и большой силой воли, Бочаров — тонким и хитрым умом.

Уже через месяц после прибытия в Зерентуй Сухинов сумел завоевать доверие каторжан. Голиков и Бочаров начали вербовать сторонников заговора.

Среди завербованных и посвященных в заговор каторжников оказался, однако, предатель: в пьяном виде ссыльный Козаков донес о заговоре начальству.

Началось следствие. Суду было предано девятнадцать человек.

Несмотря на то что Сухинов ни в чем не сознался и все отрицал, шесть человек — Сухинов, Голиков, Бочаров и еще три каторжанина: Моршаков, Михайлов и Непомнящий — были приговорены к смертной казни, остальных приговорили к тяжкому наказанию: двумстам — тремстам ударам плетью каждому.

Командант каторги генерал Лепарский решение суда утвердил и лично руководил экзекуцией.

Он приказал вырыть на окраине большую яму, в которой могли бы поместиться шесть тел, и у самого края ямы поставить большой столб, к которому привязать приговоренных к расстрелу.

Лепарский велел приготовить шесть смертных рубах из белого холста, шесть белых холщовых платков, чтобы завязать приговоренным глаза, и шесть крепких веревок. Лепарский указал место экзекуции и назначил пятнадцать человек, которым приказано было расстрелять осужденных.

Это была страшная, даже в условиях каторги, казнь. Она произвела на самих исполнителей приговора такое потрясающее впечатление, что они не попадали в цель, и некоторым приговоренным пришлось умирать дважды: их доканчивали ударами штыков в грудь. Лепарский возмущался и кричал на командира, который не сумел научить своих солдат стрелять метко...

В то время, когда одного расстреливали, три палача наказывали рядом кнутом и плетьюми других приговоренных.

«Вопли жертв, терзаемых палачами, командные слова, неправильная пальба, стоны умирающих и раненых — все это

делало какое-то адское представление, которое никто не в силах передать и которое приводило в содрогание самого бесчувственного человека», — писал впоследствии И. И. Горбачевский.

Сам Сухинов, однако, избежал казни. Еще до утверждения приговора решено было наказать его тремястами ударами кнута и поставить на лице клеймо. Не будучи в состоянии допустить это, он повесился в каземате.

Тело Сухинова принесли во время казни остальных его товарищей и похоронили в общей братской могиле с неизвестными каторжниками...

* * *

Необходимо сказать, что эпизод этот, вошедший в историю под именем Зерентуйского заговора, не остановил попыток осужденных бежать с каторги. Несколько декабристов, осужденных на двадцатилетнюю каторгу, серьезно готовились в Читинском остроге к побегу. Декабристов стерегла в Чите рота пехоты и полусотня сибирских казаков, которые хорошо относились к декабристам и дали бы им в случае их побега свое оружие.

Когда у декабристов возникла мысль о побеге, перед ними, естественно, встал вопрос: куда бежать?

Можно было идти на юг, через Манчжурию, в Китай. Этот путь был кратчайшим, но ненадежным: их могли убить в пути.

Другой путь лежал на восток — на лодках по речке Чите и судоходной Ингоде до Амура, к Великому океану и далее в Америку. Но в случае преследования беглецов могли расстрелять с обоих берегов Шилки и Ингоды и затопить их маленькую беззащитную флотилию. На запад дорога вела на протяжении четырех тысяч верст до границ Европейской России, на север путь шел по пустынной тундре к Ледовитому океану. Какой из этих путей был менее опасным?

Декабрист Н. В. Басаргин рассказывал, что дело в конечном итоге сводилось к тому, чтобы обезоружить караул и всю команду, задержать на время коменданта и офицеров, и затем, запасшись провиантом, оружием и снарядами, направиться на барже по направлению к океану, чтобы дальше действовать сообразно с обстоятельствами.

«Нас было семьдесят человек, — писал он, — молодых, здоровых, решительных людей. Обезоружить караул и выйти из каземата не представляло никакого затруднения, тем более что большая часть солдат приняла бы сейчас нашу сторону... Офицеры и комендант не смогли бы нам противиться. Пока дошло бы сведение о действиях наших в Иркутск и пока приняли бы

меры против нас, мы легко могли построить судно, погрузиться и уплыть в Амур, следовательно, быть вне преследования... Плавание по Амуру, как выяснила это впоследствии экспедиция генерал-губернатора Муравьева, совершилось бы без особенных препятствий. Одним словом, вероятности в успехе было много, более, чем нужно при каждом смелом предприятии».

Декабрист Д. И. Завалишин, рассказывая об этом замысле побега с каторги, добавляет, что предприятие это имело большие шансы на успех. Собрать большое число людей для стрельбы в беглецов с берега было трудно уже потому, что бежать предполагалось во время покоса, когда все жители от мала до велика уходили «на сено» и деревни пустовали. Чтобы выяснить, возможен ли сухоходный путь по Амуру, декабристы предприняли предварительную разведку. От работавших в каземате плотников из ссыльнопоселенцев они узнали, что некоторые из них тайком направляются по Амуру для промыслов. Двое «весьма смысленных» раскольников согласились помочь декабристам и в течение полугода производили разведку вдоль берегов Амура. Необходимо заметить, что Амур и Дальний Восток тогда еще не входили в состав Российской империи.

Побег предполагался летом 1828 года, вскоре после того, как декабристов привезли в Читу, но в марте 1828 года был открыт Зерентуйский заговор Сухинова, и надзор резко усилился.

Это обстоятельство, а также возможность преждевременного раскрытия замысла побега и сопротивления со стороны команды заставили декабристов задуматься над тем, стоит ли вообще идти на такое дерзкое и опасное предприятие. Стоял еще вопрос о том, как поступить с женами декабристов: оставить их в руках раздраженного правительства или, взяв с собою, подвергнуть всем лишениям и опасностям предприятия?

Внимая возражениям старших и более осторожных товарищей, инициаторы побега — пылкая молодежь — вынуждены были в конце концов отказаться от мысли о побеге.

Большой успех могли сулить одиночные побеги. Декабрист Лунин, например, замышляя побег, чтобы «огласить правду», даже достал компас, приучал себя к умеренной пище, пил только кирпичный чай, запасся деньгами, но, серьезно взвесив все, отказался от своего замысла: его, неустрашимого и храброго человека, пугали пешие и конные караулы, а дальше — бескрайняя, голая и голодная даль.

Мысли о побеге были оставлены. Декабристы с достоинством прошли свой долгий и тяжкий сибирский путь каторги и ссылки до конца.

глава *Восьмая*

ПУТЬ Е. И. ТРУБЕЦКОЙ В СИБИРЬ

Я готова пройти семьсот верст, которые отделяют меня от мужа, по этапу, плечом к плечу с каторжниками, но только не тяните больше, прошу вас, отправьте меня сегодня же!

Е. И. Трубецкая — И. Б. Цейдлеру

ВЗОРЫ жен декабристов обращены были после восстания на Зимний дворец и Петропавловскую крепость. Обе цитадели самодержавия стояли одна против другой, на двух берегах Невы, и обе вселяли в те дни ужас.

Жены декабристов могли видеть, как глубокой ночью фельдъегери отвозили их мужей из дворца в крепость, как бесшумно открывались Петровские ворота и люди исчезали в этой каменной могиле. В первое время нельзя было даже думать о свидании с ними: из уст в уста передавались подробности царских допросов, по городу носились страшные слухи. Позже стало известно, что разрешение на свидание можно получить только от самого императора или, с его согласия, от шефа жандармов Бенкендорфа.

Лишь во второй половине 1826 года, после объявления приговора, у жен декабристов могла возникнуть мысль последовать за своими мужьями на каторгу. У них были все основания рассчитывать на человеческое к ним отношение со стороны Николая I, ведь в манифесте, изданном 13 июля 1826 года, в день казни пяти декабристов, царь торжественно объявлял:

«Наконец... склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отторгнулись родственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренне прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства передает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский и более еще претит закон христианский».

Между тем, вопреки «закону гражданскому» и более еще «закону христианскому», царь именно вменял женам декабристов «в укоризну» деяния их мужей и на протяжении всего своего царствования всячески стеснял и преследовал их.

Решение жен декабристов последовать за своими мужьями нарушало его планы. Он понимал, что они станут посредниками между каторгой и Петербургом, и потому обставил данные им разрешения на поездку к мужьям суровыми условиями: он рассчитывал залугать этим молодых женщин и заставить их отказаться от поездки в Сибирь.

* * *

Екатерина Ивановна Трубецкая первая из жен декабристов обратилась к Николаю I с просьбой разрешить ей последовать за мужем.

Ее отца, французского эмигранта графа И. С. Лавалья, знал весь аристократический Петербург. В его сохранившемся до наших дней роскошном особняке на Английской набережной собиралось избранное петербургское общество.

Полы большого зала особняка были устланы мраморными плитами, вывезенными из римского дворца императора Нерона. Здесь давались балы, и в этом зале незадолго до 14 декабря 1825 года великий князь Николай Павлович танцевал мазурку в паре с дочерью графа Лавалья, юной Екатериной Ивановной.

14 декабря 1825 года великий князь Николай Павлович стал императором Николаем I, а муж Екатерины Ивановны, декабрист князь Сергей Петрович Трубецкой, оказался в Петропавловской крепости и приговорен был к вечной каторге...

Получив разрешение на поездку, Трубецкая выехала в Сибирь 24 июля 1826 года, на другой день после отправки на каторгу мужа.

Она даже отдаленно не представляла себе, что ждет ее в этом крае отверженных, в этой стране изгнания, и не знала, уезжая, что она навсегда расстанется со всеми друзьями своего короткого, так быстро промелькнувшего счастья.

В этот далекий сибирский путь ее со слезами на глазах провожал отец, граф Лаваль.

— Увидимся ли вновь? — спросил он.

Дочь не плакала. И отца убеждала не плакать. Она говорила, что детей у нее нет и ее долг — быть с мужем в тяжелые для него дни. Она просила отца простить ее...

Карета тронулась по набережной Невы. Сенатская площадь

и памятник Петру I. Напротив — здание Академии художеств. Вдали — силуэт Петропавловской крепости, откуда только что увезли на каторгу ее мужа, и на другом берегу — громада Зимнего дворца, где она не раз танцевала на придворных балах. Она проклинала сейчас его державного хозяина.

Показался залитый солнцем Летний сад с его чудесной решеткой, промелькнули так хорошо знакомые улицы и площади прекрасного города.

Начался долгий и томительный путь. На тысячи верст потянулись перед глазами Трубецкой безбрежные сибирские просторы, часто безлесные и безрадостные. Нужно было проехать десятки верст, чтобы добраться от одного селения до другого.

По этому бескрайнему тракту длинной цепью, звеня кандалами, холодные и голодные, шли в Сибирь партии арестантов и каторжников. Чтобы скрасить свою горькую долю и облегчить тяжкий путь, они пели. Это были печальные, трогательные и надрывные песни, которые русский народ сложил про «Владимирку», про Сибирь, про каторгу.

Далекий Сибирский тракт был полон опасностей. Часто сбивались с пути. Время от времени встречались голодные стаи волков.

В Красноярске заболел провожатый Трубецкой, секретарь ее отца, француз Воше, и она поехала дальше одна. В пути сломалась карета, она продолжала путь на перекладных почтовых лошадях. В Иркутске ей неожиданно посчастливилось встретиться с мужем.

Здесь находились восемь декабристов, остановившихся по пути в Нерчинские рудники. Окруженные казаками, они собирались уже сесть в ожидавшие их тройки, когда к ним неожиданно подъехала молодая женщина и осведомилась, с ними ли князь Трубецкой. Это была княжна В. М. Шаховская, невеста приговоренного к двенадцатилетней каторге декабриста П. А. Муханова, — она приехала в Сибирь с сестрой, бывшей замужем за декабристом А. Н. Муравьевым, сосланным без лишения чинов и дворянства, чтобы быть ближе к любимому.

— Екатерина Ивановна Трубецкая едет вслед за мною, — сказала она встретившемуся ей декабристу Оболенскому. — Она непременно хочет видеть мужа...

Начальство, увидев Шаховскую, начало торопиться с отъездом. Декабристы нарочно медлили. И в тот самый момент, когда больше уже нельзя было тянуть и тройки тронулись, подъехала Трубецкая.

Конвойные не успели оглянуться, как Трубецкой соскочил с повозки и обнял жену.

Свидание длилось недолго. Декабристов увезли, а Трубецкая осталась в Иркутске, но выехать отсюда скоро ей не пришлось: здесь ее ожидали бесконечные и мучительные объяснения с иркутским губернатором Цейдлером.

* * *

Последовавшие за мужьями жены декабристов поставлены были в Сибири в совершенно особое, исключительно тяжелое положение.

Генерал-губернатором Восточной Сибири был в то время Лавинский. Каторга была подчинена ему, и его беспокоили распространившиеся слухи, что вслед за мужьями туда собираются ехать их жены. Княгиня Трубецкая, княгиня Волконская и Муравьева, урожденная графиня Чернышева, уже получили разрешение на поездку. Таких высоких представительниц аристократического Петербурга еще никогда не было на каторге, и перед Лавинским, естественно, встал вопрос, в какие условия жены осужденных должны быть поставлены в Сибири и как держать себя с ними.

Лавинский знал злобное настроение и мстительную неприимчивость Николая I, знал, что царь не хочет пускать в Сибирь жен декабристов, и понимал, что и сами декабристы и их жены должны быть поставлены в Сибири вне общего положения о ссыльнокаторжных, вне закона. Чтобы выяснить вставшие перед ним вопросы, Лавинский приехал в Петербург.

Он обратился за советом к начальнику Главного штаба, генерал-адъютанту Дибичу, и ознакомил его со своими соображениями по этому поводу. Дибич знал, что вопрос этот занимает и самого Николая I, и в тот же день, утром 31 августа 1826 года, доложил царю «соображения» Лавинского.

Царь ответил необычайно быстро. Он приказал немедленно и секретно создать для обсуждения вопроса особый комитет, который собрался в тот же день, 31 августа, в семь часов вечера. Уже на следующий день, 1 сентября, Лавинский срочно направил иркутскому губернатору Цейдлеру для сведения и исполнения исключительно жесткие правила, регулировавшие положение жен декабристов на каторге и в ссылке.

Правила эти не были официально опубликованы, но, утвержденные Николаем, приобретали силу закона. Они лишали жен декабристов самых элементарных, установленных законом человеческих прав...

Приехав в Иркутск, Трубецкая обратилась к Цейдлеру за разрешением следовать дальше. Выполняя полученную из Петербурга инструкцию, губернатор уже при первом свидании стал убеждать Трубецкую вернуться обратно.

Трубецкая отказалась. Тогда Цейдлер дал ей подписать документ, выработанный петербургским секретным комитетом на основании представленных Лавинским соображений. В нем было четыре пункта:

1. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ними участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания.

2. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в коренные заводские крестьяне.

3. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.

4. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших.

Трубецкая подписала эти суровые условия и просила Цейдлера не задерживать ее.

Цейдлер ознакомил ее с рядом новых ограничений, установленных по указанию Николая I для жен декабристов. В них говорилось, что:

необходимые женам декабристов средства на жизнь они могли получать до смерти своих мужей лишь через посредство начальства, но и эти деньги имели право расходовать согласно особым строгим правилам;

после смерти мужей женам декабристов возвращались все их прежние права, как и право распоряжаться своими доходами, по все это лишь в пределах Сибири; возвращение же их в Рос-

сию могло иметь место лишь после смерти мужей, с высочайшего на то каждый раз разрешения, и с определенными, установленными для жен декабристов ограничениями.

Николай I добавлял к этим ограничительным правилам, что он и «не предполагает в делах сего рода допускать каких-либо исключений».

Трубецкую и эти новые ограничения не смущали. Она подписала документ и просила Цейдлера отправить ее наконец. Но губернатор имел четкие и ясные указания из Петербурга о том, как вести себя дальше, чтобы все же не допустить жен декабристов на каторгу, к мужьям. В них говорилось:

«С тем вместе должно обратиться к убеждению, что переезд в осеннее время через Байкал чрезвычайно опасен и невозможен, и представить, хоть мнимо, недостаток транспортных казенных судов... и прочие тому подобные учтывые отклонения, а чтобы успех в оных вернее был достигнут, то ваше превосходительство не оставите принять и в самом доме вашем, который без сомнения будут они посещать, такие меры, чтобы в частных с ними разговорах находили они утверждение таковых убеждений».

Все эти и «прочие тому подобные учтывые отклонения» Цейдлер пустил в ход, но Трубецкая, ссылаясь на данное ей царем разрешение, требовала, чтобы Цейдлер не задерживал ее больше.

У губернатора были, однако, указания из Петербурга и на этот счет. Ему предписывалось в случае, если, несмотря на все эти меры, жены декабристов останутся непреклонными в своем решении следовать за мужьями, «переменить совершенно обращение с ними, принять в отношении к ним, как к женам ссылнокаторжных, тон начальника губернии, соблюдая строго свои обязанности...»

Вот перед этой глухой стеной и оказалась приехавшая в Иркутск Трубецкая. Ей, первой выехавшей из Петербурга в Сибирь к осужденному мужу, пришлось особенно трудно: она должна была подписать документ, который на многие годы вперед определял бытие ее самой и жен остальных декабристов, бытие их мужей и всех декабристов.

К ней первой губернатор Цейдлер применил полученные из Петербурга инструкции и с нею держал себя особенно твердо и настойчиво. Цейдлер прекрасно понимал, что, если ему не удастся отклонить Трубецкую от поездки к мужу, он тем самым откроет путь в Сибирь и женам других декабристов.

Трубецкая, а вслед за нею и Волконская должны были про-

явить — и проявили — огромную силу воли, настойчивость и смелость, чтобы пробить эту стену, воздвигнутую Николаем I между декабристами и их близкими...

* * *

Трубецкой был доставлен из Петербурга в Иркутск в ночь на 29 августа 1826 года, а в ноябре жена его получила от него из Нерчинского завода письмо и сразу же ответила, но вырваться из цепких рук иркутского губернатора сумела не скоро. Месяц за месяцем проходил в этой мучительной борьбе Трубецкой с Цейдлером.

Трубецкая оставалась тверда. Муж писал ей из Благодатского рудника в письме от 23 декабря:

«Я знаю, что ты готова перенести все, чтобы быть со мною... но не могу не желать, чтобы предстояло тебе менее переносить; унижений я для тебя, равно как и для себя, нисколько не боюсь, ибо истинно так же мыслю, как и ты, что уничтожить человека могут только дурные дела...»

Письма мужа укрепляли волю и мужество Трубецкой. Но Цейдлер не сдавался. Генерал-губернатор Лавинский возлагал на него всю ответственность за отъезд жен декабристов из Иркутска на каторгу и писал ему:

«Сообразив сие и зная, что жены осужденных не иначе могут следовать в Нерчинск, как через Иркутск, я возлагаю на особенное попечение вашего превосходительства употребить все возможные внушения и убеждения к остановлению их в сем городе и к обратному отъезду в Россию».

Видя, что ужасы каторги и будущие тяжелые условия жизни в Сибири не пугают Трубецкую, Цейдлер сказался больным, и Трубецкая долго не могла добиться свидания с ним.

Трубецкая терпеливо ждала. Прошло уже пять месяцев со дня ее приезда в Иркутск, а Цейдлер не выпускал ее. Муж продолжал ей писать с каторги, он не переставал надеяться на ее приезд.

Наконец Цейдлер принял ее. Видя, что никакими доводами не сломить волю Трубецкой, он объявил ей, что разрешает дальнейшее путешествие, но только по этапу, вместе с каторжниками, под конвоем. При этом он предупредил Трубецкую, что на этапах люди мрут как мухи: отправляют пятьсот человек, а доходят до места не более трети.

Трубецкую не остановило и это...

Цейдлер не выдержал и дал наконец разрешение. Это было 19 января 1827 года. Трубецкая в тот же день выехала и скоро

прибыла в Большой Нерчинский завод. Здесь начальник рудников Бурнашев дал ей подписать новый, еще более ограничивающий права жен документ. Эта новая подписка обязывала Трубецкую:

не искать никакими путями свиданий с мужем, за исключением разрешенных, не чаще двух раз в неделю;

не передавать мужу никаких вещей, денег, бумаги, чернил, карандашей и ничего от него не принимать, особенно писем, записок и бумаг;

никому не писать и не отправлять и ни от кого не получать писем, иначе как только через коменданта;

никому не продавать и не дарить своих вещей, вести приходо-расходную запись своих денег и не иметь никаких денег, кроме хранящихся у коменданта;

не передавать мужу спиртных напитков, а пищу — лишь через старшего унтер-офицера;

свидания с мужем иметь лишь в арестантской палате и разговаривать с ним лишь на русском языке;

никуда не отлучаться от места своего пребывания.

И так далее, и так далее...

Трубецкая подписала этот документ и выехала в Благодатский рудник, где в двенадцати верстах от Большого Нерчинского завода находился ее муж. Она увидела его впервые сквозь окружавший тюрьму тын, в кандалах, в грязном, подпоясанном веревкой тулупчике, обросшего бородою.

Вид его потряс молодую женщину...

* * *

Со дня отъезда Трубецкой из Петербурга прошло полгода. Это были шесть долгих, мучительных месяцев неустанной борьбы с Цейдлером. Но все это было уже позади. Путь на каторгу был открыт. Трубецкая открыла его не только для себя, но и для всех приехавших после нее в Сибирь жен декабристов.

Декабристы очень обрадовались ее приезду, но обстановка и общие условия жизни и тюремного режима мужа и заключенных произвели на молодую женщину тяжелое впечатление.

Она пошла искать себе жилище и поселилась в маленьком деревянном домике, который сняла за 3 рубля 50 копеек в месяц с дровами и водой. Ей, выросшей в роскоши, трудно было представить себе, что люди могут вообще жить в таких жалких и убогих жилищах. Это была покосившаяся хибара со слюдяными окнами и наполовину разобранной крышей. При малейшем ветре дымила печь. Плетень сохранился лишь местами, ворот

не было, ставни со скрипом болтались на одной петле. На завалинке, поджав под себя ноги, сидел мальчик. Протяжно завывала и залаяла собака, когда Трубецкая подошла к своему будущему жилищу...

Про хозяйку этой хижины в руднике ходили недобрые слухи, и Трубецкой пришлось вскоре воочию убедиться в том, что представляет собою каторга.

Заключенные и немногочисленное население рудника очень скоро оценили простоту, доброту и благородство Трубецкой. Она встречалась с каторжниками во время своих прогулок, была с ними неизменно вежлива и добра, давала деньги, всячески помогала. И все они относились к ней с уважением.

Но хозяйка домика, в котором жила Трубецкая, была груба и зла, и каторжники решили обокрасть ее. Они предупредили об этом прислуживавшую Трубецкой девушку и просили не пугаться, если услышат ночью шум и возню. Они добавили, что Трубецкую не тронут, так как очень уважают ее.

Девушка не хотела волновать Трубецкую и ничего не сказала ей о готовящемся налете. Но поднявшийся ночью шум разбудил Трубецкую. Дверь в ее комнату оказалась припертой шестом. С большим волнением две одинокие женщины прислушивались к тому, что происходило на половине хозяйки. Воры быстро справились со своим делом, убрали шест и бесшумно удалились.

Эту ужасную ночь Трубецкая долго не могла забыть.

глава Девятая

«ДНО МЕШКА, КОНЕЦ СВЕТА»

Наконец я в обетованной земле.

М. Н. Волконская

В ТЕ ДАЛЕКИЕ времена начала прошлого века Сибирь с ее бескрайними снежными просторами являла собою мрачную и суровую окраину царской России. Это был край изгнания и бесправия.

«Дно мешка, конец света» — такой представлялась в то вре-

мя Сибирь государствѣнному канцлеру Нессельроде. Вот на этот конец света и были отправлены Николаем I первые восемь декабристов.

* * *

Мария Николаевна Волконская выехала из Петербурга через полгода после Трубецкой. Она была дочерью прославленного героя 1812 года, генерала Н. Н. Раевского. По делу декабристов были привлечены, но скоро освобождены два ее брата. Замужем за известным генералом, декабристом М. Ф. Орловым, была ее старшая сестра, Екатерина. Ранние девичьи годы самой Марии Николаевны были овеяны нежной и глубокой дружбой с Пушкиным.

Семья Раевских пригрела ссыльного поэта, когда, больной и измученный лихорадкой, он лежал в грязной, убогой комнатке далекого Екатеринослава. Отсюда поэт совершил с Раевскими незабываемую поездку по Крыму и Кавказу. Ему было двадцать лет, и юные дочери генерала Раевского, Екатерина и Мария, пленили сердце поэта.

Внешний облик спокойной, серьезной, мечтательной и гордой Екатерины послужил через несколько лет Пушкину прототипом при создании образа Марины Мнишек в «Борисе Годунове».

Марии Раевской было тогда всего пятнадцать лет. Завидев Азовское море, она вышла из кибитки и стала шалить: бежала за волной и стремительно убегала назад, когда волна настигала ее.

Пушкин вспомнил эти дни, когда писал «Евгения Онегина»:

Я помню море пред грозю:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Прочто и навсегда вошли Раевские в жизнь Пушкина. «Суди, был ли я счастлив, — писал поэт своему брату Льву, вспоминая август 1820 года в Гурзуфе, — свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, — жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался — счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского...»

И глубоко вошла в сердце поэта Мария Раевская. Отголоски этой затаенной любви мы встречаем в «Кавказском пленнике», в «Цыганах», в «Бахчисарайском фонтане»:

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.

Марии Раевской Пушкин посвятил поэму «Полтава». В нарисованных Пушкиным на рукописи «Кавказского пленника» женских головках мы узнаем профили сестер Раевских.

Озаренными немеркнувшей славой 1812 года, сверкающим гением Пушкина и свободолобивыми идеями декабристов прошли девичьи годы Марии Раевской...

* * *

Летом 1824 года у Раевских собрались гости. Сияя молодостью и красотой, Мария Раевская сидела за клавирами. Стройную, с горящими глазами и смуглым цветом лица брюнетку с гордой, плавной походкой называли в кругу друзей *la fille du Gange* — девой Ганга. Сама себе аккомпанируя, она пела какой-то романс и, подняв голову, неожиданно встретилась глазами со стоявшим у дверей высоким, стройным генералом.

Отец, Николай Николаевич Раевский, подвел его к дочери: — Marie, позволь представить тебе князя Сергея Григорьевича Волконского.

Это был прославленный герой Отечественной войны 1812 года, в семнадцать лет командовавший полком — он принимал участие в пятидесяти восьми сражениях, — в двадцать пять лет блестящий свитский генерал и в то же время член Союза Благоденствия и деятельнейший участник Южного тайного общества.

Он был, видимо, на подозрении у Александра I, и однажды, на смотре Второй армии, император неожиданно бросил ему резкую фразу: «Занимайтесь полком, а не управлением моей империи, в чем вы, извините, толку не имеете».

Волконский принимал участие в совещаниях декабристов в Камешке, и однажды начальник штаба Второй армии генерал-адъютант П. Д. Киселев, бывший с ним в приятельских отношениях, сказал ему: «Уклонись от всех этих пустяшных бредней, которых столица Каменка... Это пахнет Сибирью»... Волконский не уклонился от этих «бредней»...

Познакомившись с Раевскими, Волконский стал часто бывать у них, но, храбрый на поле боя, он робко держал себя в

присутствии Марии Николаевны. Здесь он снова встретился с Михаилом Орловым, вместе с которым в годы Отечественной войны руководил партизанскими отрядами. Решив связать с Марией Раевской свою судьбу, он просил М. Ф. Орлова выяснить, может ли он надеяться на успех.

Получив от Орлова положительный ответ, Волконский сделал отцу Марии Николаевны Раевской формальное предложение.

Однажды утром отец потребовал к себе дочь.

— Я уже дал свое согласие, — сказал он, не спуская с нее глаз, — и надеюсь, что ты поступишь, как подобает покорной дочери. Князь — прекрасный человек, из хорошей семьи, и я уверен, что ты будешь с ним счастлива. А теперь ступай! Через месяц будет свадьба.

Волконскому было в то время тридцать шесть лет, Марии Раевской не было еще девятнадцати. Молодая девушка понятия не имела о существовании Тайного общества и в своих позднейших записках писала:

«Я вышла замуж в 1825 году за князя С. Г. Волконского, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую, по светским воззрениям, будущность. Мне было грустно с ними расставаться; словно сквозь подвенечный вуаль мне смутно виделась ожидавшая нас судьба...»

* * *

Это было время, когда Волконский с головой ушел в дела Тайного общества. За весь год он провел с молодой женой не больше трех месяцев. Мария Николаевна, заболев, уехала лечиться в Одессу. Лишь осенью Волконский приехал и отвез ее в деревню Раевских, Болтышку, близ Умани, где стояла его дивизия, а сам уехал в Тульчин, где находилась Главная квартира армии. Здесь у него часто бывали многие товарищи по Южному тайному обществу.

Приближалось 14 декабря. Волконский был сумрачен и озбочен. В душе Марии Николаевны начинали зарождаться смутные подозрения. Как-то ночью муж поздно вернулся домой, затопил камин и разбудил жену:

— Вставай скорее!

Волконский стал бросать в камин и жечь, не читая, какие-то бумаги.

Напуганная, на последнем месяце беременности, Мария Николаевна помогала ему.

— Что все это значит? — спросила она.

— Пестель арестован...

— За что?

Муж ничего не ответил...

Она не стала ни о чем расспрашивать, но сердцем поняла, что дело идет о чем-то очень серьезном. Муж отвез ее вскоре в киевское имение родителей, а сам уехал.

2 января 1826 года у нее родился сын, Николенька. Через три дня приехал Волконский, повидался с женой и ребенком и сразу уехал в Умань. Мария Николаевна между тем тяжело заболела и долго не вставала с постели.

Писем от мужа долго не было. Это казалось неестественным и волновало больную. Когда она спрашивала, где муж, ей говорили, что он находится в Молдавии.

Наконец она узнала, что муж арестован, и в апреле 1826 года, в весеннюю распутицу, выехала в Петербург.

Получив разрешение на свидание, направилась в Петропавловскую крепость. Пока открывали ворота, она увидела в раскрытом окне над въездными воротами мужа сестры, декабриста генерала М. Ф. Орлова. Он был в халате, держал в руках трубку и улыбнулся, увидев невестку.

В помещение комендатуры привели под конвоем мужа.

Это свидание при посторонних было очень тягостно. Они ободряли друг друга, но делали это без всякого убеждения. Все взоры были обращены на нее, и она ни о чем не смела расспрашивать мужа. Они обменялись платками. Вернувшись домой, Волконская поспешила узнать, что передал ей муж, но нашла лишь несколько слов утешения, написанных на уголке платка — их едва можно было разобрать...

Полгода шло следствие. Когда приговор был вынесен, Волконский, уезжая на каторгу, волновался за судьбу жены и ребенка. Он знал, что Трубецкая уже получила в то время разрешение следовать за мужем в Сибирь, и спрашивал в письме свою сестру Софью: «Выпадет ли мне то счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении?»

Между тем Мария Николаевна уже сама готовилась к отъезду и написала мужу: «Твоя покорность, спокойствие твоего ума — придадут мне мужество. Прощай, мой дорогой друг, до скорого свидания».

Тайно от родных она обратилась к царю с просьбой разрешить ей ехать в Сибирь. Через шесть дней, 21 декабря 1826 года, пришел ответ — бездушный и двуличный. Царь разрешал ехать, но предупредил, что ничего хорошего Волконскую не

ждет за Иркутском. Он предоставлял, однако, ее усмотрению избрать тот образ действий, который покажется ей наиболее соответствующим в ее теперешнем положении...

Пока Мария Николаевна читала письмо царя, сидевший на ее коленях маленький Николенька играл большой красной печатью, которой было запечатано царское письмо...

Решение дочери и сестры последовать за мужем на каторгу вызвало в семье Раевских бурю. Отец был мрачен. Когда Мария Николаевна показала ему полученное от царя письмо, он поднял над ее головой кулаки и воскликнул:

— Я прокляну тебя, если ты не вернешься через год!

Борьба длилась долго. Это был своего рода заговор, который возглавлял старший брат Марии Николаевны, Александр Раевский.

Но решение ее было твердо, и отец вынужден был примириться с этим. Молча он благословил дочь в далекий путь и, когда она уезжала, отвернулся, не будучи в состоянии произнести ни слова.

Он послал ей перед самым отъездом записку:

«Снег идет... Путь тебе добрый, благополучный — молю бога за тебя, жертву невинную, да утешит твою душу, да укрепит твое сердце».

Мария Николаевна чувствовала, что никогда уже не увидит отца, что умерла для своей семьи. Она стала на колени перед колыбелью сына, которого ей не разрешили взять с собою, и весь вечер играла с ним. Наутро, оставив ребенка на попечении свекрови и невесток, выехала в далекий сибирский путь...

Перед отъездом заказала известному тогда художнику П. Ф. Соколову и увезла с собою в Сибирь портреты отца, матери и свой собственный, с ребенком на руках.

* * *

В Москве Волконская остановилась у знаменитой, воспетой Пушкиным «царицы муз и красоты» Зинаиды Волконской, с которой была в родстве — они были замужем за двумя братьями.

26 декабря в блистательном салоне Зинаиды Волконской был устроен в честь Марии Николаевны прощальный вечер. Ее проводжали тепло и сердечно. В своих позднейших «Записках» она рассказывала:

«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой,

которых я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых певиц... Я говорила им: «Еще, еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!» Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь... Я его давно знала... Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения; он хотел передать мне свое «Послание к узникам» («Во глубине сибирских руд...») для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой.

В тот памятный вечер Пушкин говорил Волконской:

— Вы, пожалуй, не поверите мне, если я скажу, что завидую вам, княгиня. Впереди вас ждет жизнь, полная лишений, но и полная самопожертвования, подвига. Вы будете жить среди лучших людей нашего времени, тогда как мы...

Вспоминали Гурзуф.

— Какая разница между той поездкой и теперешней! — вздохнула Мария Николаевна.

В этот вечер много пела и сама хозяйка, Зинаида Волконская. Когда она исполняла арию из «Агнесы» Паэра, где несчастная дочь просит отца простить ее, у Марии Николаевны навернулись на глаза слезы, и она ушла в соседнюю комнату. Зинаида Волконская вынуждена была прервать пение.

Поздно ночью родные, близкие, друзья и знакомые проводили Марию Николаевну по беломраморным ступеням парадной лестницы дома Зинаиды Волконской на Тверской (сейчас улица Горького, 14) до зимнего возка, в далекий и трудный сибирский путь.

Это было 27 декабря 1826 года.

В своем прощальном письме к родным, написанном перед самым отъездом, Мария Николаевна писала:

«Дорогая, обожаемая матушка, я отправляюсь сию минуту; ночь превосходная, дорога — чудесная... Сестры мои, мои нежные, хорошие, чудесные и совершенные сестры, я счастлива, потому что я довольна собой».

Старшая сестра, Екатерина Орлова, пометила свое ответное письмо к ней датой: «31 декабря печального 1826 года»...

Родственники декабристов передали Марии Николаевне много писем и посылок. Чтобы забрать все это, она вынуждена была взять вторую кибитку. Тайком от нее Зинаида Волконская прикрепил к задку кибитки клавикорды. В дальний путь Волконскую сопровождали слуга и горничная.

В канун нового 1827 года прибыли в Казань. Остановились в гостинице. Рядом стоял дом Дворянского собрания. Мария Николаевна видела, как туда входили на бал люди в масках, и думала: «Какой контраст! Здесь собираются танцевать, веселиться, а я — я еду в бездну. Все кончено для меня: и песни, и танцы...»

А ей ведь лишь накануне, 25 декабря, исполнилось двадцать лет!

Несмотря на метель, Волконская в тот же день тронулась в дальнейший путь. Новый год встретила в занесенной снегом кибитке. Когда часы ее прозвонили полночь, она сказала, обращаясь к ямщику:

— С новым годом тебя поздравляю!

Между тем метель усилилась, снег завалил дорогу, лошади сбились с пути и стали. В зимовье дровосека нашлось убежище. Развели огонь, заварили чай и легли отдыхать.

Утром тронулись дальше...

Двадцать дней тянулись по сибирским просторам две кибитки Волконской, пока добрались до Иркутска. Здесь она встретила уже уезжавшую дальше Трубецкую. Распаковала вещи, и, к своему крайнему удивлению, обнаружила привязанные позади кибитки клавикорды. Этот неожиданный и дорогой подарок Зинаиды Волконской очень скрасил одиночество Марии Николаевны — она любила играть и петь.

* * *

Губернатор Цейдлер, выполняя распоряжение Николая I, стал убеждать Волконскую, как до нее Трубецкую, вернуться.

— Подумайте только об условиях, которые вы должны будете подписать, — сказал он.

— Я их подпишу не читая! — ответила Волконская.

— Я должен приказать обыскать ваши вещи, вам запрещается иметь какие бы то ни было ценности, — настаивал Цейдлер.

Произвели обыск, сделали опись всех бывших при Волконской вещей и предложили подписать те же суровые обязательства, которые до нее подписала Трубецкая.

Приехавший с Волконской слуга, прочитав бумагу, сказал:

— Княгиня, что вы сделали? Прочтите, что от вас требуют!

— Мне все равно! — ответила Волконская. — Уложимся скорее и поедем!..

Цейдлер не стал больше задерживать Волконскую. Она бы-

стро доехала до Нерчинского завода и здесь подписала еще один резко ограничивавший ее права документ.

«И это, — писала М. Н. Волконская, — после того, как я оставила своих родителей, ребенка, родину, после того, как я проехала шесть тысяч верст и дала подписку, отказываясь от всего, даже от защиты законов, — тут мне заявляют, что мне отказано даже в защите меня мужем моим. Государственные преступники, как простые каторжники, должны выносить всю суровость законов, но право на семейную жизнь, разрешаемую даже величайшим преступникам и злодеям, у них отнято. Я видела, как эти последние возвращались к себе по окончании работы, выходили из тюрьмы и занимались своими делами; только после повторения преступления на них надевали кандалы и заключали в тюрьму, между тем как наши мужья были запёрты в тюрьмы и в кандалах с первого дня их приезда сюда».

* * *

На другой день Волконская прибыла в Благодатский рудник, во глубине которого работал ее муж. Она поселилась вместе с Трубецкой, хотя комната была так мала, что, когда Волконская ложилась на полу спать, голова ее касалась стены, а ноги упирались в дверь.

Она встала с рассветом, пошла по деревне и неожиданно увидела неказистую постройку с дверью, которая вела вниз. Это был вход в рудник.

Стоявший у входа вооруженный сторож удивился: перед ним была хорошо одетая женщина, так не похожая на обычных обитательниц каторги. Она стала просить пропустить ее.

— Ну ладно, идите! — сказал он после долгого раздумья. — Да вот вам свечка, а то, пожалуй, упадете с непривычки!

Волконская прошла уже половину пути, как вдруг раздался громкий голос:

— Эй, остановитесь! Сюда ходить не разрешается!

Это кричал догонявший Волконскую офицер охраны. Но она не растерялась и, потушив свечу, бросилась бежать вперед. Вдали она увидела тусклые огоньки — там работали заключенные.

С изумлением смотрели декабристы на неожиданно появившуюся из мрака фигуру.

— Господа, да ведь это княгиня Волконская! — раздался чей-то голос.

Волконская стояла внизу, декабристы работали наверху. Спустили лестницу, и через минуту, поднявшись к ним, Мария

Николаевна оказалась среди друзей и знакомых. Ее мужа, Трубецкого, Оболенского и Якубовича среди них не было. Она увидела Давыдова, Артамона Муравьева, братьев Борисовых.

— Да сойдете ли вы наконец, сударыня! — раздался снизу голос офицера.

Волконская попрощалась с друзьями мужа — между прочим, Давыдов приходился ей дядей по отцу, — попросила передать привет отсутствующим и спустилась вниз. Артамон Муравьев назвал это ее посещение «сошествие в ад».

Она отправилась разыскивать мужа и позже так описывала первую встречу с ним в тюрьме:

«В первую минуту я ничего не видела — так там было темно; открыли маленькую дверцу налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; лягз его цепей поразил меня. Я не знала, что он был закован в кандалы. Подобное суровое наказание дало мне понять о всей силе его страданий. Вид его кандалов так взволновал и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого.

Начальник рудников Бурнашев за недостатком места не мог войти и, стоя на пороге, остолбенел от изумления при виде моего восторга и уважения к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обращался как с каторжником...»

Это было 8 февраля 1827 года. Волконская передала мужу портрет отца, матери и свой собственный, с ребенком на руках, и записала: «Наконец я в обетованной земле».

* * *

Так перевернулась еще одна страница в большой, исполненной подвига и героизма книге жизни М. Н. Волконской. Вся ее короткая прошлая жизнь в отчем доме, счастливая и радостная, начала постепенно отходить в область воспоминаний.

В суровых условиях сибирской каторги две молодые женщины, Трубецкая и Волконская, начали налаживать свою собственную жизнь и улучшать каторжный быт своих мужей и их товарищей. Но во всем они полностью зависели от Бурнашева, человека злого, грубого, жестокого и несправедливого.

Приезд Трубецкой и Волконской сразу отразился на положении декабристов. Обе они тайно переписывали и отсылали их письма к родным, чинили их платье и белье, готовили и приносили им в тюрьму пищу.

Питались декабристы до их приезда очень плохо, они нахо-

дילים на положении обычных каторжан. В архиве Нерчинских заводов сохранился расчет причитавшегося им жалования в августе 1827 года: Трубецкому — 63¹/₂ копейки, Волконскому — 65¹/₂ коп., Муравьеву 76 коп., Якубовичу — 1 руб. 09 коп., Оболенскому — 1 руб. 89¹/₂ коп., А. Борису — 95¹/₂ коп., П. Борису — 1 руб. 93 коп., Давыдову — 69¹/₂ коп. Итого на восемь человек — 8 руб. 61¹/₂ коп. за один месяц.

Даже в те далекие времена, при крайней дешевизне жизни в Сибири, на эти деньги невозможно было существовать.

Трубецкая привезла с собою поваренную книгу. Стоя перед горшками, обе женщины в первый раз за всю свою жизнь готовили для восьми заключенных супы и кашу. У них было с собою всего семьсот рублей — остальные деньги и имущество находились в руках администрации, — и скоро обе женщины стали испытывать нужду. Бурнашеву они должны были ежедневно представлять отчет о каждой израсходованной копейке. Приходилось довольствоваться самым необходимым: в тюрьму они посылали суп и кашу, сами часто питались хлебом и запивали квасом.

Скоро в ответ на их письма стали приходиться из России посылки и письма, но пока что на их попечении находились восемь человек, которых нужно было кормить и обшивать.

Однажды в трескучий мороз Трубецкая пришла на свидание с мужем в изношенных ботинках и сильно простудила ноги: из своих единственных новых теплых ботинок она сшила Оболенскому шапочку, чтобы на волосы не попадала руда, сыпавшаяся при работе в руднике.

Дважды в неделю жены имели право посещать в тюрьме своих мужей, и эти дни были для них праздниками. В остальные дни они смотрели на них издали, когда те возвращались в сопровождении конвоя с работы. Часто Трубецкая и Волконская подходили к тюремному окну, приносили с собою два стула и в продолжение долгих часов молча сидели перед этим единственным тюремным окном, у которого, сгрудившись, стояли и смотрели на них восемь декабристов.

Возвращаясь с работы, Трубецкой часто срывал на своем пути полевые цветы, делал из них букетики и незаметно оставлял на дороге. Их можно было поднять лишь после того, как конвоиры уже прошли с заключенными вперед.

И все же одно присутствие жен рядом с тюрьмой и рудниками вселяло в заключенных бодрость и веру в жизнь и лучшее будущее.

Трубецкая часто отправлялась на телеге к Бурнашеву, с

отчетом об их ежедневных расходах. Обратна она возвращалась с купленной провизией и мешками картофеля. Встречные всегда кланялись ей...

* * *

Кроме тюрьмы, где жили декабристы, в Благодатском руднике была еще другая тюрьма, в которой жили беглые каторжане. Весною они часто садились у порога своей тюрьмы и тоскливо глядели вдаль: вспоминался родной дом, неудержимо тянуло бежать.

Это были несчастные люди, жертвы крепостнического бесправия и самодержавного режима. Со многими из них у декабристов и их жен сложились хорошие и простые человеческие отношения. Они очень ценили это и, со своей стороны, относились к декабристам внимательно и с уважением.

В письме домой Волконская писала о них тепло и сердечно: «Я находилась среди людей, которые принадлежали к подонкам человечества и тем не менее относились к нам с большим уважением, более того... они боготворили меня и Каташу..., а наших заключенных называли не иначе, как наши князья. Когда же им приходилось работать вместе, то они предлагали делать вместо них урочную работу; приносили им горячую картошку, испеченную в золе. Эти несчастные, отбыв срок присужденных им каторжных работ, большею частью потом делались порядочными людьми, начинали работать на себя, становились добрыми отцами семейства. Немного нашлось бы подобных честных людей среди тех, которые выходят из каторжных тюрем Франции и Англии. Сколько благодарности и преданности в этих людях, которых мне представляли как каких-то чудовищ».

* * *

Уже вскоре после приезда Трубецкой и Волконской произошел случай, который дает представление об их отношениях с каторжниками.

Здесь, на каторге, славился в то время знаменитый разбойник Орлов. У этого человека была своя жизненная философия: он ненавидел богатых и жестоких властителей жизни, но никогда не обижал бедных и обездоленных. Как и все его товарищи по каторге, он очень уважал Волконскую, которая покоряла их своей душевной красотой и глубокой человечностью.

Однажды осенью Орлов бежал. На вечерней прогулке Волконскую неожиданно нагнал его приятель, каторжник, и вполголоса сказал:

— Княгиня, Орлов прислал меня к вам. Он скрывается в этих горах, в скалах над вашим домом. Он просит вас прислать ему денег на шубу: ночи стали уже холодные.

Волконская испугалась, но не могла оставить несчастного без помощи. Показав посланному место под камнем, где положит деньги, она пошла за ними домой, а его попросила не следовать за ней...

Как-то вечером Трубецкая была на свидании с мужем. Волконская оставалась одна, сидела за клавирами и пела, сама себе аккомпанируя. Неожиданно кто-то вошел и стал у порога. Это был Орлов, в шубе, с двумя ножами за поясом.

— Я опять к вам, — сказал он, — дайте мне что-нибудь, мне нечем больше жить... бог вернет вам, ваше сиятельство!

Волконская дала ему пять рублей. Орлов поблагодарил и скрылся.

Среди ночи вдруг раздались выстрелы. Вся деревня поднялась на ноги. Выяснилось, что группа каторжан решила бежать, и Орлов, празднуя побег, угостил их. Всех, кроме Орлова, поймали: ему удалось бежать через дымовую трубу. Несчастных били плетью, чтобы заставить сказать, от кого они получили деньги на водку, но ни один из них не назвал Волконскую...

* * *

С Бурнашевым у Трубецкой и Волконской сложились особые отношения. Через его руки проходила их переписка, и ему стало ясно, что в Петербурге у них имеются влиятельные родственники и друзья.

Из этой переписки Бурнашев узнал, что мать «каторжника» Волконского, статс-дама и обер-гофмейстерина, живет в Зимнем дворце; что сестра его, Софья, статс-дама, замужем за министром двора членом Государственного совета П. М. Волконским; что Муравьева — дочь графа Чернышева; что любимец царя А. Ф. Орлов провожал Волконскую на свидание с мужем в Петропавловскую крепость и т. д., и т. д.

Бурнашев узнал, наконец, из этой переписки, что Волконские — ирония судьбы! — находятся в родстве с всемогущим шефом жандармов Бенкендорфом...

Дело в том, что сын Софьи Григорьевны Волконской, сестры декабриста Волконского, впоследствии женился на дочери Бенкендорфа, а на внучке Бенкендорфа женился родившийся в Сибири сын Волконской, Михаил...

Среди всего этого сплетения громких имен и положений

Бурнашев, гроза Нерчинских рудников, чувствовал себя маленьким и ничтожным человеком и понимал, что с этими титулованными декабристами, особенно с их женами, нужно держать себя совсем по-иному и всегда быть настороже.

Он опасался Трубецкой, женщины мягкой, но с ироническим складом ума, и боялся Волконской, к которой не решался даже входить без доклада, и вынужден был смотреть сквозь пальцы на их постоянную помощь каторжанам и добрые отношения с ними...

Принимая как-то от Волконской отчет в израсходовании денег, Бурнашев увидел, что она приобрела холст и заказала белье для каторжан, которых часто видела без рубашек, в одном необходимом нижнем белье.

— Вы не имеете права, — сказал ей Бурнашев, — раздавать рубашки. Вы можете облегчать нищету, раздавая по пять и десять копеек нищим, но не одевать людей, находящихся на иждивении правительства.

— В таком случае, милостивый государь, — сухо ответила Волконская, — прикажите сами их одеть. Я не привыкла видеть полуголых людей на улице...

— Ну, не сердитесь, сударыня... — поспешил успокоить ее Бурнашев. — Впрочем, вы откровенны, как дитя, я всегда это предпочитаю. А вот ваша подруга, Трубецкая, хитрит со мною...

* * *

Однажды в тюрьме произошло событие, очень напугавшее обеих женщин.

Надзор за тюрьмой Бурнашев поручил горному офицеру Ряку, человеку такому же грубому и злому, как и сам он. Этот Рик потребовал, чтобы декабристы, возвращаясь с работ, вместо того чтобы вымыться и обедать вместе, шли каждый в свое отделение и там питались.

Из экономии Рик перестал давать заключенным свечи, и они должны были уже с трех часов дня проводить зимние вечера в темноте. Кроме того, он запретил всякие разговоры между находившимися в разных отделениях декабристами.

Декабристы объявили голодовку. Рик испугался и вызвал Бурнашева. Ни Трубецкая, ни Волконская ничего об этом не знали и очень удивились, когда вдруг увидели приехавшего со своей свитой Бурнашева.

— В чем дело? Что случилось? — спросили они у собравшихся жителей.

— Секретных судить будут! — ответили те.

В это время Трубецкого и Волконского вывели под конвоем солдат из тюрьмы. Волконский имел привычку ходить, заложив руки за спину, и Трубецкой показалось, что у него связаны за спиной руки.

Неопытная, легко терявшаяся, она оставила Волконскую, быстро подбежала к горному солдату, о чем-то спросила его и скоро вернулась с довольным лицом.

— Мы можем быть спокойны, — сказала она, вернувшись, Волконской, — ничего не случилось. Я сейчас спросила у солдата, приготовили ли розги, он мне сказал, что нет...

— Каташа, что вы сделали? — всплеснула руками Волконская. — Мы и допускать не должны подобной мысли!..

Трубецкой и Волконский приближались к своим женам. Волконская стала на снегу на колени и умоляла мужа не горячиться. Он обещал ей это.

Бурнашев принял строгий вид и пригрозил декабристам. Те объяснили ему, в чем дело, и Бурнашев успокоился. Скоро привели и остальных декабристов. Трубецкой и Волконский успели предупредить их о вопросах, которые будут им заданы.

Женщины стояли в стороне и смотрели на начальника в упор. Когда заключенных увели, Волконская подошла к Бурнашеву и спросила, в чем дело.

— Ничего, ничего, — ответил он, — мой офицер сделал из мухи слона!

Испугавшись голодовки, Бурнашев приказал в тот же день отпереть разъединявшие декабристов отделения, разрешил выдать им свечи и проводить свое время так, как они желают.

Рика скоро удалили, а вместо него назначен был Резанов, который ничем не стеснял декабристов, часто проводил с ними вечера за шахматами и водил на длительные прогулки.

* * *

Обстановка и общие условия жизни в Нерчинских рудниках угнетали. На протяжении почти года здесь шла непрерывная тяжелая борьба за жизнь, за свое человеческое достоинство — безнадежная смена дней, недель, месяцев. Не по часам, а по звону кандалов жены узнавали, что уже пять часов утра и мужья отправляются на работу.

Лишь здесь, живя в покосившейся крестьянской хижине, под которой «во глубине сибирских руд» работали их мужья, они узнали, на что обрекли себя, уехав за тысячи верст в Сибирь.



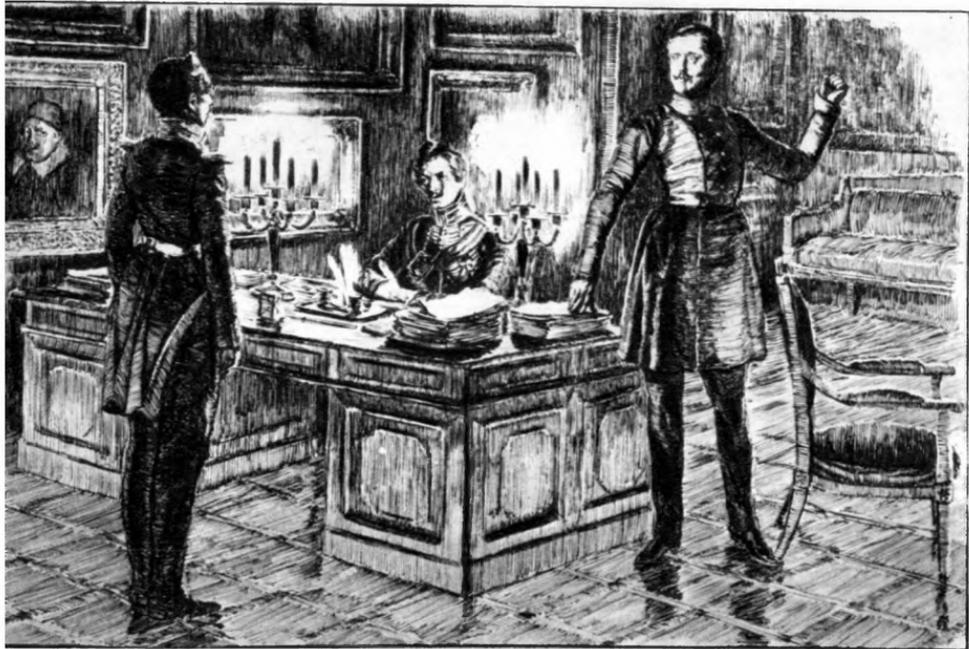
Вид Зимнего дворца со стороны
Дворцовой площади.
Литография 30-х годов XIX века.



Обер-комендантский дом в Петропавловской крепости, где происходило следствие над декабристами.
Фотография 1873 года.

Николай I допрашивает в Зимнем дворце декабриста Н. А. Бестужева.
Рисунок Д. Н. Кардовского.

Записка Николая I коменданту Петропавловской крепости А. С. Сукину.



Кашеваро кодиротамб сурен акирараканоро кодиротам,
болонд сур раи урғанс рорарасурасур, ророр дондон
асурарасуроророр. Абдулмамама Тархун
Амураракан Тег муроракан Затолон; улорон
сирор дурарасуророр асирорасурор уморонор
Тархун Мурораракан.

Амураракан

Кодиротамб Кашеваро н суроророророророророр.
нодир. бе роророр 10 ^тан берр
18 Окте 1825



Декабрист в каземате Петропавловской
крепости.

Рисунок Д. Н. Кардовского.

Последние строки предсмертного письма
К. Ф. Рыльева к жене.

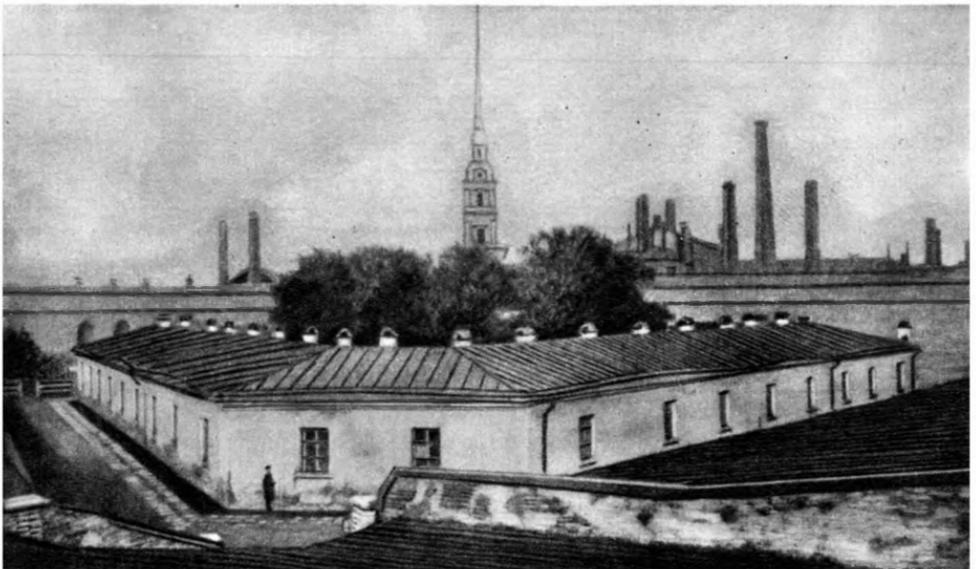
Алексеевский рваецин Петропавловской
крепости, в котором содержались в за-
ключении декабристы.

Фотография 1873 года.

була невідомою. Згідно з даними, які були отримані,
 було встановлено, що це була фабрика, яка працювала
 в місті. Вона була побудована в 1850 році. Вона була
 побудована в місті. Вона була побудована в місті.

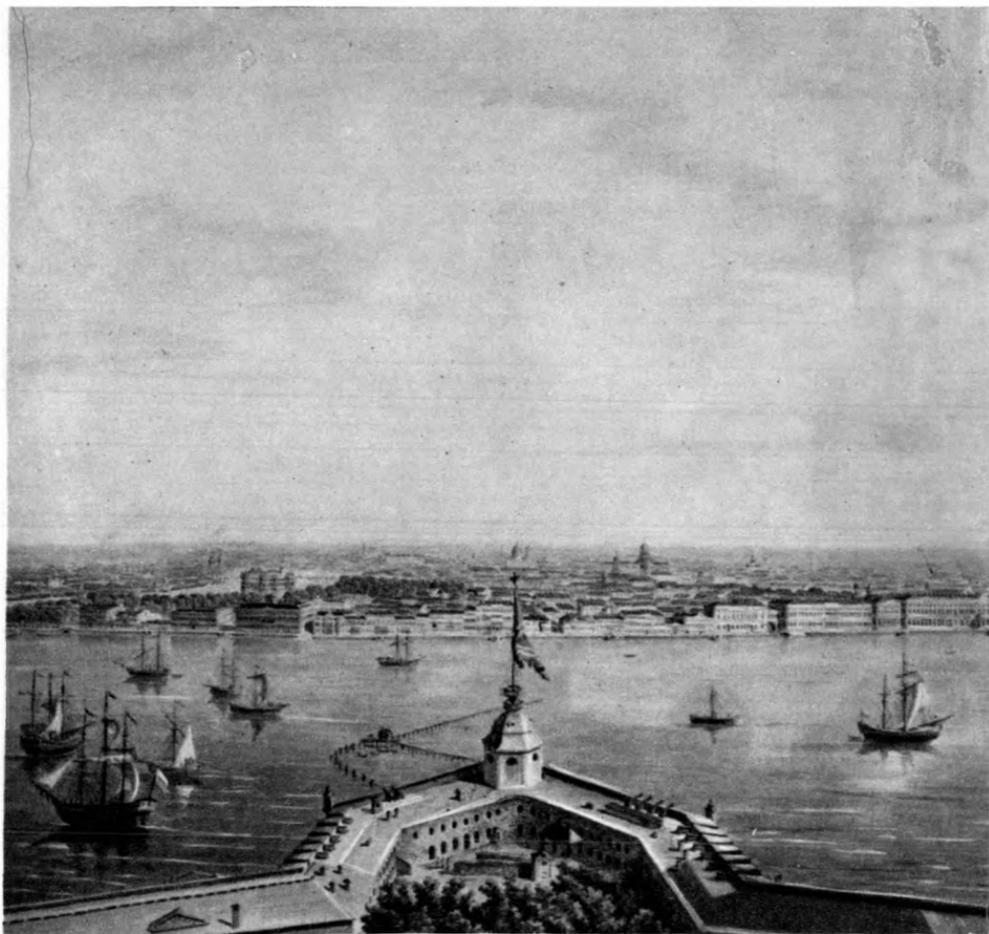
Мій улюблений син П. П. П.

Я пишу вам з міста 530. Я пишу вам з міста



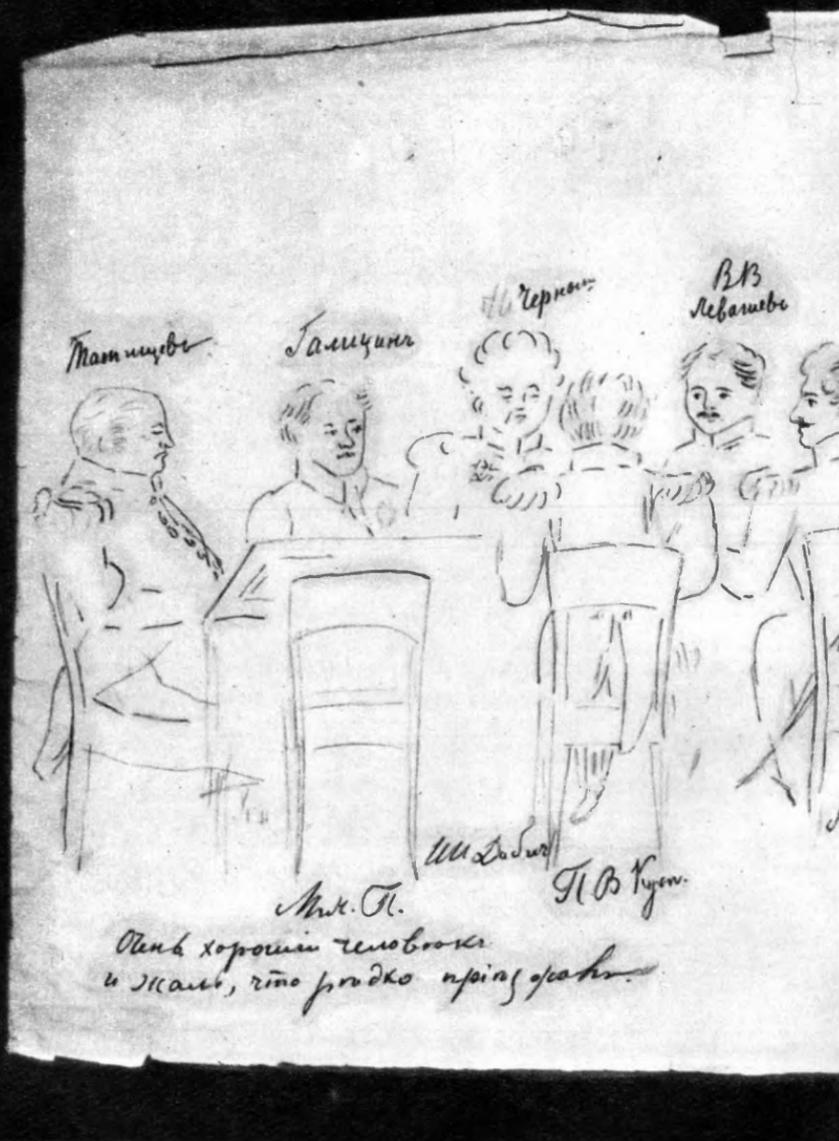


Василий Львович Давыдов, на слова, что тай-
ный общества наши были модною и попра-
вляемъ Кочинскому Турендъ-бурду — гово-
рил: „ Извините, господа! Не къ Кочинско-
му, къ Турендъ-бурду, а просто къ Бурду
и принадлежалъ —



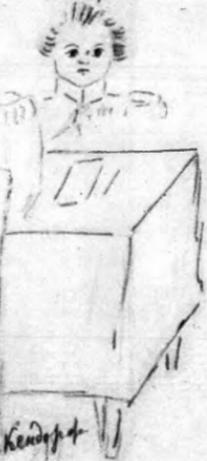
Кронверк Петропавловской крепости.
Здесь 13 июля 1826 года были казнены
пять декабристов: К. Ф. Рылев, П. И. Пе-
стель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бе-
стужев-Рюмин и П. Г. Каховский.
Акварель 1830 года.

В. Л. Давыдов. Под портретом — его ответ
членам Следственного комитета.
Зарисовка В. Ф. Адлерберга.



Заседание Следственного комитета.
Зарисовка: В. Ф. Адлерберга.

Александр



Кендрат



Слово А. Терюшова Max Nov. Кито Канер, тоин Урабоз
а Кито Канер, тоин Урабоз



А. С. Пушкин.
Рисунок Н. П. Ульянова.

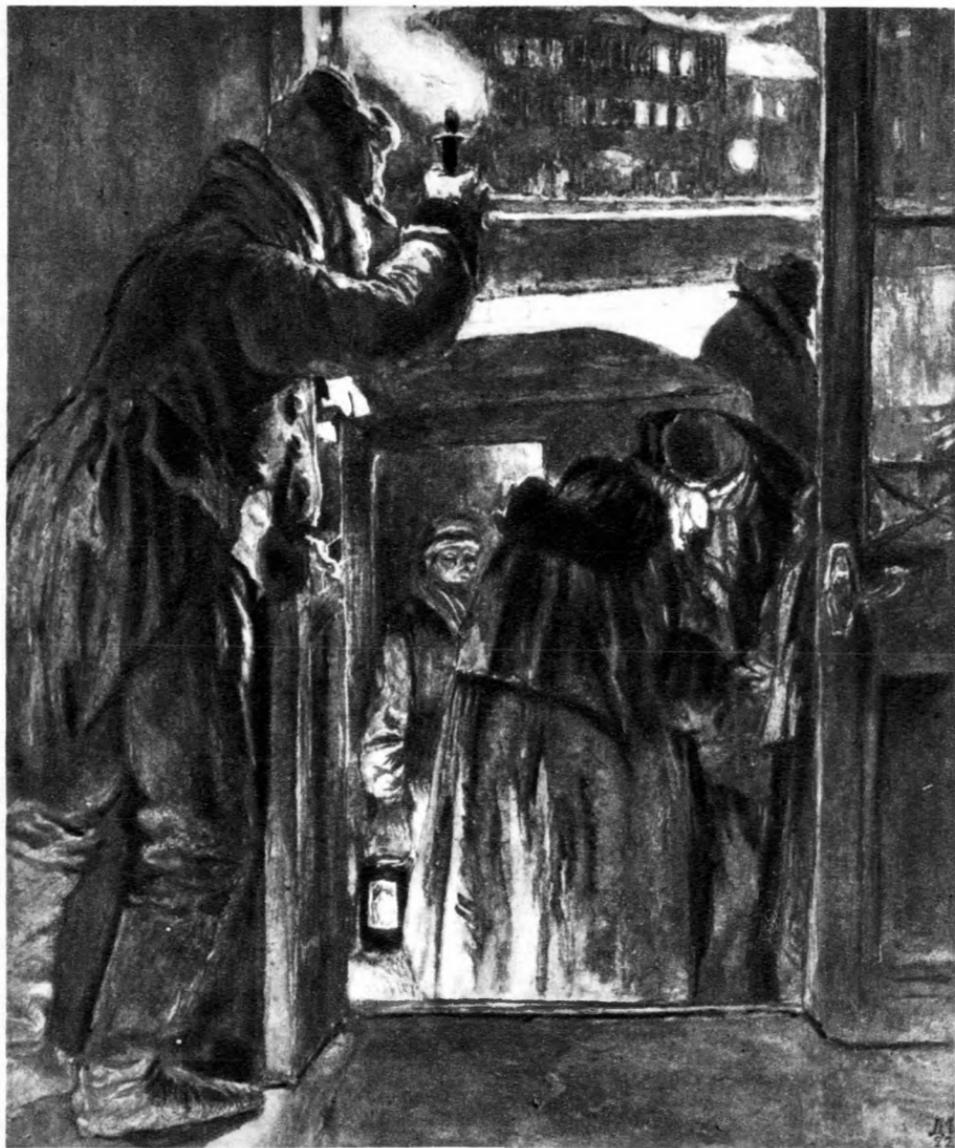
Виселица с пятью казненными
декабристами.
*Рисунок А. С. Пушкина
на рукописи «Полтавы».*

~~Handwritten text~~

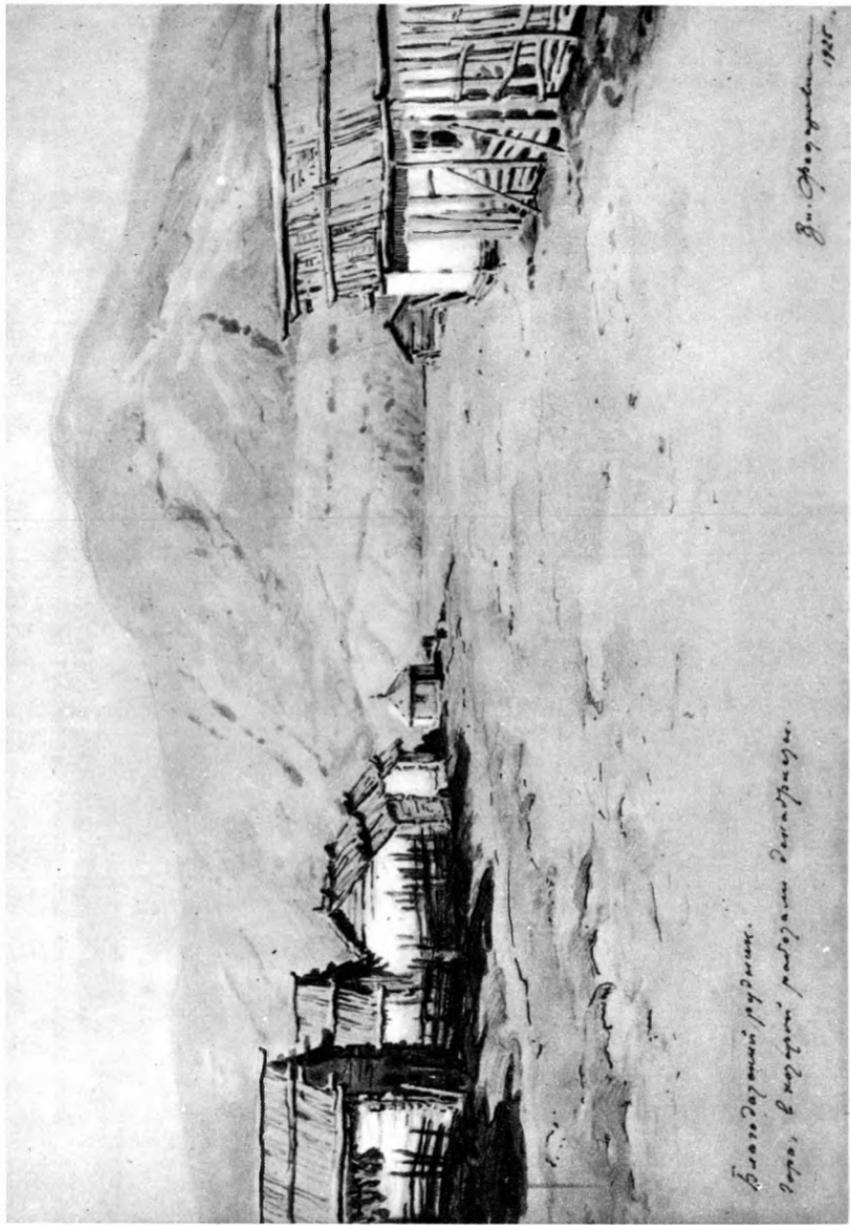




А. С. Пушкин читает М. Н. Волконской
свое послание декабристам
«Во глубине сибирских руд...».
С картины В. Дрезниной.



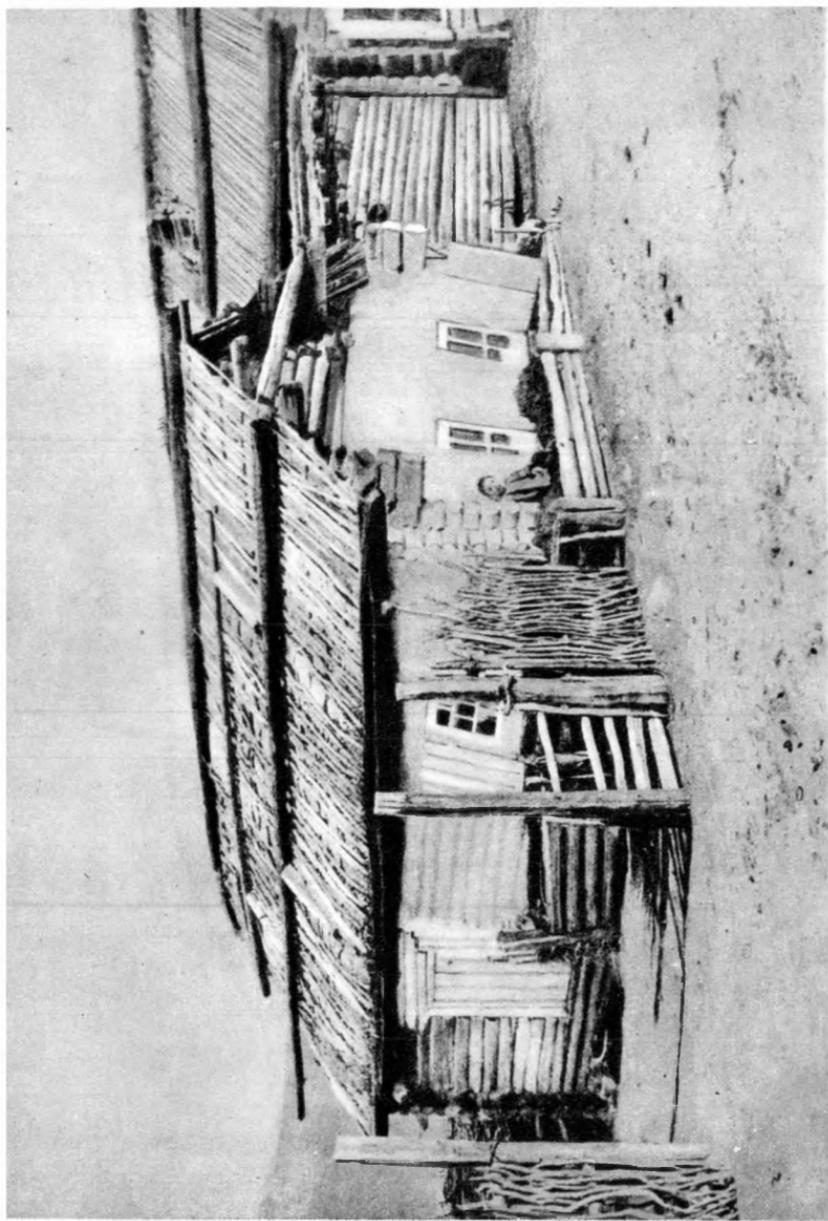
Проводы Е. И. Трубецкой в Сибирь.
Акварель Д. Н. Кардовского.



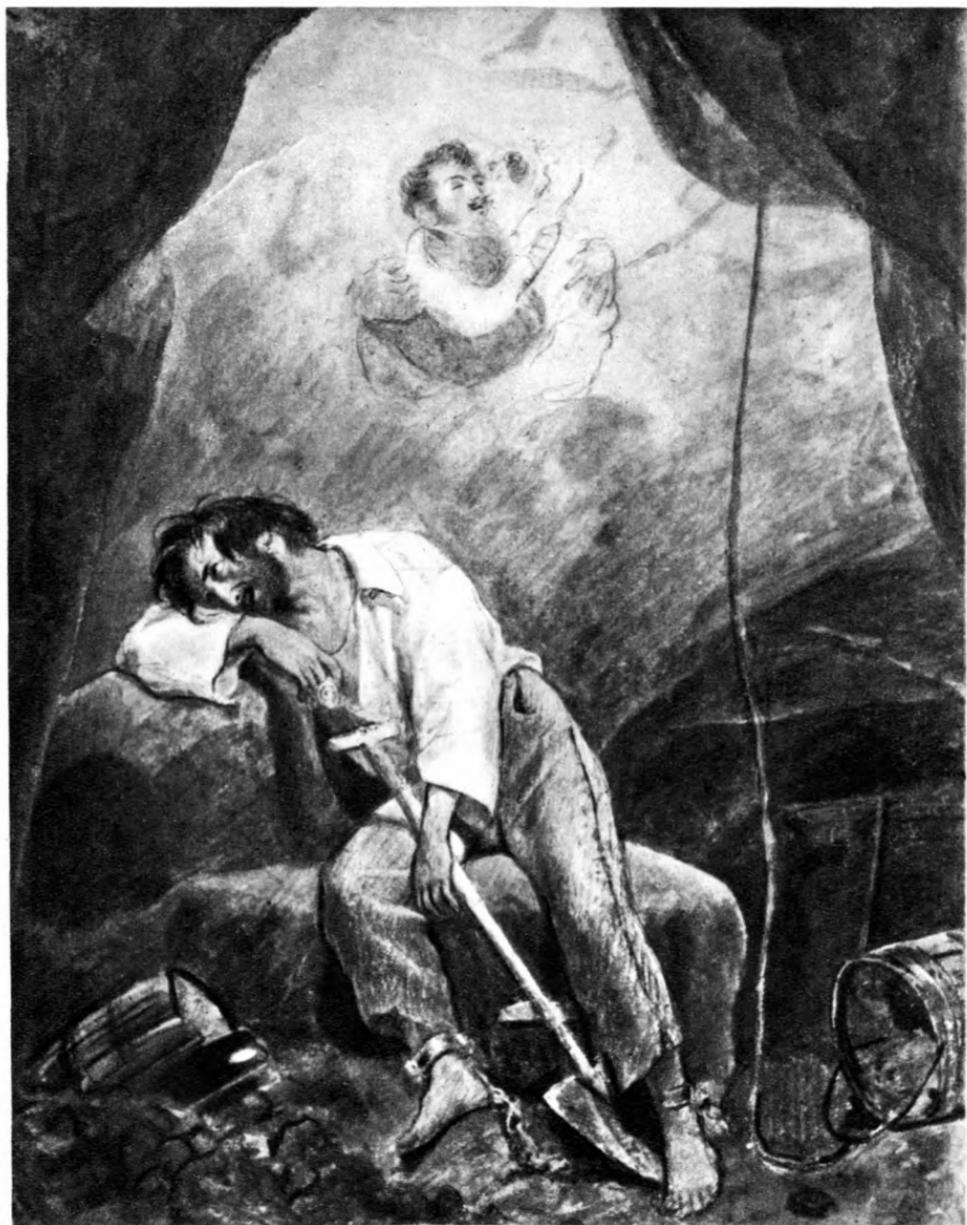
Благодатский рудник.
Гора, в глубине которой
работали декабристы.

В. Л. Федоровичем
1925.

Благодатский рудник. Гора, во глубине которой
работали декабристы.
Рисунок В. Л. Федоровича.



Благодатский рудник. Домик, в котором жили Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская.
Рисунок В. Л. Федоровича.



Сон декабриста С. Г. Волконского.
Рисунок К. П. Брюллова.

Нужна была глубокая вера в правоту дела, за которое осуждены были на вечную каторгу декабристы, чтобы унылые, безрадостные и мрачные Нерчинские рудники явились для Волконской «землей обетованной». Чтобы, оказавшись на каторге, жены декабристов почувствовали себя счастливыми в жалкой, затерявшейся в далекой Сибири хижине. Чтобы добровольно расстаться с родными и близкими, покинуть Петербург и навечно похоронить себя в суровой Сибири...

Совершая по вечерам прогулки к маленькому сельскому кладбищу, Волконская и Трубецкая не раз спрашивали друг друга: «Не здесь ли нас похоронят?» Это было грустно и безотрадно. Но они не раскаивались в том, что приехали сюда.

Волконская никогда не выказывала грусти. Мягкая и обаятельная, она была любезна и приветлива с товарищами мужа и со всеми окружающими ее, но горда, взыскательна и непреклонна во взаимоотношениях с комендантом и тюремщиками. Естественно, что при создавшихся условиях и сам начальник рудника Бурнашев вынужден был сдерживать себя.

Так отразился на общем режиме заключенных приезд Волконской и Трубецкой. Декабристы почувствовали, что они не одиноки...

Лавра Девятая

СЕМЬ МУРАВЬЕВЫХ

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»

ЗЕРЕНТУЙСКИЙ заговор и попытка Сухинова разоружить охрану и освободить декабристов и вместе с ними уголовных испугали царя и сибирскую администрацию.

Дальнейшая отправка декабристов в Нерчинские рудники была приостановлена. Стали искать, где та «вечная каторга», куда царь хотел упрятать декабристов.

Особо созданный Николаем I комитет пришел к выводу, что расселять декабристов по всей необъятной Сибири опасно, что лучше всего сосредоточить их в каком-нибудь одном надежном месте. Это облегчало надзор и лишало декабристов возможности вести пропаганду среди сибирского населения.

Таким надежным местом казался Акатуевский серебряный рудник — гнилое и губительное для здоровья поселение, удобное тем, что тюрьма и шахты составляли здесь одно целое и спускаться в шахты можно было, не выходя за тюремные стены. Здесь и началась постройка большой тюрьмы для декабристов. Позже, однако, передумали и тюрьму начали строить в Петровском заводе. Постройка могла длиться два-три года, и решено было временно сосредоточить всех декабристов в Читинском остроге.

Командантом острога назначен был бывший командир Саверского конно-егерского полка генерал-майор С. Р. Лепарский, человек культурный и образованный, твердый и непоколебимый в исполнении своих обязанностей, но вместе с тем хитрый и расчетливый.

Выполняя приказание из Петербурга, он способен был расстрелять шесть человек и зверски расправиться с участниками Зерепуйского заговора за попытку бежать с каторги.

Он, вероятно, не очень церемонился бы и с декабристами и их женами, если бы не учитывал, что в Петербурге у них было много влиятельных родственников и друзей. Он готов был и здесь выполнить любое приказание Николая I, но всегда старался выгородить себя перед людским мнением и всегда думал о том, как будет он принят в России, если ему придется возвратиться туда.

Когда жены декабристов, например, написали своим родным в Петербург, что тюрьма Петровского завода, куда позже декабристов перевели из Читы, была выстроена без окон, Николай I пытался свалить вину за это на Лепарского.

Оправдываясь в этом перед декабристами, Лепарский пригласил к себе Завалишина и доктора Вольфа, запер на ключ дверь кабинета, поставил у окон часовых, чтобы никто не подслушал их разговора, и показал им утвержденный царем план каземата.

— Извольте смотреть, господа, — сказал он. — Тут подписано: «Быть по сему. Николай». Вы видите, что на этом фасаде нет окон. Так что же он сваливает теперь все на меня и выдаст меня на вражду вашим родственникам и общественному мнению всей России?..

Положение Лепарского было, конечно, трудное, но благодаря своему ясному уму и большому такту он сумел так построить свои взаимоотношения с декабристами и их женами, что не только не отягощал их положения, а, наоборот, всегда шел им навстречу в чем мог. И декабристы поминали его за это добрым словом.

Лепарского выбрал и назначил сам Николай I. Передавая ему инструкцию, определявшую условия бытия на каторге декабристов, царь сказал:

— Смотри, Лепарский, будь осторожен, за малейший беспорядок ты мне строго ответишь, и я не посмотрю на твою сорокалетнюю службу. Я назначил тебе хорошее содержание, которое тебя обеспечит в будущем. Инструкцию, кто бы у тебя ее ни потребовал, никому не показывай. Прощай!

Николай I, однако, ошибся, сосредоточив декабристов в одном месте и назначив Лепарского охранять их. Находясь вместе, декабристы нашли друг в друге опору.

Среди них с особой силой проявился дух свободы, коллективизма и равенства.

«Этой ошибкой, — писал позже И. Д. Якушкин, — Николай I остался в потере, потому что мы остались живы и выиграли, приобретя доброго, умного, снисходительного тюремщика, а что еще важнее — законника, сумевшего в продолжение своего долгого управления помирить букву закона, то есть бестолково строгой инструкции, с обязанностью доброго и честного человека».

Пока решались все эти вопросы, декабристы продолжали еще в течение полугода томиться в казематах Петропавловской крепости.

Лишь в январе 1827 года в Читинский острог прибыли первые его обитатели: члены Северного тайного общества два брата Муравьевы, Никита и Александр, И. А. Анненков и капитан-лейтенант флота К. П. Торсон. Вслед за ними начали прибывать, партиями по четыре человека, в сопровождении фельдъегерей и жандармов, остальные декабристы.

* * *

Муравьевы известны были своими передовыми взглядами и вольнолюбивыми настроениями. В доме под номером 25 на Фонтанке, в Петербурге, жила Екатерина Федоровна Муравьева, очень уважаемая мать декабристов Никиты и Александра Муравьевых.

Капитан гвардейского Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев был тот самый «беспокойный Никита», о котором Пушкин писал в десятой главе «Евгения Онегина».

Семья Муравьевых была связана родством с сыном основателя Московского училища колонновожатых, декабристом Александром Николаевичем Муравьевым, с декабристами Артамоном Муравьевым и братьями Матвеем, Сергеем и Ипполитом Муравьевыми-Апостолами. Все они были очень дружны между собою.

В доме Никиты Муравьева был штаб декабристов. Здесь часто собирались не только многочисленные Муравьевы, но и их двоюродные братья — декабристы М. С. Лунин, Федор и Александр Вадковские, Э. Г. Чернышев, брат жены Никиты Муравьева, Александры Григорьевны, и многие другие.

Это о них писал Пушкин:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал,
Читал свои нозли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россню в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Дом Екатерины Федоровны Муравьевой вообще славился в Петербурге. За ее обеденный стол садилось иногда до семидесяти человек. В ее доме жил «любимец моды легкокрылой» художник О. А. Кипренский, написавший широко известный портрет А. С. Пушкина, жил знаменитый гравер Н. И. Уткин, жили племянник хозяйки поэт К. Н. Батюшков и близкий друг Пушкина поэт П. А. Вяземский.

Здесь бывали наезжавший с юга декабрист П. И. Пестель, поэты В. А. Жуковский и Н. И. Гнедич, братья Александр и Николай Тургеневы. Все они были близкими друзьями Пушкина, и сам он часто бывал в этом доме.

Никита Муравьев, один из виднейших руководителей и вдохновителей Северного тайного общества, горячо любил свою родину и был убежденным противником самодержавия.

В 1812 году ему было всего шестнадцать лет. Желая принять участие в борьбе с Наполеоном, он бежал из дому на фронт. По пути постучал в окно крестьянской избы и попросил пить. Ему дали кусок хлеба и кружку молока. По неопытности он дал за это золотой. В нем заподозрили французского шпиона, арестовали и доставили по начальству. Мать разрешила ему после этого поступить на военную службу. В чине прапорщика он участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, а по взятии Парижа долго жил во французской столице, интересуясь политическими вопросами.

В доме Муравьевых жил одно время и писал свою «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин. Критикуя ее, Никита Муравьев написал свои «Мысли об Истории государства Российского Н. М. Карамзина», где опровергал основную политическую идею историка о необходимости примирения с действительностью. «История народа принадлежит царю» — этими словами Карамзин закончил предисловие к своей «Истории». «История народа принадлежит народу», — поправил его молодой Никита Муравьев.

Когда Карамзин появился после выхода в свет своей «Истории» в доме Муравьевых, ему пришлось выслушать от своего молодого критика горячий упрек за восхваление самодержавия, за монархический дух его истории.

«Мысли» молодого Никиты Муравьева нельзя было напечатать — цензура не разрешила бы их, — и они распространялись в списках. С ними согласны были многие его товарищи по Тайному обществу. Пушкин, прочтав их, назвал Никиту Муравьева человеком умным и пылким.

Таким же духом проникнут был его знаменитый проект русской Конституции — ценнейший документ эпохи декабристов, варианты которого хранятся сейчас в Центральном Государственном историческом архиве и в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве.

Во время допросов в Зимнем дворце от Никиты Муравьева требовали, чтобы он признался в том, что Тайное общество стремилось к установлению республики.

— Мой проект Конституции, который у вас в руках, — монархический, но, если вам угодно знать, изучение (вопроса) укрепило во мне направление, данное моим политическим

идеям, и теперь я громко заявляю, что я всем сердцем и убеждением республиканец... — сказал как-то Н. Муравьев, как об этом рассказывает в своих воспоминаниях его брат, А. Муравьев.

Открыто выражали свои настроения и другие члены семьи Муравьевых.

Брат Никиты Муравьева, Александр Михайлович, рассказывал, что, когда его с И. А. Анненковым и Д. А. Арцыбашевым привезли после ареста в Зимний дворец, Николай I объявил по окончании допроса, что они проведут шесть месяцев в крепости, а затем будут прощены. Присутствовавшие при этом генералы и раболепствующие царедворцы бросились целовать руки Николая I и пригласили сделать то же декабристов.

Декабристы не тронулись с места. Царь отступил тогда на несколько шагов и заявил, что ему не нужна их благодарность...

Брат казенного Сергея Муравьева-Апостола, Матвей, являлся одним из деятельнейших членов Южного тайного общества, человеком определенных взглядов и решительных действий. Присутствуя как-то на одном парадном обеде, он отказался присоединиться к тосту за здоровье государя и вылил содержимое своего бокала на пол.

— Рано свои знамена показываешь! — заметил по этому поводу один из товарищей.

Историю эту замаяли, но ему пришлось выйти в отставку.

Полковник Артамон Захарович Муравьев был вызван Николаем I в январе 1826 года из Петропавловской крепости для личного допроса, после чего был возвращен в крепость с собственноручной царской запиской: «Присылаемого злодея Муравьева Артамона заковать и содержать как наистроже».

Когда впоследствии сестра его, графиня Е. З. Канкринна, обратилась к Николаю I с ходатайством о назначении брата рядовым на Кавказ, последовал ответ: «Так как Артамон Муравьев, участвуя в злоумышленных обществах, вызывался покуситься на жизнь блаженной памяти императора Александра, его величество не может еще распространить на него всемилостивейшего прощения, а предоставлять себе изволит со временем и по степени его раскаяния смягчить его участь».

Двоюродный брат Муравьевых, Ф. Ф. Вадковский, предлагал на товарищеском собрании декабристов уничтожить во время одного из придворных балов всю царскую семью и там же, во дворце, провозгласить учреждение республики.

Всем известна была и крайняя непримиримость племянника Муравьевой, М. С. Лунина, одного из тончайших и деликатней-

ших умов, по определению А. И. Герцена: Уже находясь на каторге, он продолжал посылать в Петербург свои суровые и обличительные письма против самодержавия.

«Я был под виселицей и носил кандалы, — писал он, — и что же?.. Мои политические противники... были вынуждены употребить силу, потому что не имели иного средства для опровержения моих мыслей об общественном улучшении...»

Николай I жестоко расправился со всеми Муравьевыми: С. И. Муравьев-Апостол был повешен на кронверке Петропавловской крепости. Его брат, М. И. Муравьев-Апостол, Никита Муравьев и Артамон Муравьев приговорены были к смертной казни отсечением головы, замененной впоследствии двадцатилетней каторгой, А. М. Муравьев — по конфирмации, к двенадцати годам каторги, А. Н. Муравьев — к ссылке на поселение в Сибирь без лишения чинов и дворянства.

Жестоко и бессердечно отнесся Николай I к Александру Михайловичу Муравьеву, когда тот закончил свой срок каторги. Он отбывал ее в Чите вместе с братом Никитою Муравьевым и 8 ноября 1832 года должен был выйти на поселение. Не желая покидать брата, он просил разрешить ему остаться с ним до окончания его срока.

Николай I разрешил, но коменданту сообщил, что Александр Муравьев, как добровольно отказавшийся от дарованной ему высочайшей милости, «неминуемо должен подвергнуться и всем тем правилам, коим подлежат находящиеся в Петровском заводе государственные преступники, то есть оставаться в том же положении, в котором был до состояния всемилостивейшего указа о назначении его на поселение».

Таковы были царские «милости». Александр Муравьев еще три года отбывал каторжные работы и лишь 14 декабря 1835 года вышел вместе с братом Никитою на поселение.

Он оставил жене и детям записки о своей жизни, чтобы они знали, что «их изгнанный отец страдал за прекрасное и благородное дело и что он мужественно нес цепи за свободу своего отечества». Он писал, что «свобода рождается среди бурь, утверждается с трудом и только время выявляет ее благоденствие... Мы с пользою выполнили свое назначение в этом мире скорби и испытаний. Мученики полезны для новых идей... Всякая преследуемая истина есть сила, которая накапливается, есть подготовляемый день торжества».

Александр Николаевич Муравьев приговорен был к ссылке в Сибирь без лишения чинов и дворянства, но с царской резолюцией: «Отправить с фельдъегерем, наблюдая, чтобы он ехал

в телеге, а не в своем экипаже; буде жена его пожелает с ним ехать вмате, то ей в том отказать, дозволив ей только отпра-виться за ним вслед».

Сколько жестокости и непримиримой злобы было в этих мелочных и придирчивых распоряжениях самодержца великой империи!..

* * *

Александра Григорьевна Муравьева, жена Никиты Муравьева, выехала из Петербурга в Сибирь почти одновременно с Волконской. Но в Иркутске пути их разошлись: Волконская направлялась в Нерчинские рудники, где в то время отбывал каторгу ее муж, путь Муравьевой лежал в Читу, куда в дальнейшем начали направлять всех декабристов.

Декабрьские события застали Никиту Муравьева и его жену в обстановке тесного семейного круга, в орловском имении родителей жены, графов Чернышевых. Здесь его и арестовали через несколько дней после восстания. Когда за ним пришли, он упал перед женой на колени, прося простить его за то, что скрыл от нее свое участие в Тайном обществе.

Муравьева обняла мужа и сказала, что не оставит его и разделит его судьбу. Далекая от политики, она в ту минуту, конечно, не представляла себе, что ждет ее мужа и на что она обрекает себя, репяясь следовать за ним.

Уже первое свидание в крепости с мужем заставило Муравьеву отбросить всякие иллюзии. Приговор суда ошеломил. Особенно тягостное впечатление произвело на нее свидание с мужем в день его отправки на каторгу, в конце 1826 года. Вместе с матерью мужа, Екатериной Федоровной, она ждала его на ближайшей от Петербурга станции. Закованные в кандалы, окруженные жандармами, к станции подъехали: муж, его брат Александр, И. А. Анненков и моряк К. П. Торсон.

Вез их знаменитый, славившийся своей жестокостью фельдъегерь Желдыбин, который бил ямщиков, старался как можно скорее доскакать до места назначения, чтобы заработать на прогонах, и, невзирая на жестокие морозы, не давал декабристам возможности ни поесть, ни отдохнуть в пути...

Все это было страшно, обо всем этом жены декабристов уже знали, но после твердо принятого решения ничто уже не пугало Муравьеву. Прощаясь после двухчасовой беседы с мужем, она сказала ему, что разрешение на поездку ею уже получено и на следующий день она выезжает вслед за ним. У них было тогда трое маленьких детей, две девочки и мальчик, но их не разре-

шили взять с собою, и она оставила детей у бабушки, Екатерины Федоровны.

В Москве Муравьева на короткое время остановилась, и 28 декабря 1826 года возок ее тронулся в дальний сибирский путь.

Приняв решение последовать за мужем в Сибирь, она перед отъездом, 15 декабря 1826 года, подала царю прошение, в котором умоляла о снисхождении к ее брату, декабристу З. Г. Чернышеву, который являлся единственной опорой для больного отца, умирающей матери и пяти сестер, «едва покинувших младенческий возраст, но уже увядших от слез и печали». Но Николай I не внял ее просьбе, и вслед за нею, в апреле 1827 года, ее брата, З. Г. Чернышева, также привезли в Читинский острог.

* * *

С волнением приближалась Муравьева к Чите. Она надеялась, что здесь снова начнется, хотя и в условиях каторги, ее нормальное человеческое существование с мужем. Но уже в день приезда ей объявили, что она должна жить отдельно и имеет право видаться с ним лишь дважды в неделю, по одному часу, и то в присутствии дежурного офицера.

Это было тяжелое разочарование. Она поселилась в небольшом домике против окруженного высоким частоколом острога, где содержались декабристы. Из окна домика она видела мужа, когда он отправлялся с товарищами на работу, а из слухового окна на чердаке могла видеть все, что делается на тюремном дворе. Так она мысленно проводила с ним целые дни и дышала одним с ним воздухом.

Из своего крошечного слухового окна она могла наблюдать жизнь еще двух находившихся в остроге близких ей людей — брата мужа, А. М. Муравьева, и своего брата, З. Г. Чернышева.

Привезенное ею пушкинское послание «Во глубине сибирских руд...» глубоко тронуло декабристов. В многочисленных списках оно быстро распространилось среди них. И сразу же декабрист поэт А. И. Одоевский написал свой ответ Пушкину:

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя...

Муравьева привезла с собою в Читу еще одно пушкинское послание, обращенное к лицейскому товарищу и другу поэта, декабристу И. И. Пущину, но ни его, ни другого их близкого лицейского товарища, В. К. Кюхельбекера, в Чите тогда еще не

было. Оба они продолжали томиться в крепостях — один в Шлиссельбургской, другой в Динабургской, — и лишь через год, 5 января 1828 года, когда Пущин прибыл в Читту, Муравьева подозвала его к окружавшему тюрьму частоколу и через щель протянула листок с пушкинским стихотворением:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом запесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит оп заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Стихотворение это было написано 13 декабря 1826 года в Пскове.

* * *

Документы семейного архива, дневники и письма Муравьевых дают возможность судить об обаятельном облике Александры Григорьевны Муравьевой. Это было прекрасное существо, романтически настроенное, хрупкая, трогательно нежная женщина, идеальный образец жены и подруги революционера-изгнанника. Декабристы считали ее «незабвенной спутницей нашего изгнания» и в своих записках и письмах тепло и залушевно вспоминали ее.

«Во время оно я встречал Александру Григорьевну в свете, потом видел ее за Байкалом, — вспоминал И. И. Пущин. — Тут она явилась мне существом, разрешающим великолепно новую трудную задачу. В делах любви и дружбы она не знала невозможного: все было ей легко, а видеть ее была истинная отрада...

Душа крепкая, любящая поддерживала ее слабые силы. В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя во взаимоотношениях она была необыкновенно простодушна и естественна. Это составляло главную ее прелесть. Непринужденная веселость с доброй улыбкой на лице не покидала ее в самые тяжелые минуты первых годов нашего исключительного существования. Она всегда умела успокоить и утешить — придавала бодрость другим. Для мужа была неусыпным ангелом-хранителем и даже нянькою».

«Она всякий раз была счастлива, когда могла говорить о своих, — вспоминал И. Д. Якушкин. — Часто она тосковала о своих детях, оставшихся в Петербурге... Ее единственной отрадой была дочь, родившаяся в Чите, Нонушка, она не чаяла в ней души... Мужа своего она обожала. Один раз на мой вопрос, в шутку, кого она более любит, мужа или бога, она мне отвечала, улыбаясь, что сам бог не взыщет за то, что она Никитушку любит более. И вместе с тем она была до крайней степени самоотверженна, когда необходимо было помочь кому-либо и облегчить чью-либо нужду или страдания... Она была воплощенная любовь, и каждый звук ее голоса был обворожителен».

«Наша милая Александра Григорьевна, с добрейшим сердцем, юная, прекрасная лицом, гибкая станом, единственно белокурая из всех смуглых Чернышевых, разрывала жизнь свою сожигающим чувством любви к присутствующему мужу и к отсутствующим детям. Мужу своему показывала себя спокойною, даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной». Такой запечатлена Муравьева и в воспоминаниях А. Е. Розена. Документы семейного архива и личный дневник говорят о том, что Александра Григорьевна, «далекая от политики, поняла бескорыстие революционного подвига и возвела на героический пьедестал заточенного и обвиняемого мужа... Задолго до официального приговора отбрасывает от себя всякие иллюзии... и заранее хлопочет о разрешении на поездку... Ее ничто не пугает...»

Отличительной чертой в характере Александры Григорьевны была теплота сердца, изливавшаяся почти независимо от нее самой на всех окружающих. Когда она могла быть кому-либо полезна, забывала всех своих и себя. В казематы она ежедневно посылала товарищам мужа обеды и, заботясь о других, нередко забывала об обеде для себя и для своего «Никитушки».

Таков нарисованный самими декабристами портрет А. Г. Муравьевой. Она первая приехала в Читу, и ей, с ее хрупким здоровьем, слабыми силами и всепоглощающей любовью к людям, пришлось одной, до приезда остальных жен, разрешать на каторге новую, благородную, очень трудную задачу помощи осужденным.

* * *

Письма, которые жены декабристов писали с каторги от имени заключенных, шли в первое время в дом Муравьевой на Фонтанку и отсюда уже рассылались по указанным в них адресам.

В 1827 году, после отъезда А. Г. Муравьевой в Сибирь, Екатерина Федоровна Муравьева переехала в Москву. Здесь жизнь ее была также посвящена заботам о сыновьях, невестке и их друзьях. И здесь дом ее являлся штаб-квартирой, куда родные и близкие декабристов доставляли письма и посылки для далеких изгнанников.

Екатерина Федоровна, горячо любившая сыновей и невестку, отправляла им целые транспорты продовольствия, посылала законными и незаконными путями ежегодно по сорок тысяч рублей и этим поддерживала не только сыновей, но оказывала щедрую помощь и их товарищам по каторге. Она переправила в Сибирь почти всю библиотеку Никиты Муравьева, а жене его, Александре Григорьевне, прислала набор хирургических инструментов и целую аптеку для оказания помощи больным.

Е. Ф. Муравьева два раза в месяц, а иногда и чаще через сибирских купцов Медведева, Мамонтова, Кандинского переправляла в Читу и Петровский завод обозы с провиантом, различной утварью, а также новинками науки, литературы и искусства и корреспонденцией.

Но ко всем тяжелым переживаниям Екатерины Федоровны часто примешивались доносы жандармов, зорко следивших за ней и ее домом — центром сношений с Сибирью...

глава Тринадцатая

«ЮНОШЕСКАЯ ПОЭМА»

Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге... дал нам охоту жить, дал нам политическое существование за пределами политической смерти.

М. А. Бестужев

МИТА... В то далекое время начала прошлого столетия это было небольшое село. Посреди поля тянулась одна-единственная улица с несколькими десятками деревянных домов и покосившихся изб. На

пригорке стояла небольшая церковь, в стороне — тюрьма, обнесенная высоким частоколом из толстых бревен.

Здесь декабристы провели четыре года, и эти годы читинской каторги И. И. Пущин назвал «юношеской поэмой». Здесь собралось восемьдесят два человека, остальные продолжали еще томиться в крепостях. Их временно поместили в старой Читинской тюрьме, а в сентябре 1827 года перевели во вновь отстроенный острог. В нем было четыре помещения для заключенных и комната для дежурного офицера.

Было в этих четырех комнатах тесно, шумно, сумбурно и неудобно, а главное — всегда на людях. Это было особенно тяжело. Уже через много лет, отбыв каторгу и находясь на поселении, М. А. Бестужев так вспоминал эти читинские годы:

«Я часто думаю, что это был какой-то бестолковый сон, кошмар. Читать или чем бы то ни было заниматься не было никакой возможности, особенно нам с братом или тем, кто провел годину в гробовом безмолвии богоугодных заведений: постоянный грохот цепей, топот спящих взад и вперед существ, споры, прения, рассказы о заключении, о допросах, обвинения и объяснения, — одним словом, кипучий водоворот, клокочущий неумолимо и мечущий брызгами жизни. Да и читать первое время было нечего...»

Иногда, получив письмо, декабрист забывался и мысленно уносился из тюрьмы домой, к родным и близким, но вдруг раскрывалась дверь, и молодежь с шумом влетала в комнату, танцуя мазурку и гремя цепями. Это пробуждало от грез и возвращало к действительности.

И все же не сравнить было Читинского острога с Нерчинскими рудниками. Разница была огромная, и оценить это могли только те восемь декабристов, которым пришлось почти год работать в мрачных подземельях Нерчинских заводов.

В Чите рудников не было. Здесь работа была другая, более легкая: декабристы чистили казенные хлевы и конюшни, подметали улицы, копали рвы и канавы, строили дороги, мололи зерно на ручных мельницах.

Но и этой работой тюремщики не очень обременяли заключенных. В воспоминаниях декабристов мы встречаем рассказы о том, как они отправлялись на работу к так называемой «Чертовой могиле».

Уже с утра среди казематских сторожей и в домиках жен декабристов поднималась суета. На место работы несли книги, газеты, шахматы, завтрак, самовары, складные стулья, ковры. Казенные рабочие везли тачки, носилки и лопаты.

Приходил офицер и спрашивал:

— Господа, пора на работу! Кто сегодня идет?

Если слишком уже многие сказывались больными и не хотели идти, он просил:

— Да прибавьтесь же, господа, еще кто-нибудь. А то комендант заметит, что очень мало...

— Ну, пожалуй, и я пойду! — раздавались отдельные голоса.

При этом обычно шли те, кому необходимо было повидаться с кем-либо из товарищей, заключенных в других казематах.

Офицер обычно шел впереди, а по сторонам и сзади шли солдаты с ружьями. Кто-нибудь из декабристов под такт мерного бряцания цепей запевал песню. Чаще всего это была их любимая революционная песня «Отечество наше страдает под игом твоим».

Место работы превращалось в клуб. Кто читал газету, кто играл в шахматы. Часто, как будто невзначай, с хохотом опрокидывали в овраг наполненную землей тачку или носилки.

Солдаты, а иногда и офицеры угощались остатками завтрака декабристов.

Когда вдали показывался кто-нибудь из пачальников, часовые вскакивали и хватались за ружья с возгласом:

— Да что ж это, господа, вы не работаете?

Начальство проходило мимо, и все снова возвращалось в прежнее положение...

* * *

Общие условия жизни декабристов в Читинском остроге также были другие. Вместо нар в три яруса у них были более или менее сносные места для сна. Был общий стол, простой и здоровый. Обедали по камерам, а дежурные по очереди накрывали столы и разливали чай. На три месяца выбирался «хозяин», который ведал кухней и всем внутренним распорядком; первым «хозяином» был И. С. Повало-Швейковский, полковник, который во главе своей части первым вступил в 1814 году с русскими войсками в Париж.

Было скученно и шумно. Но настроение было бодрое. Каждое из четырех помещений Читинского острога имело свое название. Одно из них носило имя «Москва» — в нем жили преимущественно москвичи, другое называлось «Новгородом» — здесь шли бесконечные и жаркие политические споры, третье — «Псковом», младшей сестрой Новгорода, четвертое, где жили члены Общества соединенных славян, декабристы называли «Вологодой».

Это была своеобразная тюремная вольница...

Вопреки инструкции, Лепарский давал декабристам читать присылавшиеся им журнал «Московский телеграф» и газету «Русский инвалид» с приложениями.

Скоро, однако, последовало общее разрешение получать книги и журналы, и постепенно в Читинской тюрьме образовалась довольно большая библиотека.

Некоторые состоятельные декабристы получили из Петербурга хорошие библиотеки. Получались русские, английские, французские и немецкие газеты и журналы.

Из Петербурга присылали номера издававшейся А. А. Дельвигом «Литературной газеты». В ней часто помещали свои произведения Пушкин и его друзья, и в письме к В. Ф. Вяземской Волконская писала 12 июня 1830 года из Читы, что она была счастлива увидеть в «Литературной газете» имена любимых писателей своей родины и получить некоторые сведения о том, что делается в мире, к которому она уже не принадлежала. Она просила и впредь посылать ей их произведения и писала, что хотела бы абонироваться на журналы и газеты не только на этот год, но и на все время их пребывания в Сибири.

В те дни Волконская получила присланную ей Вяземской поэму Пушкина «Цыганы». Адрес на конверте был написан рукою поэта, и Волконская написала Вяземской, что счастлива была узнать хорошо знакомый ей почерк Пушкина и снова читать то, что восхищало ее во времена более счастливые.

* * *

Комендант был всегда в большом затруднении, когда просматривал полученные для декабристов из Петербурга книги и должен был решить, можно ли пропустить их на каторгу. Сначала, когда книг было мало, он делал на них отметку: «Читал». Но когда книг стало много и они получались на пятнадцати европейских и восточных языках, которых комендант не знал, он не мог уже писать: «Читал». Вместо этого он стал надписывать: «Свидетельствовал».

Декабристы нередко получали из России те или иные запрещенные книги, которые иногда проходили даже через руки чиновников императорской канцелярии. И вместе с тем комендант почему-то не пропускал сочинений Жан-Жака Руссо.

Чтобы послать декабристам ту или иную необходимую им, но запрещенную книгу, приходилось прибегать к различного рода уловкам: выдирали, например, заглавный лист такой книги

и вместо него вклеивали другой, с каким-нибудь невинным названием вроде: «Опыт археологических исследований», и т. п.

К таким же уловкам прибегали жены декабристов и в своей переписке. Не имея, например, права сообщить Муравьевой, что декабристов переведут в ближайшее время из Нерчинских рудников в Читу, Волконская писала на английском языке, что она часто совершает прогулки по берегу реки и что эти чудесные места всегда напоминают ей прекрасные байроновские описания природы, особенно тот отрывок, который начинается стихом: «Мы через две недели покидаем это ужасное место».

Письмо это пришло по назначению, хотя нетрудно было догадаться, что в окрестностях рудников вовсе не было мест, которые могли бы очаровать Волконскую во время ее прогулок с Турбецкой.

И комендант был очень удивлен, когда находившиеся в Чите декабристы и их жены начали готовиться к приезду и приему своих нерчинских товарищей. Он долго допытывался, откуда им стало известно об этом...

В конце концов для просмотра поступающих к декабристам книг и писем назначен был специальный чиновник, более или менее знакомый с иностранными языками.

* * *

В Читинском остроге зародилась и окрепла так называемая «каторжная академия», в которой декабристы из армейских офицеров, получившие в прошлом недостаточное образование, значительно пополнили его.

Большое внимание уделялось изучению иностранных языков. Преподавались английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, польский языки и древние — латинский и греческий.

Декабристы учились не только читать и писать, но и говорить на иностранных языках. И, когда их выговор уж слишком терзал слух, Лунин, знавший английский язык в совершенстве, говорил:

— Читайте, господа, и пишите по-английски сколько хотите, только, умоляю вас, не говорите на этом языке!

Много времени декабристы посвящали в Читинском остроге ученым трудам. Оказавшись вместе, они, в частности, сделали попытку восстановить ход событий восстания 14 декабря. В донесении Следственного комитета обо всем этом было рассказано тенденциозно — декабристы, шаг за шагом, объективно восста-

навливали в памяти все лично пережитое и обычно дополняли друг друга. Но у них не было в руках всех тех материалов, которыми располагали позднейшие историки, и потому они не могли нарисовать полную картину восстания.

Среди декабристов было много образованных людей, людей высокой культуры, и здесь организованы были лекции. Преподавались: военные науки, стратегия и тактика, высшая и прикладная математика, астрономия, физика, химия, анатомия, история России, философия, русский язык и словесность.

Братья Борисовы занимались собиранием коллекций насекомых и растений. Была собрана коллекция местных минералов.

Большое внимание уделялось литературным занятиям. Декабристы писали рассказы и стихи, занимались изысканиями, относившимися к русской старине. Было написано много статей по политическим, экономическим и юридическим вопросам.

* * *

Через год в тюремной ограде выстроили два новых помещения. Одно из них оборудовали под мастерские — слесарную, токарную и переплетную. Другое предназначено было для вечеров и концертов — здесь был «клуб», где своими силами давались концерты.

Мастерские сыграли большую роль в улучшении быта декабристов. Душой этого дела был Н. А. Бестужев, человек необычайно разносторонний: он рисовал портреты декабристов, починал часы, выполнял ювелирные работы, учил шить сапоги. Многие декабристы научились хорошо шить платье, головные уборы и обувь, вязать чулки, переплетать книги, стали отличными поварами и кондитерами. Обучились прекрасно закаливать сталь, научились столярному делу и другим ремеслам. Для ознакомления с ремеслами были выписаны лучшие руководства, чертежи и инструменты.

Декабристы положили в Чите начало развитию огородничества. У жен декабристов были собственные огороды, а на тюремной территории под огороды отведено было большое место. В первый год урожай был плохой, а затем в артельной похлебке появились картофель, репа, морковь. На следующий год засолили в больших бочках шестьдесят тысяч огурцов, которые до того были совсем неизвестны за Байкалом. Излишками картофеля декабристы делились с местными крестьянами. В парниках выращивали даже арбузы, дыни, цветную капусту, спаржу.

В «клубе» устраивались вечера и концерты. Из Петербурга прислали фортепяно. Волконская, обладательница прекрасного голоса, пела; отличными басами обладали братья Александр и Николай Крюковы, выделялся своим голосом А. И. Тютчев. Ф. Ф. Вадковский и Н. Крюков превосходно играли на скрипке, П. Н. Свистунов — на виолончели, А. П. Юшневский — на фортепяно и альте, и вместе они составили хороший квартет. В. П. Ивашев играл на фортепяно и читал свои стихи.

Выступали на этих вечерах и искусные рассказчики. Особенно забавлял всех Лорер, знавший шесть иностранных языков. Он часто не сразу находил нужное слово на русском языке и вставлял в свой рассказ первое попавшееся слово на другом языке. Через два слова в третье он вообще вставлял в свой рассказ иностранные слова. Не находя иногда подходящего слова или оборота, он дополнял свой рассказ жестом или мимикой.

Все его понимали — и смеялись.

Хорошим рассказчиком был и П. В. Аврамов, чтецом — Н. А. Бестужев. В девять часов вечера декабристов обычно запирали в камерах, и тогда они слушали рассказы моряков М. К. Кюхельбекера и К. П. Торсона об их кругосветных плаваниях, а известный в то время историк А. О. Корнилович знакомил их с рассказами и эпизодами из истории России.

Очень шумно декабристы праздновали каждый год, в день 30 августа, именины товарищей, носивших имя «Александр». Их было в Читинском остроге шестнадцать. На столах появлялось в этот торжественный день даже вино, которое доставлялось в обозах из Петербурга, а заключенным удавалось пронести в тюрьму.

Особенно торжественно отмечались «святые годовщины» 14 декабря: устраивался парадный обед, на середину зала выкатывалось фортепяно, и заключенные слушали романсы и арии из опер.

Ко дню пятой годовщины восстания М. Бестужев написал русскую песню на мотив «Уж как пал туман на сине море», посвященную восстанию Черниговского полка и руководителю этого восстания С. П. Муравьеву-Апостолу; в восстании участвовали три брата Муравьевы-Апостолы, младший из них, Ипполит, покончил с собой на поле боя.

Что ни ветер шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.

И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник-червь подточил его.
Закатилася воля-солнышко,
Смертна ночь легла в поле бранное.

Как на поле том бранный конь стоит,
На земле пред ним витязь млад лежит.
Конь, мой конь, скачи в святой Киев-град:
Там товарищи, там мой милый брат...

Отнеси ты к ним мой последний вздох
И скажи: «Цепей я снести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!..»

Песню эту прекрасно исполнил декабрист А. И. Тютчев. Она произвела на всех большое впечатление...

Часто в стенах звучала «Марсельеза», и очень любили декабристы петь арии из оперы «Вольный стрелок» Вебера, которая была переименована в России в «Волшебный стрелок», пользовалась большой популярностью и с большим успехом шла накануне восстания в Петербурге.

На этих торжественных годовщинах декабристы всегда пели гимн «Славянские девы», посвященный поэтом-декабристом Одоевским женам декабристов и положенный Вадковским на музыку.

Так отмечалась одна годовщина за другой, так проходили годы...

* * *

Жены декабристов приехали в Читу одна за другой. Вслед за А. Г. Муравьевой сюда прибыли из Нерчинских рудников вместе с мужьями Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская и из России — Н. Д. Фонвизина, А. И. Давыдова, Е. П. Нарышкина, А. В. Ентальцева и француженка Полина Гебль, вышедшая в Чите замуж за декабриста И. А. Анненкова.

Позже, при переходе из Читы в Петровский завод, приехали А. В. Розен и М. К. Юшневская и последней — француженка Камилла Ле-Дантю, вышедшая в Петровском заводе замуж за декабриста В. П. Ивашева.

Эти одиннадцать женщин, столь разные по складу своих характеров, оказавшись в новых для них и чуждых им условиях, сумели удивительно дополнить друг друга. Вместе с мужьями и их товарищами они прошли свой тяжкий путь от каторги до могилы. «Во глубине сибирских руд», в Нерчинских рудниках, в Читинском остроге, в тюремных казематах Петровского завода и в ссылке они вселяли надежду, будили в декабристах «бодрость и веселье». Они оказывали большое влияние на смягчение нравов местного населения и оставили в Сибири добрую память о себе.

В пустынной и безрадостной тогда Сибири они похоронили свою молодость, свои лучшие годы, но их высокий подвиг любви и самоотвержения приобретал большое общественное значение. Им Николай I обязан был тем, что на протяжении всех тридцати лет его царствования декабристы изо дня в день напоминали ему о своем существовании, вызывая сочувствие к себе всей тогдашней передовой России.

* * *

Жены декабристов познакомились друг с другом в Петербурге сразу после ареста их мужей.

Н. Д. Фонвизина обрела друзей в лице приехавших с юга жен декабристов А. И. Давыдовой и А. В. Якушкиной. Красивая, богато одаренная, разносторонне образованная девушка, она была дочерью костромского помещика Д. А. Апухтина. У них часто бывал генерал М. А. Фонвизин, увлекательно рассказывавший о героических походах русской армии в борьбе с Наполеоном, о битве под Аустерлицем, о своей встрече с Александром I. Не посвящая в подробности, он рассказывал о настроениях, которыми охвачены были тогда члены Тайного общества. Рассказы эти производили большое впечатление, и, когда тридцатичетырехлетний Фонвизин сделал предложение, семнадцатилетняя девушка приняла его по настоянию родителей.

Она вышла замуж и поселилась с мужем в своей подмосковной усадьбе Крюково. Вьюжным январским вечером 1826 года сидели в гостиной. Только что пришла почта. Неожиданно раздался звон бубенцов. Подъехала тройка: это прибыли за Фонвизиним. Через несколько дней он оказался в Петропавловской крепости, а в декабре 1827 года его отправили в Сибирь.

Больших хлопот стоило Фонвизинной добиться разрешения следовать за мужем. У них уже было двое детей, но царь не

разрешил взять их с собой. Уезжая, она оставила детей на попечении бабушки и брата мужа, который также был причастен к делу декабристов.

* * *

А. И. Давыдова приехала к мужу в начале 1828 года из Каменки, «столицы» южных декабристов. Здесь у ее мужа, члена Южного тайного общества, Василия Львовича Давыдова, бывали многие виднейшие декабристы: П. И. Пестель, И. Д. Якушкин, М. Ф. Орлов, М. А. Фонвизин, Н. В. Басаргин, В. П. Ивашев и другие. В Каменке бывал и А. С. Пушкин, приехавший вместе с отцом М. Н. Волконской, известным героем 1812 года: генералом Н. Н. Раевским, который приходился Давыдову сводным братом по матери.

Давыдов определился на военную службу пятнадцатилетним мальчиком. В 1812 году он состоял адъютантом при знаменитом герое Отечественной войны Багратионе, был ранен под Кульмом и Лейпцигом и в чине полковника оставил в 1820 году военную службу.

Давыдов был убежденным сторонником революционных идей тайных обществ. Сохранился его портрет с надписью: «Василий Львович Давыдов, на слова, что тайные общества почти были модою и подражали немецкому Тугенд-бунду, ответил: «Извините, господа! Не к немецкому, не к Тугенд-бунду, а просто к бунту я принадлежал».

Приезжая в Каменку, гости обычно собирались для своих тайных бесед в кабинете Давыдова или в гроте.

А. И. Давыдова вышла замуж очень рано. В 1825 году, когда произошло восстание декабристов, ей было всего двадцать пять лет, а у нее уже было шестеро детей. В один из дней, предшествовавших аресту мужа, она отправилась с детьми на прогулку в ближайший лес. Детские игры были в полном разгаре, когда неожиданно прискакал верховой с письмом от В. Л. Давыдова, который сообщал жене о возможном его аресте и просил срочно уничтожить всю его переписку и другие документы.

Никому не показав вида о случившемся и оставив детей на лужайке, она поехала одна в усадьбу, прошла прямо в кабинет мужа, зажгла камин и, не разбирая бумаг, все сожгла. Погибла вся переписка В. Л. Давыдова с членами Тайного общества.

Необходимо сказать, что, приезжая в Каменку, Пушкин жил обычно не в большом доме, где всегда было очень шумно, а в небольшом «сереньком домике» с колоннами — так называемой бильярдной, окруженной небольшим садом.

Здесь в беседах и политических спорах члены Тайного общества часто засиживались до рассвета, а днем, растянувшись на билльярде, работал Пушкин. Никто не мешал ему здесь, а старый слуга охранял его покой и никого не пускал к нему, чтобы не отрывать поэта от работы. Здесь, в Каменке, Пушкин написал поэму «Кавказский пленник», которую посвятил своему близкому другу Н. Н. Раевскому-сыну, и стихотворения «Редает облаков летучая гряда» и «Я пережил свои желанья».

Когда Пушкин заканчивал работу, В. Л. Давыдов обычно запирал «серенький домик», а всюду разбросанные поэтом черновики стихотворений и записей тщательно собирал и хранил.

Все эти драгоценнейшие пушкинские автографы также погибли в огне, вместе с сожженной А. И. Давыдовой перепиской мужа...

6 января 1826 года Давыдов был арестован в Каменке, отправлен в Киев, оттуда в Петербург и 21 января заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

Многих из тех, кто бывал в Каменке, Давыдова знала лично и, приехав в Читу, встретила с ними. Все они вспоминали вместе те далекие дни.

Уезжая, она оставила в Каменке, на попечении бабушки, своих шестерых детей — трех мальчиков и трех девочек.

* * *

Почти одновременно выехали в Читу жены декабристов Е. П. Нарышкина и А. В. Ентальцева.

Нарышкина была единственной дочерью известного героя 1812 года графа П. П. Коновницына, искусного полководца и прекрасного человека, которого В. А. Жуковский воспел в своем стихотворении — «Певец во стане русских воинов»:

Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый...

Нарышкина получила прекрасное образование, была умна и остроумна, но характера несколько замкнутого. Все очень любили ее.

Муж ее, полковник Михаил Михайлович Нарышкин, член Союза Благоденствия и Северного тайного общества, приговорен был за участие в восстании декабристов к двенадцати годам каторжных работ и поселению. Брат, П. П. Коновницын, также был членом Северного тайного общества. Его лишили чинов и дворянства и разжаловали в солдаты.

Уезжая в Сибирь, Нарышкина не оставила на родине детей. Ее единственная дочь скончалась в Москве еще до осуждения мужа. Нарышкиной было двадцать шесть лет, когда она присхала на каторгу. Она писала матери, что поездка эта необходима для ее счастья, что она обретет в ней душевный покой. Мать тепло и сердечно проводила ее в путь...

Нарышкина и Ентальцева въезжали в Читу в яркий майский день 1827 года. Уже издали они увидели окруженный частоколом Читинский острог.

Услышав за частоколом голоса, Нарышкина остановила лошадей, заглянула в щель и увидела мужа. Это было слишком неожиданно. Она громко позвала его. Он узнал голос жены и, гремя кандалами, подбежал к частоколу. Оба прильнули к небольшой щели.

Незнакомый ей тюремный облик мужа, обстановка, в какой она увидела его через год после свидания в Петропавловской крепости, и звон кандалов настолько потрясли молодую женщину, что она потеряла сознание.

Быстро открыли ворота, привели Нарышкину в чувство и после короткой встречи с мужем увели к Муравьевой, которая на первое время приютила ее у себя.

* * *

Жизнь Александры Васильевны Ентальцевой лишена была ярких страниц. Ни одной из жеп декабристов не пришлось столько претерпеть и выстрадать, сколько выпало на ее долю из-за тяжелой и длительной душевной болезни мужа.

Женщина живая и умная, она много потрудила над своим образованием. Родителей она лишилась еще в детстве. С Москвой, где она жила, ее ничто не связывало, и когда муж, член Южного тайного общества подполковник Андрей Васильевич Ентальцев, был приговорен к двум годам каторжных работ и поселению, она сразу же последовала за ним в Читу.

Здесь они оставались лишь несколько месяцев. Отбыв назначенный ему срок каторги, Ентальцев был отправлен на поселение в Березов.

* * *

23 декабря 1827 года из большого московского барского дома А. И. Анпенковой уезжала в Сибирь, к ее сыну, декабристу Ивану Александровичу Анпенкову, молодая французженка Полина Гейль.

Было одиннадцать часов вечера. Во французском театре, рядом с домом Анненковой, только что окончился спектакль. Выходившие из театра французы окружили возок, в котором сидела Полина Гебль, попрощались с нею и пожелали ей доброго пути. Необычайную историю ее молодой жизни знали почти все проживавшие в Москве соотечественники-французы.

Жизнь ее сложилась необычно.

Дочь полковника наполеоновской армии Жоржа Гебль, Полина Гебль родилась 9 июня 1800 года в Лотарингии, в замке Шампани, близ Нанси. Ей было четыре года, когда Наполеон в сопровождении своего верного мамелюка Рустаана объезжал лагерь войск в Булонском лесу. Отец взял ее с собою. Она помнила палатку, в которой останавливался император, — обыкновенную солдатскую палатку, обставленную внутри просто и незатейливо: железная кровать, стол и маленькое зеркало составляли всю ее мебелировку. На стене висели серый плащ и треуголка.

Ей было девять лет, когда, направляясь в Париж, Наполеон остановился в Вуа, близ Нанси. Только что погиб ее отец. Она подошла к императору, когда он садился в карету, и просила помочь осиротевшей семье...

Девочка видела знаменитую комету 1812 года и помнила, как французские войска отправлялись с Наполеоном в поход на Россию. В этом походе участвовал и дядя девочки.

— Бог знает, вернусь ли я, — сказал он, — мы идем сражаться с лучшими в мире солдатами — русские не отступают.

Он и не вернулся, погибнув под Бородином. Девочка видела печальное возвращение во Францию остатков разбитой наполеоновской армии.

Ей было четырнадцать лет, когда 14 декабря 1814 года донские казаки вступили в Сен-Мийель. За ними потянулись пруссаки, баварцы, саксонцы, австрийцы. Русские выгодно отличались от всех своей простотой и обходительностью.

Девочка сидела в кругу подруг, мечтавших о своем будущем. Она была моложе всех и, смеясь, сказала:

— Я ни за кого не пойду, разве только за русского...

— У тебя странная фантазия, — ответили подруги. — Где же взять тебе русского?..

Какая-то неведомая сила влекла ее в Россию, в эту далекую и неизвестную ей тогда страну. Все устраивалось как-то неожиданно, помимо ее воли, рассказывала впоследствии Полина Гебль.

Она проработала несколько лет в Париже, а в конце 1823

года получила предложение ехать в Москву в качестве старшей продавщицы большого модного магазина Деманси, на Кузнецком мосту.

За полгода до событий 14 декабря 1825 года Полина Гельб познакомилась в Москве со своим будущим мужем, поручиком Иваном Александровичем Анненковым. Ему было в то время 23 года.

Оба были молоды и полюбили друг друга, но выйти замуж за Анненкова Полина Гельб отказалась: слишком различно было их общественное положение, и мать Анненкова не давала на это согласия.

Вся Москва знала жившую в сказочной роскоши мать будущего декабриста, Анну Ивановну Анненкову, «la reine de Golconde» — «царицу Голконды», как ее называли в светских кругах, по имени небольшого, богатого алмазами городка в Индии.

У нее было несколько имений, большой дом в Москве и роскошная дача в Сокольниках. Иностранцы приезжали осматривать ее замечательные оранжереи и великолепные апартаменты с дверями из цельного богемского хрусталя.

И, конечно, нельзя было рассчитывать, что эта надменная богатая женщина даст согласие на брак своего сына, блестящего кавалергарда, с бедной продавщицей модного магазина.

Незадолго до восстания молодые люди встретились в Пензе. Анненков приехал закупать лошадей для своего Кавалергардского полка. Полина Гельб прибыла на пензенскую ярмарку с модными товарами своего торгового дома.

Им уже трудно было расстаться, когда Анненков, закупив лошадей, должен был объехать имения своей матери в Пензенской, Симбирской и Нижегородской губерниях. Они поехали вместе.

В одной из деревень Анненков предложил Полине Гельб обвенчаться. В маленькой сельской церкви их уже ждал готовый совершить обряд священник с двумя свидетелями, но девушка решительно отказалась вступить в брак без согласия матери Анненкова.

В ноябре они вернулись в Москву. В это время пришло известие о неожиданной смерти в Таганроге императора Александра I. У Анненкова стали часто собираться друзья и товарищи. Из их разговоров Полина Гельб узнала о существовании Тайного общества. Анненков не скрыл от нее, что в случае неудачи его ожидают крепость или Сибирь. Полина Гельб тогда же заявила, что разделит его судьбу — что бы с ним ни случилось.

2 декабря 1825 года Анненков простился с ней и уехал в

Петербург. Это было их последнее свидание на воле — они встретились уже в Петропавловской крепости и затем, после долгих и тяжелых лишений, в далекой Сибири.

* * *

Полина Гебль была в Москве, когда арестовали Анненкова. 11 апреля 1826 года у нее родилась дочь, она тяжело заболела и лишь через три месяца могла выехать в Петербург. Она начала хлопотать о разрешении свидания с Анненковым, но получила отказ: свидания разрешались лишь женам и самым близким родственникам, а она еще не была обвенчана с Анненковым. Через крепостного унтер-офицера ей удалось получить от Анненкова короткую записку, первую после ареста. В ней было всего несколько слов на французском языке: «Где же ты, что ты сделала? — спрашивал Анненков. — Боже мой, ни одной иглы, чтобы уничтожить мое существование...»

Тот же унтер-офицер помог Полине Гебль пройти в Петропавловскую крепость и увидеть Анненкова. Ей удалось даже однажды передать ему медальон с запиской: «Я последую за тобою в Сибирь».

Вид Анненкова поразил ее. Вместо блестящего кавалергарда, которого она знала, мимо нее проходил сосредоточенный небритый человек, одетый в какой-то странный костюм из серой нанки; на голове его был простой картуз.

* * *

Мать Анненкова не очень печалилась о сыне и мало заботилась о нем. Между тем началась отправка декабристов в Сибирь, со дня на день могли отправить и Анненкова. Полина Гебль задумала вырвать его из Петропавловской крепости и увезти за границу.

На это нужны были деньги, много денег, и она решила всеми возможными и невозможными путями добиться свидания с матерью Анненкова, хотя знала, что попасть к ней было легко.

Полине Гебль было известно о необычайном даже в те времена образе жизни этой чрезмерно богатой, избалованной русской барыни, единственной дочери Якобия, самодержавного иркутского генерал-губернатора в эпоху Екатерины II. Но то, что она увидела в доме Анненковой, когда ей удалось наконец попасть к ней, выходило за пределы всякой фантазии.

Дом Анненковой был огромный, до ста пятидесяти человек составляли ее домашнюю свиту. Она не выносила никакого движения и шума около себя, многочисленные лакеи ходили по комнатам в чулках, никто не смел при ней громко разговаривать.

В официантской комнате сидело постоянно двенадцать лакеев, на кухне было четырнадцать поваров, огонь поддерживался там круглые сутки, так как ни для сна, ни для завтраков, ни для обедов не было положенных часов.

Туалет свой Анненкова совершала необычным образом: ее окружали семь красивых девушек, из которых одна ее причесывала, а на других были надеты различные принадлежности ее туалета; она не надевала ни белья, ни платья без того, чтобы кто-либо предварительно не согрел их. В доме проживала очень толстая немка, которая за полчаса до выезда согревала то место в карете, на которой должна была сесть Анненкова.

Стол ежедневно накрывался на сорок приборов, но сама она большей частью обедала в своей комнате, куда вносился уже накрытый на четыре прибора стол.

Сундуки в доме Анненковой были наполнены дорогими мехами, редкими кружевами, различными драгоценностями и тканями. В магазинах она пользовалась неограниченным кредитом. Если ей нравилась какая-нибудь ткань, она покупала ее целыми кусками, чтобы ни у кого больше не было такой.

Всем хозяйством Анненковой ведала ее дальняя родственница, некая Перская. Ей привозили и сдавали все доходы с многочисленных имений, причем деньги без счета сыпались в ящики комода. Никто точно не знал, сколько поступало денег и сколько расходовалось.

Естественно, что воровство в доме было необычайное, и постепенно все имения Анненковой оказались заложенными и перезаложенными, огромный дом и дача были проданы, а когда Анненкова умерла, в 1842 году, средства ее были уже довольно ограничены.

Лишь благодаря вмешательству родственников была спасена небольшая часть состояния, которая перешла впоследствии к ее сыну, когда он вернулся из ссылки.

Вот перед этой своенравной и сумасбродной женщиной предстала, вернувшись из Петербурга, Полина Гебль. Анненкова была подготовлена к ее визиту и к десяти часам вечера послала за нею карету. Полина Гебль приехала сразу же, но Анненкова заставила ее, прежде чем допустить к себе, просидеть несколько часов в приемной.

Наконец ее пригласили. Обе волновались. Но в этот тяжкий и решительный час свидания с матерью Анненкова в молодой француженке проснулось то чувство гордости и сознания собственного достоинства, которое заставляло ее избегать Анненкову раньше, когда сын ее был богат и знатен. Сейчас, когда он был глубоко несчастен, она могла прямо смотреть в глаза этой надменной русской барыне.

Было два часа ночи. Старуха сидела в большом кресле, в пышном белом ночном туалете. Полина Гебль была вся в черном. Она, видимо, произвела на Анненкову хорошее впечатление: та неожиданно поднялась, обняла невестку и зарыдала.

Когда Анненкова пришла в себя, молодая женщина рассказала ей о своем намерении увести ее сына за границу.

Старуха резко прервала ее:

— Мой сын — беглец!.. Я никогда не соглашусь на это, он честно покорится своей судьбе...

— Это достойно римлянина, — ответила француженка, — но их времена уже миновали...

Первое свидание длилось недолго, но красивая и приветливая Полина Гебль пленила Анненкову. Она стала ежедневно посылать за ней карету и все более привязывалась к невестке. Чтобы развлечь ее, она устраивала в своих пышных палатах блестящие вечера и меньше всего думала о том, что сын ее находился в это время в темном, сыром каземате и нуждался в самом необходимом.

Лишь через восемь дней Полине Гебль удалось вырваться из Москвы. Расставаясь с ней, Анненкова вручила ей для передачи сыну кольцо с большим брильянтом.

* * *

В Петербурге Полину Гебль ждало тяжелое известие: Анненков думал, что она совсем оставила его, и пытался повеситься. Его нашли в камере на полу, без чувств. Узнав об этом, Полина Гебль тут же бросилась в крепость. Была уже ночь. По Неве шел большой лед, и мосты были разведены. Перебраться на другую сторону без опасности для жизни было невозможно. Случайно она нашла на берегу яличника, который после долгих уговоров и за значительную плату согласился перевезти ее. Лестница набережной была вся покрыта льдом, и Полина Гебль вынуждена была, ободрав до крови руки, спуститься в ялик по веревке.

Было темно и холодно, дул сильный ветер, ялик все время

сотрясался от ударов плывущих льдин. Лишь после одиннадцати часов Полина Гебль добралась до крепости.

Продрогшая и измученная, она дошла до офицерского корпуса и, наткнувшись на ноги спавших на полу солдат, добралась до комнаты знакомого тюремного офицера. Она сказала, что ей необходимо во что бы то ни стало немедленно видеть Анненкова. Офицер заявил, что в такой поздний час ночи это совершенно невозможно, но, польстившись на обещанный подарок, заколебался.

Через несколько минут Полина Гебль и Анненков встретились за каким-то стоявшим в стороне зданием.

Присланное матерью кольцо с брильянтом он сначала принял, но затем вернул.

— Все равно отнимут, — сказал он, — ведь нас скоро отправят в Сибирь...

Тогда Полина Гебль сняла с руки другое кольцо, состоявшее из двух тоненьких колечек. Одно из них она передала Анненкову, другое оставила у себя. Она обещала привезти его сама или прислать, если ей не удастся добиться разрешения на выезд в Сибирь.

Они попрощались. На этот раз надолго. Это было 9 декабря 1826 года.

* * *

Полина Гебль имела в то время рядом с крепостью вторую квартиру. Через несколько минут она была у себя дома. Усталая до предела и измученная, она села за стол, чтобы написать Анненкову письмо и, на случай его отъезда, сказать ему то, что не успела сказать при свидании.

Неожиданно среди ночи она услышала звон колокольчиков и свист ямщиков. Почуввав недоброе, она вскочила и быстро оделась. В эту минуту к ней вбежала жена офицера, который устроил ей свидание с Анненковым, и сообщила, что сразу после ее ухода в крепость въехали несколько повозок с фельдъегерем и жандармами. Из казематов вывели закованных в цепи четырех узников, в том числе Анненкова, и увезли... Была дорогá каждая минута, и Полина Гебль решила прежде всего выяснить, куда увезли Анненкова. Она вспомнила про двоюродного брата И. А. Анненкова, который был адъютантом великого князя Михаила Павловича, и направилась к нему. Ялычника уже не было. Пришлось нанять извозчика и искать место на Неве, где лед уже стал и где можно было бы перебраться через реку в санках.

У Смольного ей это удалось, и на рассвете она вошла в большой, ярко освещенный великокняжеский дворцовый зал.

Уже через час ей сообщили, что Анненкова увезли в Сибирь.

Было совсем светло, когда она подъезжала к первой от Петербурга почтовой станции, через которую должны были провезти Анненкова. Она никого уже не застала там, но из записи в почтовой книге выяснила, что декабристов увезли в Иркутск.

После неожиданных и волнующих событий этой ночи она нашла в себе еще силы зайти в Петропавловскую крепость. Знакомый солдат передал ей написанную рукою Анненкова записку. В ней было всего три слова: «Встретиться или умереть!»...

Полина Гельб сразу начала хлопотать о разрешении выехать в Сибирь. В мае 1827 года она узнала, что Николай I собирался на большие маневры под Вязьмой, и выехала туда, чтобы подать царю ходатайство о разрешении последовать за Анненковым в Сибирь. Она писала в нем:

«Позвольте матери просить, как милости, разделить ссылку моего гражданского супруга. Религия, ваша воля, государь, и закон научат нас, как исправить нашу ошибку. Я всецело жертвую собой человеку, без которого я не могу долее жить. Это самое пламенное мое желание. Я была бы его законной супругой в глазах церкви и перед законом, если бы захотела преступить правила деликатности. Я не знала о его виновности; мы соединились неразрывными узами. Для меня было достаточно его любви... Соболаговолите, в виде особой милости, разрешить мне разделить его изгнание. Я откажусь от своего отечества и готова всецело подчиниться вашим законам...»

В день маневров ей удалось подойти к царю, чтобы вручить свою просьбу. Николай I отрывисто спросил:

— Что вам угодно?

— Sire, je ne parle pas russe, je veux implorer la grâce de suivre en exil le criminel d'Etat Annenkoff¹.

— Кто вы, его жена?

— Нет, но я мать его ребенка...

— Это не ваша родина, сударыня, там вы будете очень несчастны! — сказал царь.

— Я знаю, государь, и готова на все! — ответила Полина Гельб.

Николай I приказал своему министру Лобанову-Ростовскому принять прошение француженки...

¹ — Государь! Я не говорю по-русски. Я хочу вымолить милостивое разрешение следовать в ссылку за государственным преступником Анненковым (франц.).

Уже глубокой осенью, в ноябре 1827 года, Полину Гебль вызвали в канцелярию московского генерал-губернатора Д. В. Голицына и сообщили, что царь разрешил ей ехать в Сибирь. Взять с собою ребенка ей не позволили.

* * *

Родная Лотарингия, Наполеон, комета 1812 года, разбитые французские войска, заговор декабристов, Петропавловская крепость, Николай I — вся эта яркая, пестрая, почти фантастическая цепь событий ее жизни пронеслась перед мысленным взором Полины Гебль, когда через два года после восстания она садилась в кибитку, чтобы следовать в далекую Сибирь.

Как это имело место при проезде Трубецкой и Волконской, иркутский губернатор Цейдлер под разными предлогами пытался удержать Полину Гебль от дальнейшей поездки. И лишь через полтора месяца, убедившись, что Полина Гебль не откажется от своего решения ехать к Анненкову, отпустил ее наконец. До Читы она доехала быстро. Проезжая мимо одного из домов, Полина Гебль увидела стоявшую на балконе молодую женщину. Это была А. Г. Муравьева, жившая в этом доме вместе с Е. П. Нарышкиной.

Увидев с балкона красивую и хорошо одетую женщину, Муравьева поняла, что это гостя из далекой России. О том, что должна была приехать Полина Гебль, уже было известно, и Муравьева предложила ей поселиться пока у нее.

Полина Гебль хотела сразу же идти к Анненкову, но Муравьева разочаровала ее.

— Видеть кого-либо из заключенных, — сказала она, — все не так просто, как это вам кажется. Это каторга...

За разрешением на свидание Полина Гебль обратилась к коменданту Лепарскому, и лишь на другой день она увиделась наконец с Анненковым.

Через несколько дней, 5 апреля 1828 года, состоялось ее венчание с декабристом Анненковым. Было ясное утро ранней весны. У читинской церкви толпился народ, но заключенным не разрешено было присутствовать при совершении обряда.

В церкви находились жены декабристов. Посаженым отцом был комендант генерал Лепарский, посаженной матерью — Фонвизина, шаферами — декабристы, товарищи Анненкова.

Из батистовых женских платочков для них изготовили белые галстуки и даже накрахмалили воротнички.

Лепарский послал за Полиной Гебль свой экипаж и, когда

приходила к частоколу со складным стулом, а заключенные собирались кружком внутри тюремного двора по ту сторону частокола, и каждый ждал своей очереди для беседы.

Эти вечерние встречи у частокола Одоевский запечатлел в своем посвященном М. Н. Волконской стихотворении:

Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе там рожденный,
Не услаждал страдальческих очей;
Где душен был и воздух, вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал,
И весь обзор, обширный и прекрасный,
Мучительно на волю призывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены.
И вестницы благие PROVIDЕНЬЯ
Явились, как дочери земли,
И узникам, с улыбкой утешенья,
Любовь и мир душевный принесли.

И каждый день садились у ограды
И сквозь небесные уста
По капле им точили мед отрады...
С тех пор лились в темнице дни, лета;
В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного,
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили покровы своего.

* * *

Постепенно в Чите образовалась так называемая Дамская улица — жены декабристов выстроили себе в Чите простые, удобные жилища, — но установленный в то время в Читинском остроге режим был довольно строгий. Декабристам разрешалось посещать своих жен только в случае их серьезной болезни, а жены могли навещать мужей лишь в остроге. Свидания происходили в отведенной для этого маленькой комнатке, всегда в присутствии тюремного офицера.

С приездом жен декабристов наладилась и постоянная связь заключенных с родными. Сами они не имели права писать писем, и это делали за них находившиеся в Чите жены декабристов. Больше всего писем, иногда по двадцать — тридцать, почтой или оказией отправляли Волконская и Трубецкая.

Письма из Читы проходили через цензуру коменданта, иркутского губернатора, иногда даже самого Николая I, но в конце концов большею частью все же доходили по назначению. Декабристы начали получать из России ответные письма, деньги, посылки.

Еженедельно в Читу отправлялось на имя Волконской письмо из Зимнего дворца, от матери С. Г. Волконского, обергофмейстерины трех императриц, кавалерственной дамы ордена святой Екатерины 1-й степени, статс-дамы А. Н. Волконской, носившей на груди осыпанный алмазами медальон с портретом императрицы.

Придворная до мозга костей, она придавала особое значение соображениям придворного этикета и лично не писала сыну. За нее это делала ее компаньонка, Жозефина Тюрненже.

Тоненькая, худенькая, в клетчатом шелковом платье, в большом чепце из лент на голове, эта француженка была своеобразным центром семьи. Декабрист Волконский называл ее сестрой.

Каждую пятницу из Зимнего дворца шло написанное ее мелким, бисерным почерком письмо, в котором она точно и правдиво сообщала М. Н. Волконской все петербургские новости. Тут были сведения о помолвках, свадьбах, рождениях, крестинах, болезнях, лечении.

Она переписывалась и со всеми находившимися за границей членами семьи Волконских. Отовсюду к ней стекались новости, и от нее Волконские узнавали друг о друге. На протяжении многих лет она поддерживала эту непрерывную связь между всеми членами семьи, а после 14 декабря — и с декабристами.

Сама старуха Волконская, грузная, в атласном платье, сидела за столом, раскладывала пасьянс и диктовала письма, в том числе своему сыну, декабристу С. Г. Волконскому...

Письма с родины приносили с собою радости и печали. Радостно было читать написанные любимой рукой строки и грустно было сознавать, что надежды на возвращение из Сибири с каждым днем, с каждым годом тают и мало кому уже суждено увидеть оставшихся дома родных.

Жены жили двойственной жизнью. Мысли о Петербурге и оставшихся там близких никогда не покидали их. А настоящее

было: тюрьма, звон кандалов, стража с ружьями за плечами, комендант в генеральской шинели, окрики часовых, скудные свидания с мужьями дома и у тюремного частокочла, радостные улыбки при случайных встречах с возвращавшимися с работ декабристами, запретное общение с населением, работа на огородах, поваренная книга и приготовление обедов заключенным, вечерние грустные прогулки к маленькому сельскому кладбищу...

Жизнь на каторге в условиях николаевского режима научила жен декабристов быть сдержанными в своих письмах. Они знали, что письма их проходят через III отделение, и потому не часто касались в них наиболее тяжелых сторон своей личной жизни. Свои мысли они излагали так, чтобы к ним не могли придаться ни царь, ни Бенкендорф.

Волконская была особенно сдержанна. Она часто пишет в Петербург, но большинство ее писем обращены к матери, сестре мужа и к жене младшего брата, Николаю Раевского. Ее письма к братьям редки: они до конца дней своих не могли примириться с ее решением оставить ребенка и уехать в Сибирь и к ее мужу, Сергею Григорьевичу, относились неприязненно.

Лишь старшая сестра, Екатерина, сама пережившая тревогу за мужа, декабриста М. Ф. Орлова, больше других членов семьи Раевских сочувствовала младшей сестре и осмелилась поднять голос в ее защиту, когда та боролась за отъезд к мужу в Сибирь.

И только младшая сестра, Елена Раевская, не забывала добавлять в письме к Марии Николаевне поклон — «Сергею».

Это внимание так же дорого ценилось Марией Николаевной, как больно огорчало невнимание и враждебное отношение братьев.

Младший брат, Николай, написал Марии Николаевне свое первое письмо только в 1832 году, через шесть лет после ее отъезда в Сибирь, уже после смерти их отца, и письмо это дышало непримиримостью. Он писал ей:

«Не удивляйся моему молчанию с 1826 года. Ты говоришь мне о своем муже с фанатизмом. Не сердись на мой ответ. Я никогда не прощу ему... он сократил жизнь нашего отца и был причиной твоего несчастья. Вот мой ответ, и ты никогда не услышишь от меня другого».

Непримиримо относилась к М. Н. Волконской и ее мать Софья Алексеевна Раевская. Она писала ей в Сибирь в 1829 году:

«Вы говорите в письмах сестрам, что я как будто умерла

для вас... А чья вина? Вашего обожаемого мужа... Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечайте мне, я вам приказываю...»

Отношение отца, генерала Н. Н. Раевского, было справедливое и сердечное. Он писал дочери:

«Муж твой виноват перед тобой, пред нами, пред своими родными, но он тебе муж, отец твоего сына, и чувства полного раскаяния и чувства его к тебе, все сие заставляет меня душевно сожалеть о нем и не сохранять в моем сердце никакого негодования, я прощаю ему и писал это прощение на сих днях».

* * *

На каторге Волконская впервые после замужества встречала вместе с мужем наступление Нового года. Из Петербурга она получила в тот день письмо с поздравлениями и одновременно жалобами на разные житейские неприятности.

«Но если вы несчастны, — с горечью отвечала им Мария Николаевна, — то что же я должна сказать... Вы желаете нам счастья в будущем, но судьба наша не изменится и не может измениться. Я не обманываю себя на этот счет... Да не будут ваши драгоценные дни омрачены нашей судьбой, как скоро она неизменима».

В своих письмах в Петербург Волконская умоляет чаще писать о сыне... Между тем ее ждал тяжелый удар: оставшийся в Петербурге у бабушки сын Николенька, ее первенец, 17 января 1828 года скончался...

Известие о смерти своего первенца Волконская восприняла тяжело. Она писала сестре:

«Моя добрая Елена, я так грустна сегодня. Мне кажется, я чувствую потерю моего сына с каждым днем все сильнее; я не могу тебе сказать то, что ощущаю, когда думаю о нашем будущем. Если я умру — что станет с Сергеем, у которого нет никого на свете, кто интересовался бы им? По крайней мере, не настолько, как это сделал бы его сын... Мой бедный Николино мог бы быть со мной и быть нашим утешением в старости».

Со смертью сына оборвалась нить, больше всего связывавшая Марию Николаевну с Россией.

«Дорогой папа, — писала она отцу, — справьтесь о том, какое впечатление произвела на меня смерть моего единственного ребенка. Я замкнулась в самой себе, я не в состоянии, как прежде, видеть своих подруг, и у меня бывают такие минуты упадка духа, когда я не знаю, что будет со мною дальше».

Через год после смерти Николеньки Волконская получила от отца написанную Пушкиным «Эпитафию младенцу кн. Н. С. Волконскому»:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Посылая дочери в письме от 2 марта 1829 года эпитафию, Н. Н. Раевский писал, что его письмо заставит ее поплакать, но Пушкин, писал он, «подобного ничего не сделал в свой век», и сообщил, что строки эти будут вырезаны на надгробной мраморной доске Николеньки.

Волконская благодарила отца за присланную эпитафию и просила выразить Пушкину ее признательность. Гордость не позволила ей написать ему лично, и лишь в письме к брату Николаю, с которым поэт был очень дружен, она писала:

«В моем положении никогда нельзя быть уверенным, что доставишь удовольствие, напоминая о себе своим старым знакомым. Тем не менее скажи обо мне А(лександр) С(ергеевичу). Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти, — настоящее доказательство его таланта и умения чувствовать».

Но Волконская ошибалась... Пушкин до конца своих дней не забывал декабристов, и глубоко тайлось в его сердце воспоминание о юной Марии Раевской: заканчивая, уже в 1829 году, «Полтаву», Пушкин к Марии Николаевне обратил, не называя ее, свое посвящение к поэме:

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

В письме к отцу Волконская писала, что пушкинская эпитафия прекрасна, сжата и полна мыслей, «за которыми слышится столь многое». Это многое была, видимо, попытка Пушкина

напомнить царю о декабристах, находившихся «в изгнании земном», на каторге.

Эпитафия была тогда же высечена на надгробном камне могилы маленького сына Волконской, но самая могила с течением времени затерялась. Лишь в 1952 году на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре в Ленинграде был найден повалившийся набок и так глубоко ушедший в землю саркофаг, что можно было прочесть только две последние буквы первых двух строк пушкинской надписи. Саркофаг выкопали и восстановили в его прежнем виде с высеченными на нем пушкинскими строками...

* * *

Вскоре после смерти сына Волконскую постиг еще один тяжелый удар: 14 сентября 1829 года скончался отец ее, Николай Николаевич Раевский.

Нежную любовь к дочери Раевский сохранил до своего последнего часа. Умирая, окруженный семьей, он сказал, глядя на портрет Марии Николаевны:

— Вот одна из наиболее удивительных женщин, какую я когда-либо знал...

Бисером Волконская вышила в Сибири, на ткани, Сикстинскую мадонну Рафаэля, и этот образ украсил могилу отца, похороненного в своем имении Болтышке, близ Умани.

1 июля 1830 года у Волконской родилась в Чите и в тот же день скончалась дочь Софья. Похоронив девочку, Волконская писала родным: «Во всей окружающей меня природе одно только мне родное — трава на могиле моего ребенка...»

Дети родились в Чите у Трубецкой и Давыдовой. Они стали в центре общего внимания и украсили жизнь изгнанников.

У Муравьевых родилась дочь Софья. Отец называл ее — Соня, потом Ноня, Нонофус и, наконец, Нонушкой. Она стала скоро общей любимицей декабристов, и имя Нонушки сохранила до конца дней; так ее всегда называли декабристы в своих письмах и воспоминаниях.

После полугодового пребывания декабристов в Читинском остроге в Читу неожиданно прибыл, в начале августа 1828 года, из Петербурга фельдъегерь. Он никого не привез и никого не собирался увозить, и декабристы недоумевали, зачем он приехал.

Оказалось, что он привез приказ снять кандалы. Комендант Лепарский явился в острог в полной парадной форме, с лентой через плечо, и объявил о снятии кандалов. Унтер-офицер ото-

мкнул замки, и декабристы с шумом сбросили сковывавшие их цепи.

В первое время декабристам было даже как-то странно ходить без этих тяжелых украшений — слишком привыкли они к ним за два года...

Кому-то удалось оставить у себя кандалные цепи. Из них братья Бестужевы сделали для себя и товарищей кольца, для жен декабристов — браслеты. До наших дней дошло несколько таких колец — их можно видеть во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в городе, носящем имя поэта.

Под руководством Н. Бестужева декабристы научились накладывать на железные кольца тонкий слой золота. Кольца эти пользовались большим спросом. Начали поступать требования на них и из России. Появились подделки, которые продавались как настоящие кольца, сделанные из оков декабристов.

После снятия цепей стало легче дышать, солдаты относились к декабристам мягче и снисходительнее. Им уже разрешено было ежедневно посещать своих жен в их домах, но на ночь они должны были возвращаться в тюрьму.

* * *

Необходимо сказать, что с комендантом, генералом Лепарским, у жен декабристов сложились особые отношения. Он знал, что у многих из них сохранились большие связи с Петербургом, и держал себя не только с ними, но и с декабристами тактично и осторожно — не так, как с остальными каторжниками.

В первое время своего пребывания в Чите декабристы и их жены называли его «сторожем», часто жаловались ему на те или иные неполадки и предъявляли различные требования. Лепарский внимательно выслушивал их и говорил:

— Браните меня, упрекайте меня, но только по-французски, потому что, видите ли, окружающие могут услышать и донести.

Иногда он говорил:

— Дайте мне поконсультироваться с собою. Мне теперь некогда, приходите лучше ко мне: мы затворим двери, и тогда браните меня сколько вам угодно.

Через посредство жен декабристы могли говорить с комендантом, сохраняя чувство собственного достоинства и не подвергаясь ответственности за нарушение тюремных правил. Жены имели возможность частным образом писать и жаловаться в Петербург на несправедливые требования и притеснения.

Не раз, основываясь даже не на действовавших законах и

инструкциях, а лишь на чувстве справедливости и человеколюбия, они вступали с комендантом в борьбу и говорили ему в глаза самые жестокие и колкие слова, называя его тюремщиком и прибавляя, что ни один порядочный человек не согласился бы принять на себя эту должность иначе, как только с тем, чтобы облегчить, насколько это возможно, участь заключенных.

Лепарский отвечал им:

— Не горячитесь, прошу вас, будьте благоразумны! Я сделаю все, что от меня зависит; но вы требуете такую вещь, которая может скомпрометировать меня в глазах правительства. Я уверен, что вы не хотите, чтобы меня разжаловали в солдаты за то, что я нарушил данное мне приказание.

— Ну что ж, — отвечали жены декабристов, — будьте лучше солдатом, генерал, но честным человеком...

Лепарский шутя говорил иногда декабристам:

— Вы знаете, я хотел бы лучше иметь дело с тремястами государственными преступниками, чем с десятью их женами. Для них у меня нет закона, и я часто поступаю против инструкции...

* * *

Тепло и восторженно отзывались декабристы в своих воспоминаниях о последовавших за мужьями на каторгу женах. Декабрист А. Е. Розен писал:

«Во время нахождения нашего на каторжной работе несколько наших товарищей были совершенно забыты и покинуты родными; может быть, таков был бы жребий многих, если бы наши дамы не приехали к мужьям своим, не переписывались бы с нашими родными и письмами своими, и влиянием, и родством не поддерживали бы памятование о многих. Они были нашими ангелами-хранителями и в самом месте заточения: для всех нужд открыты были их кошельки; для больных просили они устроить больницу...

Мы даже изустно не могли благодарить наших благодетельниц оттого, что только издали и изредка видели их сквозь щели частокола, или когда они проходили мимо наших работ, или прогуливались по гористым окрестностям...»

Пока не приехали жены, у декабристов не было ни провизии, ни посуды. Они жили на скудный тюремный паек. Жены сумели наладить хорошее питание.

«Все это присылалось от наших дам, — писал декабрист А. П. Беляев. — Чего не приносили нам от этих чудных добрых существ! Чего должно было им стоить это наше прокормление!

Каких хлопот и забот требовало оно от них лично, потому что это была дикая пустыня... Как они это делали? Где брали все то, что нам присылали? Откуда могли они доставать такие огромные количества провизии, которые нужны были, чтобы удовлетворить такую артель; себе они отказывали во всем...»

Отдавая должное всем женам декабристов, В. К. Кюхельбергер, уже перейдя на поселение, писал М. Н. Волконской:

«Я убежден, что ни одна из них не посетует на меня за то, что я избрал Вас, княгиня, чтобы принести им свои уважения: все, что заключено достойного уважения и прекрасного в каждой из них, все это в наибольшей и чистейшей степени представлено Вами, нашим ангелом-хранителем и утешителем».

* * *

Обозы продовольствия, направлявшиеся женам декабристов из России в Сибирь с верными людьми, доходили полностью и поступали в общее пользование. Посылки же беззастенчиво расхищались почтовыми чиновниками. Жена декабриста Ивашева как-то ждала отправленной ей из Петербурга посылки. Товарищи собрались, чтобы вскрыть ее, и велико было общее разочарование, когда вместо двух отправленных ящичков прибыл один, с припиской: «Разбившаяся в дороге укупорка заменена новой, за которую просят взыскать и выслать деньги...» — столько-то.

Ящик вскрыли, и в нем оказалась какая-то безобразная мешанина: ленточки, кружева, детское белье, перчатки, клочки каких-то измятых рисунков. Словом, все «отполовинили» из обоих ящичков и свалили в один.

М. А. Бестужев вместо посланных ему братом, золотых часов получил старые, помятые. А. М. Муравьев получил вместо посланной ему бобровой шапки старую, изношенную. Вместо посылавшегося из Петербурга хорошего белья декабристы получали часто белье, изготовленное по подрядам для лазаретов...

* * *

Декабристы пробыли в Читинском остроге почти четыре года. В августе 1830 года всех их направили во вновь выстроенную тюрьму в Петровском заводе. Около двадцати декабристов уже успели за эти годы отбыть каторгу и перейти на поселение, и в новую тюрьму переезжало около семидесяти человек.

Всех их ждал впереди еще длительный, двадцатипятилетний путь каторги и ссылки, двадцать пять долгих лет тяжелых лишений и невзгод.

Глава Двенадцатая

В НОВУЮ ТЮРЬМУ С «МАРСЕЛЬЗОЙ»

Мы вступили в тюрьму, как в преддверие гроба, но сердца наши были спокойны, душа тверда.

В. И. Штейнгель

ДЕКАБРИСТЫ переезжали в новую тюрьму. Было пасмурное утро ранней осени. После пяти лет, проведенных в крепостных казематах и тюремных камерах, они впервые дышали полной грудью, наслаждались привольем необозримых полей и лугов, далью синевших на горизонте лесов, срывали цветы с раскинувшегося у их ног полевого ковра.

Это была скорее радостная прогулка, чем утомительное путешествие. Не было цепей, в которых декабристов привезли четыре года назад в Читу. Рядом ехали жены декабристов. Лишь Волконская вынуждена была остаться в Чите: она ожидала ребенка и выехала позже. Мужу остаться с ней не разрешили.

Декабристы были одеты в какие-то странные, необычные наряды. На Волконском была куца женская кацавейка, Якушкин вышел в коротенькой курточке, голову Завалишина украшала круглая шляпа с широчайшими полями, в одной руке он держал палку, в другой — книгу. Долгополые сюртуки, испанские мантии, простые длинные блузы...

«Если бы нас встретил какой-нибудь европеец, только что приехавший из столицы, — вспоминал позже Басаргин, — он непременно подумал бы, что где-то близко тут есть большое заведение для сумасшедших и их вывели гулять».

Выехали двумя партиями. Первая тронулась в путь 7 августа, вторая — 9 августа 1830 года. Впереди и сзади каждой партии шли солдаты с ружьями в руках. Для перевозки больных и вещей были наняты подводы.

Настроение у всех было бодрое. Жители Читы с грустью провожали их.

Декабристы отдали им овощи и плоды со своих огородов, одарили разными вещами на память. Свои жилища и хозяйства жены декабристов вынуждены были побросать. Нарышкина обменяла свой домик на две головы сахару.

Предстояло пройти шестьсот тридцать четыре версты. Переход был рассчитан на полтора месяца. Для дневок выбирали живописные поляны у речных берегов.

Из Читы до Верхнеудинска шла почтовая дорога. Станции находились далеко друг от друга. При каждой из них стоял окруженный песколькими избами станционный домик. Никаких селений по пути не было, обитавшие здесь буряты вели кочевой образ жизни. И потому для дневок и ночевок буряты выставляли по приказу начальства войлочные бурятские юрты, в которых помещалось по четыре человека.

Проводниками служили буряты. На сотни верст тянулись их кочевья, и местами путь пересекали на степных пастбищах огромные табуны белых и серых бурятских малорослых, но очень выносливых лошадей.

Постепенно буряты сближались с декабристами. Они с большим интересом следили за их игрою в шахматы, и Трубецкой предложил одному из них сыграть с ним партию.

По выражению лиц бурят было видно, что они хорошо знакомы с этой игрой, перенесенной в Европу, по-видимому из Индии, и обнаружили большую радость, когда бурят выиграл у Трубецкого партию. И им стало совсем весело, когда Басаргин и Фонвизин тоже проиграли свои партии.

Любопытство бурят возбуждал Лунин. У него было несколько боевых ран, и ему разрешено было ехать в закрытой повозке. Он иногда по несколько дней подряд не выходил из нее, и толпа бурят окружала на остановках его телегу, ожидая, когда таинственный человек покажется наконец или выйдет.

Однажды Лунин показался и спросил:

— Что вам надо?

Переводчик объяснил, что буряты просят сказать, за что он сослан.

— Знаете ли вы вашего тайшу? — спросил Лунин.

— Знаем. Тайша есть главный местный начальник бурят, — раздались голоса.

— А знаете ли вы тайшу, который над вашим тайшей и может посадить его в мою повозку или сделать ему угей (*конец*)?

— Знаем.

— Ну, так знайте, что я хотел сделать угей его власти, вот за что я сослан.

— О! О! О! — раздалось в толпе бурят, и они с низкими поклонами, медленно пятясь назад, стали удаляться от повозки Лунина.

На одном переходе декабристы встретили тайшу, начальника проживавших тогда между Читой и Петровским заводом шести-десяти тысяч бурят.

Он ехал в отличной, запряженной шестериком коляске. На козлах сидел бурят в лисьей шапке, на запятках — еще двое. В коляске находился и сын тайши, мальчик в шелковой зеленой шубе и шапочке, отороченной бобровым мехом и украшенной наверху голубыми шариками из стекла.

На боку у тайши болталась сабля с серебряным темляком, а на шее была золотая медаль на красной ленте. Пересев из коляски на небольшую серенькую лошадь, он сопровождал декабристов до ближайшей стоянки.

На дневке тайша угодил их занимательным зрелищем: приказал выпустить на равнину оленя, которого сам же стал преследовать и свалил искусно пущенными стрелами. Он отдал оленя декабристам, а те отблагодарили его несколькими фунтами табаку, до которого он был большой охотник. Тайша выразил свое восхищение...

Декабристы везли с собою книги. М. Бестужев читал томик произведений французского драматурга Скриба.

«Я не мог выбрать лучшей книги в подобных обстоятельствах, — вспоминал М. Бестужев. — Душа и сердце мое настроены были к поэзии. Прекрасные картины природы, беспрестанно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка, — тень свободы хотя для одних взоров. Ночи совершенно театральные на ночлегах наших — все, все увеличивало удовольствие чтения его милого, цветистого, разнообразного картинами театра. Шум и развлечение, меня окружающие, придавали чтению большую прелесть. Я думал, что я в театре...»

Ночь. Крутом мрак. Небо усеяно звездами. Марс начал свое восхождение, но Михаил Кюхельбекер принял его за Венеру. Это вызвало смех и шутки.

Вокруг стана пылали костры; окружавшие их фигуры принимали на фоне пламени фантастические очертания. Ближко стоявшие деревья напоминали театральные декорации. Между ними двигались люди, слышался смешанный говор. Издали казалось, что это одушевленные живые картины. Все это очаровывало и волновало вырвавшихся из тюремных казематов узников, а декабриста поэта А. И. Одоевского вдохновило на стихи:

Что во кочевья чернеются
Средь пылающих огней?
Идут под затворы молодцы
За святую Русь.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь...

* * *

Вдали показалось озеро, на берегу его — маленькое село, бедная сельская церковь, и на пригорке — покосившийся крест над одипокрой могилой жены смещенного за взяточничество и злоупотребления иркутского губернатора Н. И. Трескина, умершей, как ходили слухи, не своей смертью...

Неожиданно в полуверсте показался скачущий во весь опор фельдъегерь. Для заключенных имело значение малейшее происшествие, любой незначительный факт. Пошли догадки: зачем и за кем он приехал из Петербурга? Связан ли его приезд с облегчением участи декабристов или, наоборот, он привез с собою новые тяготы и ограничения? Вестник добра он или зла?

Скоро стало известно, что фельдъегерь прискал за Волконским, чтобы вернуть его в Читу, где в ожидании родов осталась его жена, Мария Николаевна: в Петербург поступила жалоба, а оттуда последовал приказ вернуть Волконского в Читу...

Шаг за шагом без особых происшествий декабристы приближались к своей новой тюрьме. Казалось, они совершали прогулку по роскошному саду природы. Братья Борисовы собирали коллекции насекомых, доктор Вольф и Якушкин — гербарии сибирской флоры, Ивашев и другие декабристы делали при переходе зарисовки.

Буряты продолжали сопровождать их. Кто-то из декабристов спросил одного из них:

— Знаете ли вы, за что мы сосланы?

— Знай... Султан — так, — ответил бурят и провел ладонью по горлу.

— Не совсем так, — сказал декабрист. — Мы хотели, чтобы всякий бурят был равный перед законом с ханом и генерал-губернатором...

Партия декабристов остановилась на дневку в Ононском бору. «Хозяином» во время этого переезда был Розен, который со дня на день ждал приезда жены. Еще сидя в крепости, во время следствия, Розен часто мысленно представлял себе, что к

пему пришли родители и братья, что рядом с ним находится в камере его жена. Он видел черты ее лица, слышал ее голос. Часто в мечтах переносился в свой дом, припоминая расположение комнат, расстановку мебели и другие так хорошо знакомые ему с детства предметы, — ему ведь было тогда всего двадцать пять лет! В эту готовую рамку он вставлял лица тех, кого ему хотелось видеть, вспоминал их одежду, характерные движения, но, проснувшись от этих грез, снова оказывался в своей мрачной камере. Он жил воспоминаниями и как-то написал на портрете декабриста Н. А. Бестужева: «Воспоминание есть единственный рай, из которого ни в каком случае нет изгнания».

Сегодня Розен был беспокоен, все время поглядывал на дорогу и прислушивался, не раздастся ли звон почтового колокольчика. Он виделся с женой в последний раз 25 июля 1826 года, в Петропавловской крепости. Она пришла тогда на свидание с крошечным шестинедельным ребенком, который, лежа на диване, безмятежно улыбался, а мать, плача, уславливалась с мужем о дне выезда к нему. Вопрос о поездке жены в Сибирь был решен твердо, но Розен просил жену не торопиться и подождать, пока ребенок подрастет.

Сейчас сыну было уже пять лет, но царь не разрешил взять его с собою, и жена выехала к мужу одна. Она была дочерью директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского, ее сверстниками были А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, декабристы И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер и В. Д. Вольховский. В Петербурге и Москве ее тепло провожали в дальний путь друзья и родственники декабристов — Нарышкины, Голицыны, Муравьевы, Чернышевы. Сестра находившейся в Сибири А. Г. Муравьевой, графиня В. Г. Пален, просила взять ее с собою, хотя бы под видом служанки, чтобы она могла помочь сестре. Хотела ехать и другая сестра, но царь никому не разрешил...

Жена Розена уже подъезжала к месту дневки декабристов. У большой дороги, ведущей в лес, стояли юрты. Розен только что роздал обед. Неожиданно послышался звон почтового колокольчика, стук колес по мосту, и Розен увидел вдали ту самую развевавшуюся от быстрой езды зеленую вуаль, с которой он четыре года назад видел мельком в Петропавловской крепости свою жену.

Быстро накинув сюртук, Розен побежал жене навстречу. Н. Бестужев бросился за ним с галстуком, который тот забыл надеть, но не догнал. Часовые хотели задержать Розена, но он стрелюю пролетел мимо них. Тройка остановилась, и Розен вы-

садил из коляски свою жену, измученную двухмесячным переездом, но радостную и счастливую. Подошедший плац-адъютант поместил Розена с женой, по распоряжению коменданта, в крестьянской избе. К двери приставили часового.

В качестве «хозяина» Розен должен был ехать вперед, чтобы все подготовить для товарищей на месте будущей дневки, но товарищи были счастливы его счастьем, вместе с ним радовались приезду его жены и не допускали до кухни и котлов.

После дневок Розен каждый день все же уходил с женою вперед, чтобы вместе с нею приготовить к приезду всей партии обед и ужин. Им приходилось почевать в бурятских юртах, и этот ночлег очень понравился приехавшей из Петербурга жене Розена; прямо над головой виднелось сквозь дымовое отверстие звездное небо.

* * *

Почти одновременно с Розен, во время переезда декабристов из Читы в Петровский завод, приехала к мужу и М. К. Юшневская. В течение двух лет Николай I не давал ей разрешения на поездку, а когда 16 декабря 1828 года она получила наконец это разрешение, ей просто не на что было выехать.

Ее муж, декабрист Алексей Петрович Юшневский, большой друг поэта и переводчика Н. И. Гнедича, был генерал-интендантом Второй армии. Ближайший друг Пестеля, он был одним из директоров и главных деятелей Южного тайного общества. Товарищи относились к нему с большим уважением. Его советами пользовался Пестель при составлении «Русской Правды».

Юшневский приговорен был к вечной каторге. В связи со службой на него наложено было, по каким-то интендантским расчетам, взыскание в огромной сумме 326 тысяч рублей. Сенат долгие годы рассматривал это дело и в конце концов признал, что взыскание наложено было неправильно. Но, пока тянулось дело, отсутствие средств тяжело отразилось на здоровье и жизни Юшневских в Сибири.

Получив разрешение на поездку к мужу, Юшневская долго не могла выяснить, где он, и только из присланного Волконской письма узнала, что муж находится в Читинском остроге.

Весною 1830 года она наконец выехала в Сибирь. «Последнюю шубу и ложки продала», — писала она брату мужа из Нижнего Новгорода. Великая печальница всех декабристов Екатерина Федоровна Муравьева помогла ей. Она заказала для Юшневской коляску, снабдила ее деньгами и продовольствием и отправила в дальний путь. Ей помогли и семьи других декаб-

ристов. «Дочь любимая не могла бы больше входить во все подробности и во все мои надобности», — писала Юшневская об отношении к ней Муравьевой.

В Киеве, откуда приехала Юшневская, у нее оставалась дочь от первого брака, Софья, но ее не разрешено было взять с собою, а больше у Юшневской никого не было, и письма к ней приходили поэтому редко. Жить было трудно, писать она могла только брату мужа, и почти каждое письмо ее кончалось словами: «Деньги! Деньги!»

Как и все не имевшие детей жены декабристов, Юшневская поселилась в Петровском заводе вместе с мужем в тюрьме. Ей было тогда сорок лет. Декабристы встретили ее дружески и сердечно. Впервые после восстания 14 декабря она почувствовала себя в родной семье.

* * *

Через несколько дней декабристы достигли красивых и величественных берегов Селенги. Здесь, на береговых откосах, можно было видеть, как на протяжении веков паслаивались пласты разноцветных пород.

Местами дорога проходила по самому берегу реки, местами, закрывая небо, над дорогой высились на сто с лишним метров скалы.

После месячного путешествия приближались к Верхнеудинску. Солдатам приказано было при проезде через город не разговаривать с декабристами и делать «свирепый» вид. Декабристы хохотали, услышав это распоряжение коменданта: солдаты находились с ними в самых дружеских отношениях, и им трудно было выполнить приказ.

От Верхнеудинска свернули с большой дороги к богатому селению Тарбагатай, в котором жили так называемые семейские старообрядцы, сосланные сюда в конце XVIII века за раскол.

* * *

Длинный, многолюдный, пестрый и оживленный караван переселявшихся декабристов приближался наконец к конечному пункту своего пути.

Последние версты шли лесом, который по мере приближения декабристов к Петровскому заводу становился все реже и наконец сменился кустарниками и болотами. Вдали к северу и востоку высились горы.

В широкой и глубокой долине показалось большое селение.

Кладбище на въезде, церковь на площади, завод с каменными трубами, где днем и ночью плавилы железо, унылые улицы с небольшими домами, ручей, и за ним — красная крыша только что отстроенной тюрьмы... Это было огромное строение на высоком каменном фундаменте, окруженное огромным тыном, вышиною в восемь метров. Всех поразило, что только что выстроенное здание было без окон.

Увидев свое новое жилище, декабрист В. И. Штейнгель вспомнил ямщика, который вез его в 1819 году в Бронницы, под Москвой.

«Начинают ли военнопоселенцы привыкать к новой своей жизни?» — спросил его Штейнгель, имея в виду учрежденные Аракчеевым военные поселения, где часто вспыхивали и жестоко усмирялись солдатские бунты.

«Да, батюшка барин, — ответил ямщик. — Велят, так и к аду привыкнешь!»

Штейнгель не думал тогда, что на собственном опыте познает истину этих вырвавшихся из уст ямщика слов.

И все же декабристы подходили к своему новому жилищу бодрые и веселые, тесно сплоченные, дружные и доброжелательные друг к другу, объединенные общностью своей судьбы. Они смотрели с пригорка на свою новую печальную обитель — и шутили!

За несколько верст до Петровского завода декабристов встретили выехавшие туда раньше Трубецкая и Нарышкина. Комендант Лепарский вручил им почту...

Держа над головой только что полученную французскую газету, Фонвизин объявил товарищам, что во Франции произошла революция и что Карл X бежал в Англию.

Открыли две-три бутылки оказавшегося у жеп декабристов шипучего и выпили по бокалу за июльскую революцию во Франции.

Подшли к тюрьме. Ворота тяжело закрипели. С пением «Марсельезы» декабристы вошли в свою новую тюрьму. «Всю ночь раздавались песни и крики «ура», — вспоминала позже М. Н. Волконская.

«С веселым духом вошли мы в стены нашей Бастилии, — писал в своих воспоминаниях М. Бестужев, — бросились в объятия товарищей, с коими 48 дней были в разлуке, и побежали смотреть наши тюрьмы. Темно, сыро, душно. Совершенный гроб!..»

Глава Тринадцатая

ТЮРЬМА ЗА БАЙКАЛОМ

В Чите нам было жутко: мы жили там, как селетки в бочонке, но все-таки по-человечески; здесь нас обрекали, как скотов, жить в мрачных стойлах.

М. А. Бестужев

В РАСЦВЕТЕ молодости вошли в новую тюрьму Петровского завода семьдесят декабристов, которые, по выражению М. А. Бестужева, «скинулись в горниле горя и испытания в одну неразрывную массу».

Декабристы подошли к окружавшему тюрьму высокому частоколу. За воротами остались позднее осеннее солнце, пестрые ковры полевых цветов и та относительная свобода, которой декабристы пользовались на протяжении своего полуторамесячного перехода из Читы в Петровский завод... Вступили в огромный двор, на котором не было никаких строений. Он предназначен был для общих прогулок, зимних катаний с гор и подобного рода увеселений, которые, по позднейшим воспоминаниям Якушкина, «ужасно напоминали собой увеселения павших ангелов на берегу огненной реки, так великолепно изображенных Мильтопом в его поэмах «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

Этот большой пустынный прогулочный двор был отделен от тюремного здания высоким частоколом с большими, тоже запертыми на замок воротами. Они распахнулись, декабристы оказались перед новым своим жилищем, и тюрьма поглотила узников. Она была выстроена покоем: впереди — длинный центральный фас, по бокам — два крыла. Внутри и справа и слева находились шесть небольших прогулочных дворов, примыкавших к опоясывавшим все здание коридорам.

Коридоры эти разбиты были на двенадцать изолированных друг от друга отделений. Соединявшие их двери на замках отпирались лишь в исключительных случаях, когда тюрьму посещало, например, какое-нибудь высокое начальство.

В каждом отделении было пять-шесть камер. Каждая камера имела семь шагов в длину и шесть в ширину. Всего было шестьдесят четыре камеры. Здание построено было без окон, и мрачный полусвет проникал в камеры лишь из коридоров, через небольшие решетчатые окна над дверями.

Если хотели читать и работать, пристраивали к оконцу над дверями подмости, но это быстро утомляло, и декабристы вынуждены были круглые сутки сидеть в своих камерах при свечах.

Постоянно общаться между собою могли лишь обитатели того или иного отделения. Попастъ в другое отделение можно было, только пройдя через двор. Обедали в коридорах за общими столами. В десять часов вечера камеры и прогулочные дворы запирались. Замыкались и главные паружные ворота. Декабристы проводили всегда ночь под четырьмя замками.

После шумной и суетной жизни в четырех больших камерах Читинского острога каждый заключенный имел в тюрьме Петровского завода свою отдельную камеру. Но в камере было темно, и это не могло не отражаться на душевном состоянии заключенных.

Осмотревшись, декабристы начали устраиваться. Два крайних боковых отделения, первое и двенадцатое, как наиболее снокойные, были предоставлены женатым.

В левом крыле тюрьмы обосновались по преимуществу члены Северного тайного общества, в правом — Южного. Остальные, в том числе члены Общества соединенных славян, заняли камеры центрального фасада.

Женам разрешено было в Петровском заводе жить в казематах вместе с мужьями, но детей запрещено было брать с собою. Все жены выстроили себе небольшие деревянные дома, которые декабристы обставили мебелью, изготовленной их собственными руками. Приготовив дома пищу, жены возвращались с нею в казематы.

Отсутствие окон и света в камерах угнетало. В одном из отделений жили четыре декабриста с женами, и Трубецкой пытался шутить:

— На что нам окна, когда у нас четыре солнца!..

Жены декабристов решили жаловаться в Петербург. А. Г. Муравьева писала своему отцу, графу Г. И. Чернышеву, занимавшему видный пост при дворе Николая I:

«Мы — в Петровском, и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят

два раза в день, но она не дает тепла, — и это в сентябре, — в-четвертых, здесь темно и за отсутствием окон нельзя проветривать камеры.

Нам, слава богу, разрешено быть там вместе с нашими мужьями, но без детей, так что я целый день бегаю из острога домой и из дома в острог, будучи на седьмом месяце беременности.

Если бы даже нам дали детей в тюрьму, все же не было бы возможности поместить их там: комнатка сырая и темная и такая холодная, что мы все мерзнем... Наконец, моя девочка кричала бы весь день, как орленок, в этой темноте, тем более что у нее прорезаются зубки, что очень мучительно...»

Муравьева просит отца не показывать этого письма сестрам, чтобы не огорчать их, и добавляет, что «никогда не станет жаловаться за себя лично, но страдает за детей».

Такие же письма написали и другие жены декабристов.

Вся эта переписка стала широко известна в аристократических кругах Петербурга, и царь вынужден был разрешить прорубить в тюрьме окна. Но при этом, по приказу Николая I, Бенкендорф положил на письме Муравьевой резолюцию: «Женнам написать, что напрасно они печалят своих родных, что мужья их посланы для наказания и что все сделано, что только человеколюбие и снисхождение могли придумать для облегчения справедливо заслуженного наказания...»

Окна прорубили почти через год. Они имели не более двадцати сантиметров в высоту, чтобы заключенные не могли пролезть через них.

Но и это было уже большое завоевание. Жизнь стала постепенно налаживаться. Во дворах казематов развели огороды, устроили парники, посадили цветы, кусты, деревья. В большой комнате при тюремной кухне, на среднем дворе, устроили «клуб».

Тюремное начальство, как и в Чите, не слишком обременяло декабристов работой: они прокладывали и исправляли дороги, работали на огородах, мололи муку. Иногда начальство прибегало за помощью к их знаниям и опыту. Так, в Петровском заводе в течение десяти лет стояла в бездействии лесопильная мельница с водяным приводом. Никто не мог ее наладить и пустить. Н. А. Бестужев и К. П. Торсон, оба замечательные механики, осмотрели мельницу и через несколько часов, к удивлению чиновников, мастеров и заводских рабочих, пустили ее.

Врачебную помощь декабристам, как это было и в Чите, оказывал их внимательный и заботливый товарищ, декабрист

Ф. Б. Вольф. Он пользовался репутацией отличного врача, и к нему приезжали лечиться из окрестных и даже дальних мест Сибири. Вместе с ним работал в качестве фельдшера бывший командир Ахтырского гусарского полка декабрист Артамон Муравьев, когда-то слушавший лекции по хирургии и посещавший университетские клиники в Париже. Он пускал кровь, выдергивал зубы, ставил банки, делал перевязки. Декабрист А. Ф. Фролов помогал растирать, толочь и варить лекарства.

* * *

Условия жизни декабристов в Петровском заводе резко отличались от условий их читинской жизни. Здесь, в отдельных камерах, можно было больше следовать своим привычкам, ложиться и вставать не по общей побудке, питаться отдельно. Но это имело и свои отрицательные стороны: рушился общий стол, началось расслоение, и постепенно стали исчезать те простые, сердечные отношения, которые объединяли декабристов в их общем тесном Читинском остроге. Этому содействовало и время: годы уходили, здоровье подтачивалось, на работу выходили уже не с хоровыми песнями, реже собирались в общий круг. Образовалось несколько кружков, объединившихся по признакам родства, мировоззрений и наклонности характеров.

Отдельные декабристы были достаточно обеспечены и могли обставить свою жизнь на каторге некоторыми удобствами, на что Николай I, не желая ссориться с влиятельными светскими кругами, смотрел сквозь пальцы. Но большинство декабристов ничего не получало и могло располагать только своим казенным тюремным пайком. Состоятельные декабристы всегда охотно помогали нуждающимся, но помощь эта нередко уязвляла самолюбие получающих ее.

Все это привело к тому, что в дружной семье декабристов начали зарождаться не очень дружелюбные отношения. Образовалась группа, особенно тяготившаяся своей зависимостью от товарищей.

Декабристы получали от правительства всего 1 рубль 98 копеек ассигнациями в месяц, что в переводе на серебряные деньги составляло 50 копеек, и два пуда муки натурой. На эти деньги невозможно было питаться и одеваться, и недовольные обратились к коменданту с просьбой выхлопотать для них от правительства дополнительное пособие.

Это обращение недовольной группы товарищей за помощью к правительству, «к палачам», вызвало настолько резкий протест

со стороны остальных декабристов, что обращение было взято обратно. Решено было организовать в тюрьме артель взаимопомощи, которая должна была регулировать всю внутреннюю тюремную жизнь и одновременно поставить на здоровую почву помощь нуждавшимся.

Для управления делами артели выбраны были: хозяин, ведавший хозяйством, закупкой продуктов и питанием декабристов; закупщик, закупавший вне тюрьмы все необходимое по личным заявкам декабристов; огородник, ведавший огородом. На кухню ежедневно наряжался для наблюдения за порядком и раздачей пищи дневальный.

Все, что прежде отдельные декабристы выдавали нуждающимся товарищам частным образом, теперь вносилось в артель по подписке. Наиболее состоятельные декабристы вносили ежегодно в артельную кассу до трех тысяч рублей, образовались значительные суммы, и на долю каждого нуждающегося приходилось более пятисот рублей ассигнациями в год.

Зависимость одних лиц от других, таким образом, прекратилась, и не было больше причин для недовольства и недоразумений.

В связи с тем, что приближался срок окончания каторги и выхода отдельных групп декабристов на поселение, решено было образовать еще так называемую малую артель, которая помогала бы декабристам стать на ноги в первое время после выхода из тюрьмы. Выходя, каждый мог получить на руки шестьсот — восемьсот рублей.

Образовалась еще газетно-журнальная артель, ведавшая правильным распределением между декабристами получавшихся русских и иностранных газет и журналов. Для их чтения устанавливалась очередь и ставились сроки: на прочтение газеты давалось два часа, журнала — два дня. До раздачи газет па руки все могли обычно знакомиться с ними в общем помещении. Если в газете сообщалось о каком-нибудь чрезвычайном событии, все отправлялись гурьбой к тому, с кого в тот день начиналось чтение этой газеты.

Все это морально уравнило имущих с неимущими. Снова наладился объединявший декабристов общий стол. Лишь женатые питались у себя отдельно.

Артели просуществовали на каторге около десяти лет, до 1839 года, когда петровские казематы опустели, освободившись от тех, для кого они были выстроены. Но деятельность артелей не прекращалась и в годы пребывания декабристов в ссылке.

В Петровском заводе жизнь каждой из жен декабристов сложилась по-разному, но все жили дружно, во всем помогали друг другу и тем сглаживали печаль и тяготы каторги. Горе и страдания сблизили их.

Несколько небольших деревянных домиков, выстроенных женами декабристов, явились своего рода женским отделением тюрьмы Петровского завода. Здесь дышалось легче и свободнее. Мужьям еще не разрешено было жить с женами в их домиках, но когда кто-нибудь из жен заболел, муж мог временно переселиться к ней и ухаживать за больной до ее выздоровления. И заболевшим мужьям разрешено было переходить в домики жен, если болезнь могла быть опасной для окружающих.

Все это постепенно распатывало строгий тюремный режим. Декабристы не выходили за пределы разумного, и тюремщики смотрели сквозь пальцы на различные вольности, которые росли довольно быстро и последовательно.

Когда мужья получили наконец разрешение переселиться в домики своих жен, в тюрьме стало просторнее, но тоскливее. Тюремный режим стал ощущаться сильнее, и, чтобы хоть на время уйти из тюремной обстановки, декабристы часто посещали своих женатых товарищей.

Жизнь постепенно входила в свою однообразную колею, без надежды на близкие перемены. В первые годы пребывания в Читинской тюрьме декабристы еще надеялись, что пройдет год, другой и их освободят. В Петровском заводе никто уже на это не рассчитывал. В дни особых событий в царской семье — бракосочетаний, рождений — издавались «милостивые» царские манифесты, и декабристам сбрасывали год, другой каторги, но в целом будущее рисовалось им беспросветным и безнадежным.

В этих условиях декабристы все же посвящали много времени научным и литературным трудам, проводили занятия и собрания, которые по-прежнему в шутку называли «каторжной академией». В этой «академии» декабристы занимались, в частности, философскими вопросами. Среди них было много неверующих, и в спорах между идеалистами и материалистами здесь, как и в России, на воле, формировались материалистические взгляды.

Устраивались литературные и музыкальные вечера, чита-

лись лекции, велись диспуты. Двери казематов уже не запирались на ночь.

Н. Бестужев в серьезном экономическом труде «О свободе торговли и промышленности» выступал противником феодально-крепостнических ограничений в промышленности. Декабристы всесторонне изучали край. Вольф провел анализы местных минеральных вод, которыми так богата Сибирь. Некоторые писали повести и стихи, рисовали. Переводили на русский язык произведения греческих и латинских классиков.

Пытались декабристы печатать свои произведения, но Петербург не давал на это разрешения. Позднее некоторые произведения декабристов были напечатаны, но очень многое было уничтожено в рукописях при периодических казематских обысках.

Из книг, получавшихся из России, образовались даже специальные библиотеки. Одна медицинская библиотека, например, состояла из четырех тысяч книг и ценных атласов. Было много книг на древних и иностранных языках. Наиболее значительные книжные повинки иногда получали из Петербурга сразу после выхода их в свет.

Лишь в 1830 году, как известно, Пушкин получил разрешение напечатать свою написанную в михайловской ссылке трагедию «Борис Годунов», и уже 20 марта 1831 года Волконская пишет Вяземской из Петровского завода:

«Борис Годунов» вызывает наше общее восхищение; по нему видно, что талант нашего великого поэта достиг зрелости; характеры обрисованы с такой силой, энергией, сцена летописца великолепна...»

Сразу же декабристы получили «Повести Белкина», написанные Пушкиным в 1830 и изданные в 1831 году. Волконская пишет о них сестре:

«Повести Пушкина, так называемые Белкина, являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. Он открыл новые пути... Несколько новых романов и литературных журналов — вот что в настоящую минуту занимает Петровск или, вернее, его заключенных».

Из своих тюремных камер декабристы и их жены внимательно следили за выходящими в Петербурге литературными новинками. Произведения Пушкина и Лермонтова, естественно, всегда привлекали к себе их особое внимание. Не прошло мимо них и знаменитое письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю, которое напечатано было А. И. Герценом в «Полярной звезде». Друзьям, видимо, удавалось пересылать им с оказией номера

герценовского «Колокола» и «Полярной звезды», в которых печатались неразрешенные в России произведения Пушкина, Лермонтова, Рылеева, статьи самого Герцена, воспоминания декабристов.

Во втором номере «Полярной звезды» за 1855 год, между прочим, было напечатано и пушкинское послание декабристам «Во глубине сибирских руд...», которое поэту удалось переслать декабристам с А. Г. Муравьевой уже в конце 1826 года...

25 декабря 1831 года М. Н. Волконская пишет из Петровского завода З. А. Волконской, из московского дома которой она уезжала в далекий сибирский путь:

«Друзья Сергея или ближайшие его знакомые посещают нас; так мы проводим вечера, а так как это люди все просвещенные, то мы проводим порою время весьма приятно... Я получаю «Британское обозрение», а также несколько русских журналов; до сих пор наши чтения удерживаются в достаточной мере на уровне образованности нашего времени. Историческая наука доведена до такой степени совершенства во Франции... произведения Гизо, Тьерри, имеющие доступ в Россию, находятся в нашем распоряжении...»

Волконская вспоминает на каторге Адама Мицкевича. Зная, что знаменитый польский поэт был арестован за участие в нелегальной студенческой организации и еще до восстания 14 декабря отбывал в России ссылку, Волконская не решается назвать его имя в письме, которое должно пройти через ведомство Бенкендорфа. Она называет его Фарисом, по имени рыцаря, героя одноименного стихотворения Мицкевича, и пишет: «Фарис молчит, и я понимаю его молчание, как ни грустно это для нас и для поэта...»

Находясь на каторге, декабристы были в курсе и европейских политических событий своего времени. Они знали, что в 1829 году Мицкевич вырвался наконец из России и уехал за границу, а в 1830—1831 годах намеревался уехать из Рима в Познань, чтобы принять участие в польском восстании. В своем письме к З. А. Волконской от 20 марта 1831 года М. Н. Волконская пишет: «Хочу думать, что Фарис вдохновлен теперь еще более возвышенными истинами и что он уже более не в Италии...»

* * *

Большое место в жизни декабристов занимала в Петровском заводе музыка. Часто устраивались камерные концерты. Одних фортепьяно было в тюремных казематах Петровского завода восемь.

Власть музыки на каторге была очень сильна. Чтобы судить об этом, небезынтересно привести письмо из Петровского завода жены декабриста Юшневского к брату мужа.

«Вообрази себе, мой друг, пишу я тебе в тюрьме; против меня сидит твой брат, играет на фортепьянах Фрейшюца (в четыре руки с тобою, бывало, он играл); подле него стоит Пестов, который слушает твоего брата, а я пишу к тебе, душевно утешаясь прошедшим: лишь тень моя теперь здесь, — мое все помышление в эту минуту при тебе...

Я хочу еще сказать тебе, мой друг Семен Петрович, что у нас есть квартет, и брат твой в этом квартете играет на альте. Я хочу тебе сознаться, что я огорчила немного первую скрипку — так сфальшивила скрипка и так запищала, что у меня сделалась спазма.

Можешь по сему судить, что иногда мы очень горюем, а иногда хоть на несколько часов рассеиваем наше горе...

Если тебя письмо сие так потрясет, в каком я волнении пишу его, то ты меня бранить будешь, зачем я его написала. Прощай!.. Прощай, любезный брат!»

Сколько подлинного самообладания и душевной красоты должно было быть в сердце этой жены декабриста, чтобы в обстановке безысходного горя, страданий, нужды и медленного угасания огорчаться из-за неверно взятой скрипачом ноты и одновременно писать из тюрьмы, что «брату известны из журналов все знаменитые пианисты, в том числе и Тальберг, которого называют фортепьянным Паганини и который имеет со-вместником Листа...»

* * *

10 марта 1832 года у Волконской родился сын Михаил. Со дня ее отъезда из Петербурга прошло уже пять с лишком лет, и за эти годы ей пришлось пережить много тяжелого: скончался отец, умер ее оставшийся в Петербурге сын Николепья, скончалась и родившаяся в Чите дочь Софья.

Вся ее жизнь в Петровском заводе посвящена маленькому Михаилу и затем родившейся 28 сентября 1835 года дочери Елене — Нелли. В письме к брату Николаю Волконская пишет, что она никогда не была так счастлива, никогда так не ценила жизнь, как тогда, когда появился на свет маленький Мишенька, который чертами лица очень напоминал их покойного отца.

Жене брата Николая Волконская впоследствии пишет, что ее Неллинька — это «маленькая поющая птичка, прыгающая, забавляющаяся всем, избегающая старательно всех заня-

тий, за исключением тех, которые ее привлекают: например, диктовку ей хочется забавную по содержанию, чтение — тоже; в музыке ей пужны пьесы по ее вкусу. Она вкладывает столько привлекательности и напевности в выражение своих желаний, что в конце концов получает все, чего хочет».

В своих письмах Волконская посвящает родных во все мелочи жизни детей; пишет, как нежно все заботятся о детях других декабристов, настойчиво и тревожно справляется об оставшихся в Петербурге детях Давыдовой.

К детям Волконская вообще относится с большой любовью и особенно горячо откликается на нужды детей обездоленных. Мысленно она всегда ставит рядом с ними своих детей и думает о том, что ждет их, если она погибнет в Сибири.

«Пока во мне останется хотя искра жизни, — писала она матери мужа, — я не могу отказать в услугах и утешении стольким несчастным родителям; я слишком хорошо знаю, как много пришлось моему покойному отцу выстрадать за своих детей и особенно за старшего сына, на которого он возлагал всю свою надежду».

Между тем год проходит за годом, надежды на скорое окончание каторги, а затем и ссылки тают, призрачными становятся и мечты о возможном свидании с близкими. Свое счастье Волконская находит в детях и в дружной семье декабристов.

Это уже не прежняя некрасовская героиня, охваченная энтузиазмом и романтическим порывом, а много выстрадавшая женщина, проникнутая мудрым сознанием необходимости выполнить до конца свой долг перед детьми, друзьями и товарищами мужа по каторге.

«Тот же круг, в котором мы привыкли в продолжение стольких лет меняться чувствами, — писал декабрист Оболенский, — перенесен был из Петербурга в нашу убогую казарму; все более и более мы сближались, и общее горе скрепило еще более узы дружбы, нас соединяющей...»

* * *

Жены декабристов не перестают тосковать по оставленным ими в России детям. Фонвизина пишет своим двум оставшимся в Москве сыновьям:

«Как бы я поглядела на вас, мои милые! Когда встречаю молодых людей ваших лет, сердце мое всегда болезненно сжимается. Я и смотрю на них и слушаю их с мыслью о вас. Неужели никогда не суждено мне познакомиться с детьми моими?»

Неужели я всегда останусь для вас идеей, а вы для меня незнакомцами?

Такую нравственную пытку редко случается испытывать. Не будь я прикована неволей... ничто не могло бы меня удержать здесь в неизвестности о вас. Если бы я даже не имела на что ехать в дорогу, я бы пешком ушла... И больная поплелась бы... Но неволя хуже и болезни и безденежья...

Радость хоть изредка и мелькнет нам, но как-то с нами не уживается; зато горе приютилось к нам издавна и сроднилось с нами, так что мы его и не чуждаемся...»

* * *

Через пять лет после восстания декабристов в Петровский завод приехала еще одна молодая француженка, Камилла Ле-Дантю, последовавшая на каторгу за декабристом Василием Петровичем Ивашевым.

Мать ее, Мария Петровна, овдовев, приехала в начале века в Россию и вскоре вышла замуж за Пьера Ле-Дантю, богатого человека, бежавшего в годы наполеоновских войн из Франции в Голландию. Но и отсюда он вынужден был уехать, опасаясь Наполеона, преследовавшего людей, оппозиционно настроенных против его завоевательных стремлений.

Ле-Дантю оказался в России. Но в это время началась Отечественная война 1812 года, и к французам в Петербурге и Москве относились не очень приветливо. Ле-Дантю решил уехать с семьей в глубь России. Он соорудил баркас и отправился на нем вниз по Волге. Остановился в Симбирске.

У них было уже в то время шестеро детей — четыре дочери и два сына. Средства к существованию постепенно истощались. Старшая дочь, Сидония, скоро вышла замуж за отставного майора В. И. Григоровича. Сын ее, Дмитрий, стал впоследствии известным русским писателем. Две другие дочери, Луиза и Амели, поступили на службу гувернантками, а младшая, Камилла, осталась при матери, служившей у Ивашевых.

Находясь в армии, молодой Ивашев часто приезжал летом к родителям. Приезд молодого, образованного и блестящего кавалергарда был для всех праздником. Дружба между молодым Ивашевым и Камиллой Ле-Дантю постепенно переросла в любовь. Но общественное положение их было настолько различно, что девушка вынуждена была, по понятиям того времени, подавить свое глубокое чувство.

Между тем наступило 14 декабря 1825 года. Ротмистр Ивашев был членом Южного тайного общества, на совещании в

Тульчине высказался за введение республиканского образа правления и одобрял революционный способ действий с упразднением престола и уничтожением тех, кто будет мешать этому. Он был арестован и приговорен к двадцати годам каторги.

Камилла в то время уже сама служила гувернанткой и жила в Петербурге. Общее сочувствие и симпатии к декабристам захватили юную девушку.

Она представляла себе Ивашева в далекой Сибири, в кандалах, в тяжких условиях каторги, и прежняя любовь к нему вспыхнула с новой силой.

Камилла тяжело заболела и открылась матери в своем чувстве. В то время Полина Гебль уже получила разрешение выехать в Сибирь, и Камилла просила мать позволить ей последовать примеру их соотечественницы.

Мать колебалась. Но болезнь дочери начала принимать опасный характер, и она решилась написать обо всем отцу Ивашева. Это был симбирский помещик, боевой генерал, бывший начальник штаба суворовской армии.

Она писала в своем письме:

«Я предлагаю Ивашевым приемную дочь с благородной, чистой и любящей душой. Я сумела бы даже от лучшего друга скрыть тайну дочери, если бы можно было заподозрить, что я добиваюсь положения или богатства. Но она хочет лишь разделить его оковы, утереть его слезы, и, не краснея за дочерние чувства, я могла бы говорить о них нежнейшей из матерей, если бы знала о них раньше».

Письмо произвело большое впечатление и «утешительно изумило» стариков Ивашевых. Они ответили теплым, дружеским письмом и копии этих писем отравили в Читку, коменданту Лепарскому, с просьбой переговорить с их сыном и возможно скорее прислать ответ...

Ивашев отбывал в это время каторгу в Петровском заводе. Настроение у него было подавленное, и он решил бежать. Все уже было готово к побегу. Окружавший тюрьму частокол удалось подпилить и образовавшееся отверстие тщательно замаскировать. Оно было небольшое — через него с трудом мог пролезть человек, — но это было окно в мир.

Стояла осень, близилась зима. На сотни верст кругом тайга — ни жилищ, ни людей. Ивашев условился, что беглый отведет его в ближайший лес и, пока будут продолжаться поиски, скроет в приготовленном для него подземелье, куда уже доставлены были необходимые на это время припасы, а затем переправит через китайскую границу.

В условиях сибирской каторги этот фантастический план был безнадежен и опасен, не говоря уж о том, что у беглого могли быть свои цели и намерения: выдать Ивашева начальству и тем заслужить себе прощение или, заведя в лес, убить и завладеть его деньгами и имуществом. В случае неудачи и поимки Ивашеву грозила смерть...

В одной с ним камере жил тогда его товарищ, П. А. Муханов, и почти ежедневно приходил Н. В. Басаргин, очень друживший с Ивашевым.

Как-то на работе Муханов отозвал в сторону Басаргина и сообщил, что Ивашев замышляет побег. До побега оставалась лишь одна ночь. Басаргин в тот же вечер пришел к Ивашеву.

Тот был настроен мрачно и решительно отстранил всякую попытку отвлечь его от побега.

— Далее оставаться в каземате я не в состоянии, — сказал он. — Уже столько лет я страдаю! Лучше умереть, чем жить так...

— Послушай, Ивашев, — предложил Басаргин, — именем нашей дружбы прошу тебя отложить исполнение твоего намерения на одну только неделю. За эти дни мы обсудим хорошенько твое предприятие, хладнокровно взвесим все за и против, и, если ты останешься при тех же мыслях, обещаю тебе не препятствовать.

— А если я не соглашусь? — спросил Ивашев.

— Тогда, — ответил с жаром Басаргин, — ты заставишь меня сделать из любви к тебе то, чем я гнушаюсь: сейчас попрошу свидания с комендантом и расскажу ему все. Ты знаешь меня довольно, чтобы верить, что я сделаю это именно из убеждения в том, что это осталось единственным средством для твоего спасения.

Басаргина горячо поддержал Муханов, и Ивашев сдался: он дал слово отложить на неделю побег. Товарищи верили ему, и все же, живя в одной с Ивашевым камере, Муханов не переставал наблюдать за ним.

Прошло три дня. Они сидели и мирно беседовали, когда в камеру неожиданно вошел унтер-офицер и сообщил, что Ивашева требует к себе комендант Лепарский.

Друзья переглянулись. Ивашев посмотрел на Басаргина в упор, но тот оставался спокоен.

— Прости меня, мой друг, за минутное подозрение, — сказал Ивашев. — Но что бы это значило? Зачем он мог меня вызывать?..

Ивашев ушел. Прошло уже около двух часов, а его все не было. Друзья волновались: не узнал ли комендант о его намерении бежать?

Наконец он вернулся. До последней степени взволнованный, с трудом подбирая слова, он сообщил поразившую его необычайную новость: пришло письмо от родителей — они сообщают, что жившая в их доме юная Камилла Ле-Дантю давно любит его и, потрясенная судьбою декабристов, желает разделить его тяжкую участь и просит разрешения направиться к нему в Сибирь.

Ивашев добавил, что девушка тоже правилась ему, но он никогда не думал о ней как о своей будущей жене. Известие это тем более потрясло Ивашева, что пришло к нему в пышешем его тяжелом положении...

Ивашеву было в то время тридцать три года, Камилле Ле-Дантю — двадцать два. Будет ли она счастлива с ним в Сибири? Сумеет ли он вознаградить ее за жертву, которую она готова принести сейчас? Не будет ли она впоследствии раскаиваться в своем поступке?

Все эти вопросы волновали Ивашева, и он просил коменданта оставить ему ночь для размышлений и разрешить дать ответ на следующее утро...

* * *

Вызвав Ивашева, комендант Лепарский дал ему прочесть полученные письма и просил серьезно все взвесить, прежде чем дать ответ.

Могли ли Басаргин и Муханов думать, что их вмешательство в дела Ивашева и вынужденная, под влиянием их требований и угроз, отсрочка задуманного побега в корне изменят настроение и весь жизненный путь их друга?

Хорошо зная Ивашева, его благородство и прекрасные душевные качества, Басаргин и Муханов убеждали его припять предложение Камиллы. На следующее утро он явился к коменданту Лепарскому и продиктовал ответ на имя своего отца, П. Н. Ивашева:

«Сын ваш принял предложение ваше касательно девицы Ле-Дантю с тем чувством изумления и благодарности к ней, которое ее самоотвержение и привязанность должны были внушить... Но по долгу совести своей он просит вас предварить молодую девушку, чтобы она с размышлением представила себе и разлуку с нежной матерью, и слабость здоровья своего, подвигаемого новым опасностям далекой дороги, как и то, что

жизнь, ей здесь предстоящая, может по однообразности и грусти сделаться для нее еще титостнее. Он просит ее видеть будущность свою в настоящих красках и потому надеется, что решение ее будет обдуманным. Он не может уверить ее ни в чем более, как в неизменной своей любви, в истинном желании ее благополучия, в вашем нежнейшем о ней попечении, которое она разделит с ним...»

Когда обо всем этом стало известно Камилле, она написала Ивашевым, что, направляясь в Сибирь, вовсе не приносит жертвы, а лишений, на которые осуждена сейчас самой жизнью с их сыном в Сибири, не боится.

Одновременно она обратилась к царю с просьбою разрешить ей поездку в Сибирь. Она писала:

«Мое сердце полно верной на всю жизнь, глубокой, непоколебимой любовью к одному из несчастных, осужденных законом, — к сыну генерала Ивашева.

Я люблю его почти с детства и, почувствовав со времени его несчастья, насколько его жизнь дорога для меня, дала обет разделить его горькую участь.

Моя мать соглашается на брак мой с тем, кому я хочу облегчить страдания, и родители несчастного молодого человека, зная о состоянии его сердца, с своей стороны, не видят препятствий к исполнению моего желания».

Разрешение на поездку в Сибирь и на брак с осужденным Ивашевым было получено Камиллой Ле-Дантю 23 сентября 1830 года. Иркутскому губернатору предложено было оказать девушке при ее поездке в Сибирь возможное содействие.

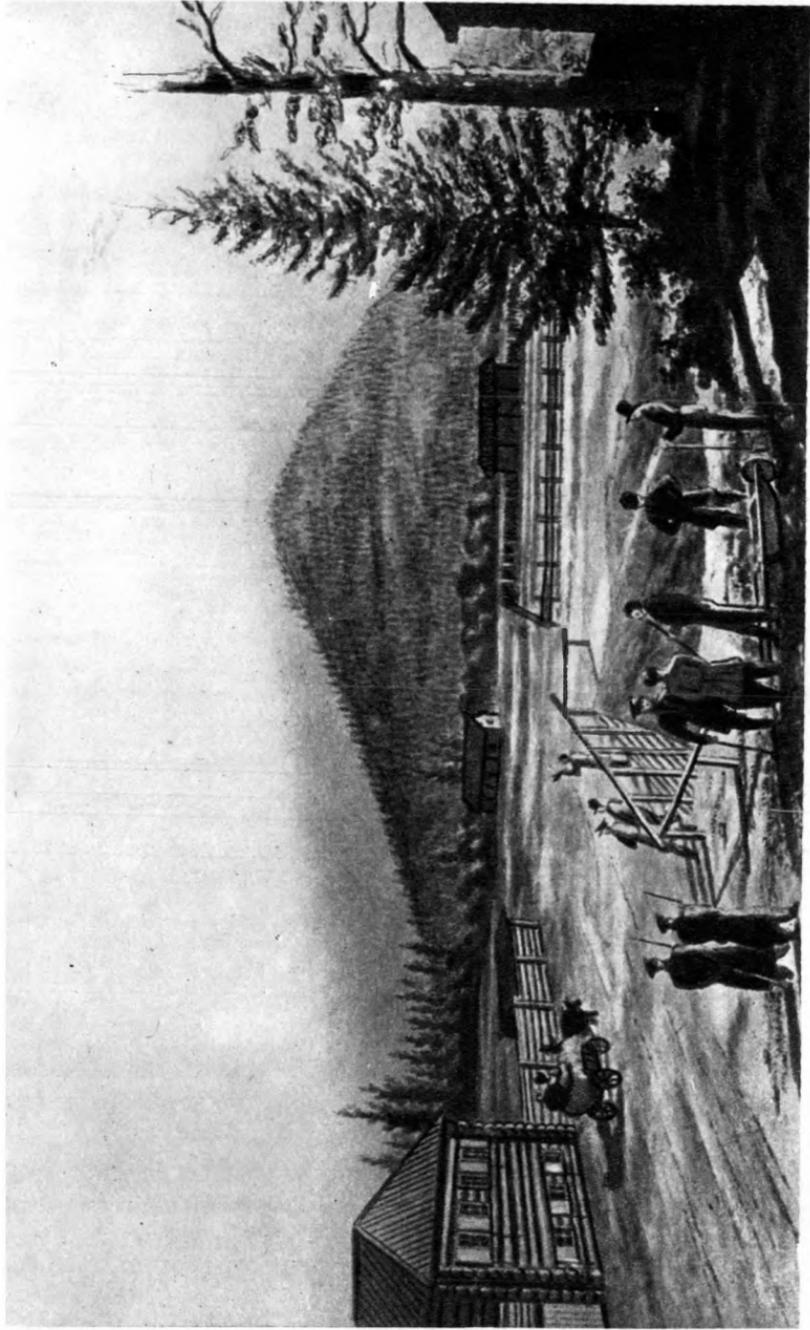
Обо всем этом мать Ивашева сообщила в Читу Волконской, и та написала Камилле:

«Правда, пристанищем у вас будет лачуга, а жилищем тюрьма, но вас будет радовать счастье, приносимое вами, а здесь вы встретите человека, который всю жизнь свою посвятит вам, чтобы доказать, что и он умеет любить... Кроме того, вы встретите здесь подругу, которая уже теперь относится к вам с живейшим интересом».

* * *

В Москве в тот год разразилась холера, и Камилла могла выехать в Сибирь лишь в июне 1831 года.

По мере приближения к Петровскому заводу девушкой начало овладевать беспокойство. Жены декабристов ехали к своим мужьям, Полина Гельб, направляясь к Анненкову, была уже матерью его ребенка.



Декабристы в Чите. Работы у оврага.
Слева — проезжают жены декабристов.
Акварель декабриста Н. П. Репина.

Будет дождь завтра

Видно

Зерно

Видно

Де

Рез

Еще

Результат

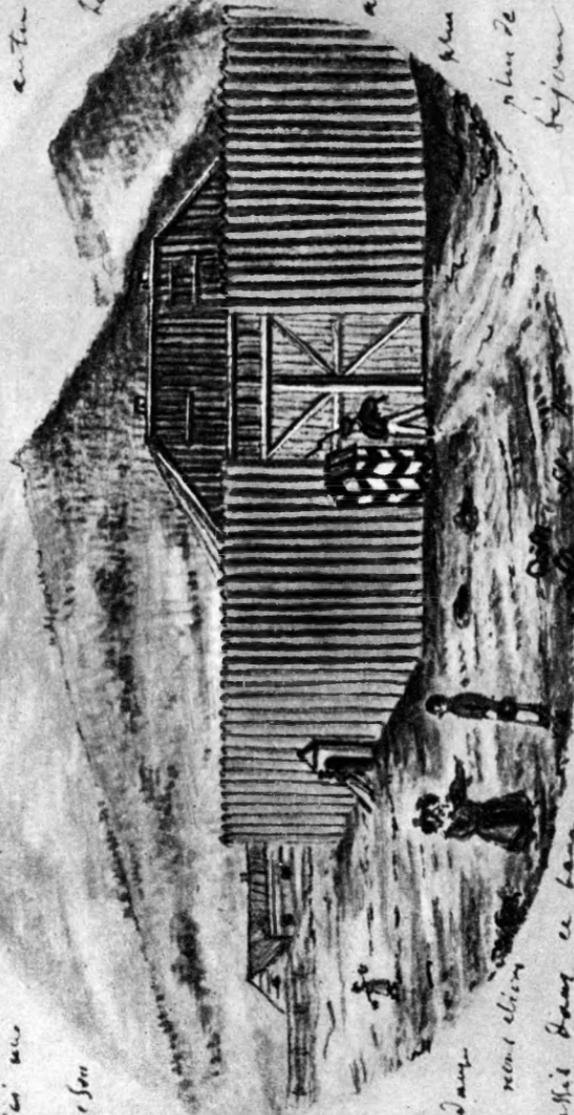
судя по всему

сделанный дом

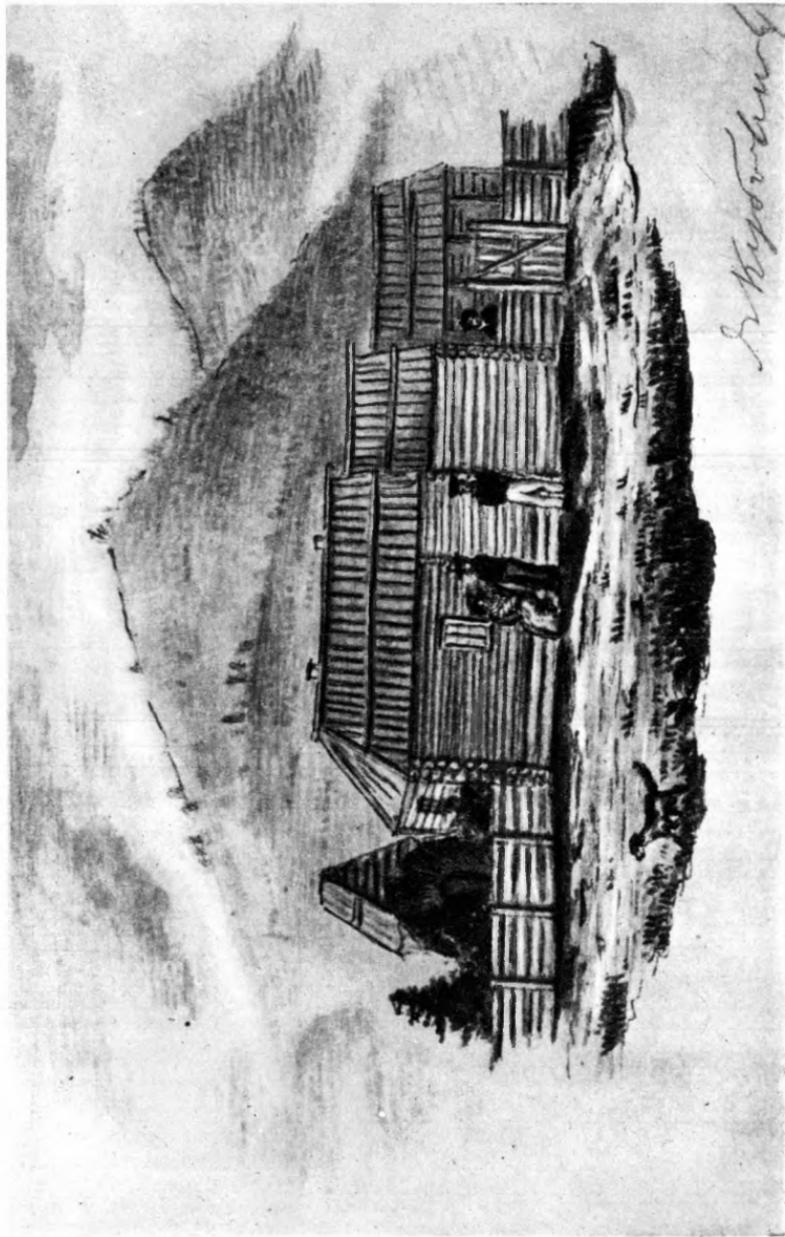
De notre maison à Pékin

entre eux

de l'air



Читинский острог. Жены декабристов у частоклада.
Акварель декабриста А. И. Якубовича.

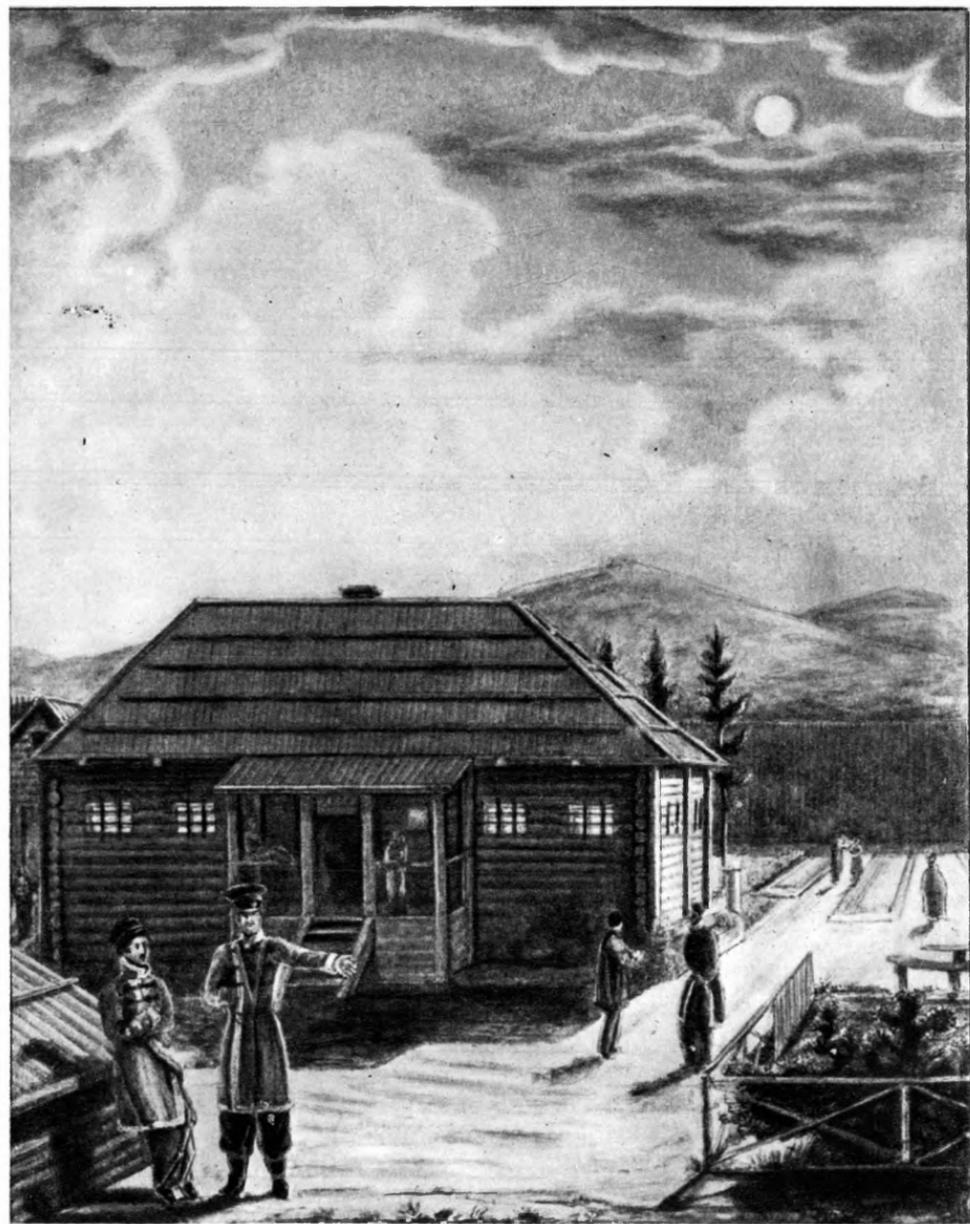


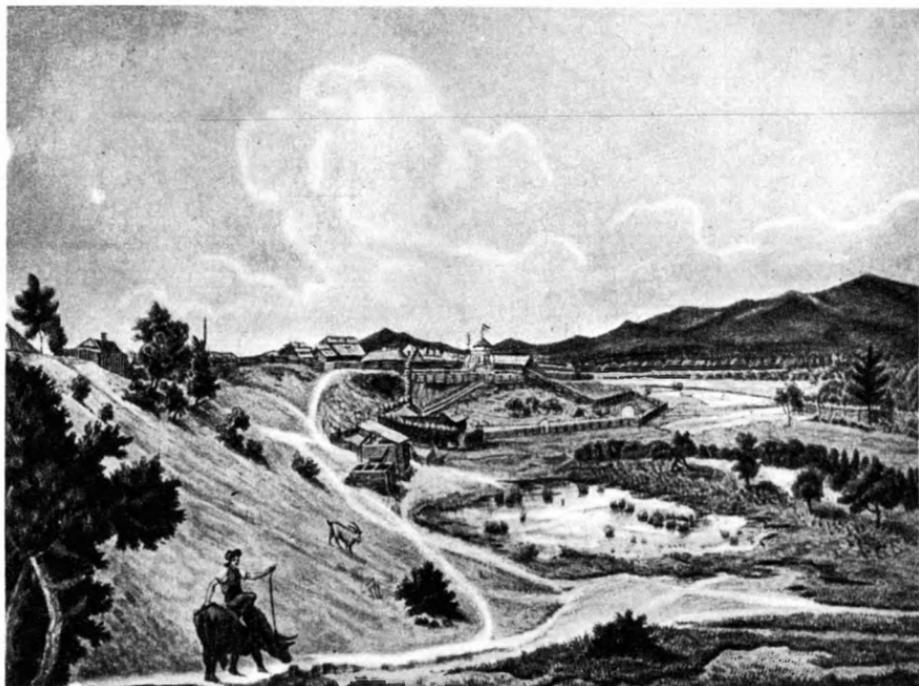
Декабрист В. Л. Давыдов с женою у се дома в Чите.
Акварель декабриста А. П. Якубовича.



Декабристы в Чите — И. Д. Якушкин, П. С. Бобрищев-Пушкин и М. К. Кюхельбекер.
Акварель декабриста Н. П. Репина.

Декабристы лунной ночью во дворе Читинского острога: А. И. Одоевский, А. Е. Розен и Е. П. Оболенский.
Акварель декабриста Н. П. Репина.



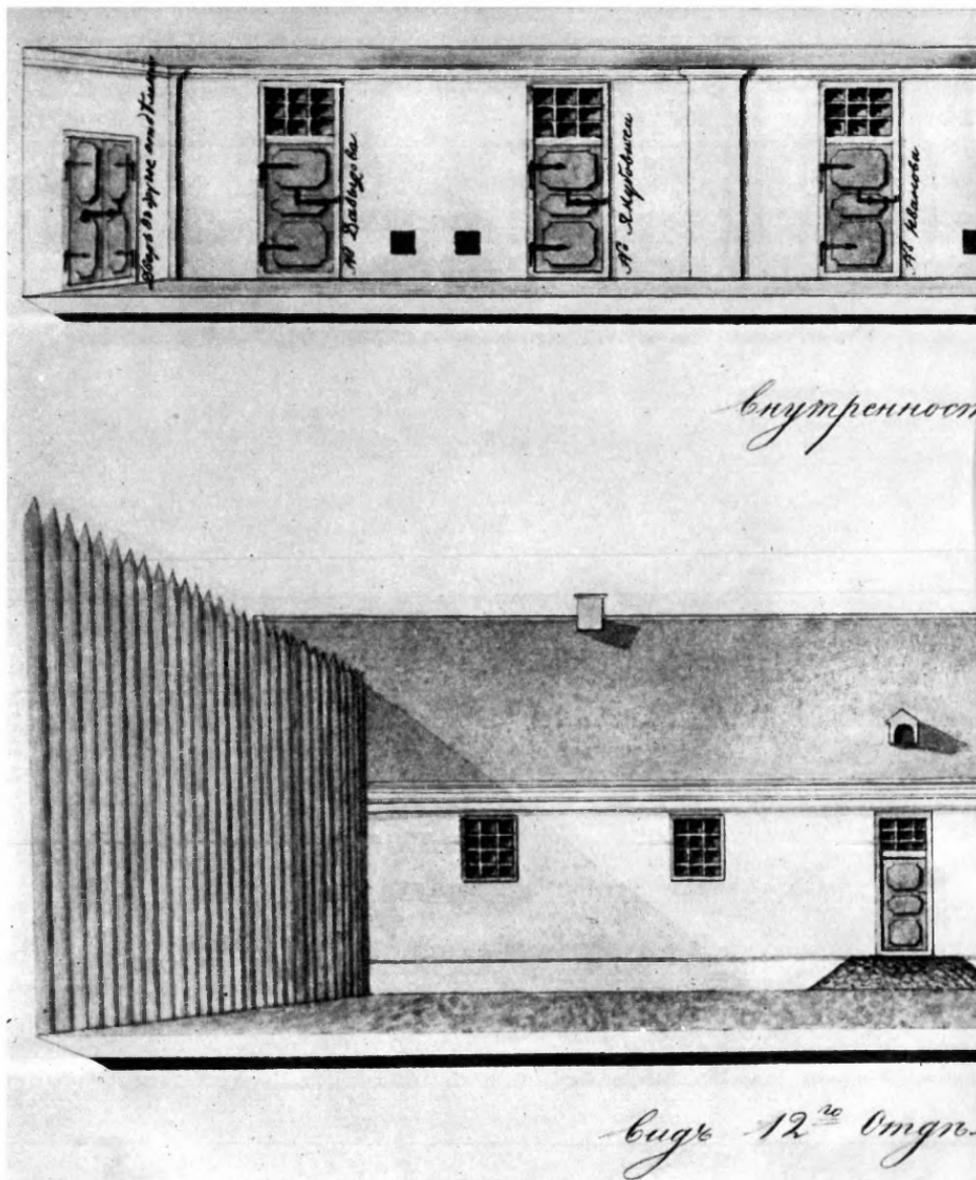


Чита. Дом штаб-лекаря Д. З. Ильинского
«Чертова могила» и сад коменданта
С. Г. Лепарского.
Акварель Н. А. Бестужева.

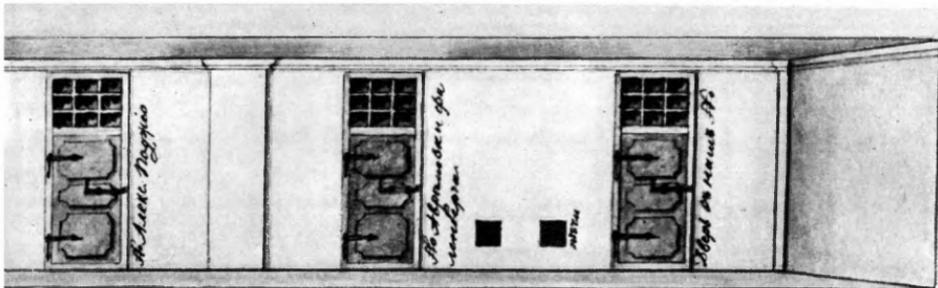
Декабристы в Чите. И. Д. Якушкин читает
послание А. С. Пушкина
«Во глубине сибирских руд...».
Рисунок Д. Н. Кардовского.

Дневка декабристов при переходе из Читы
в Петровский завод.
Акварель декабриста В. П. Пвашева.

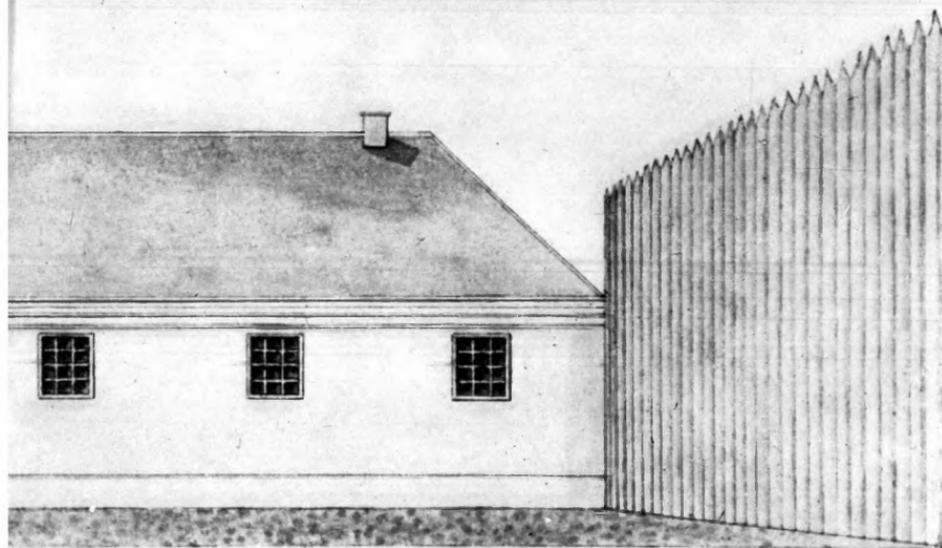




Внутренний коридор тюрьмы Петровского завода. Наверху слева — вход в соседнее отделение. Направо — камеры, в которых жили декабристы.
Зарисовка М. К. Юшневской.



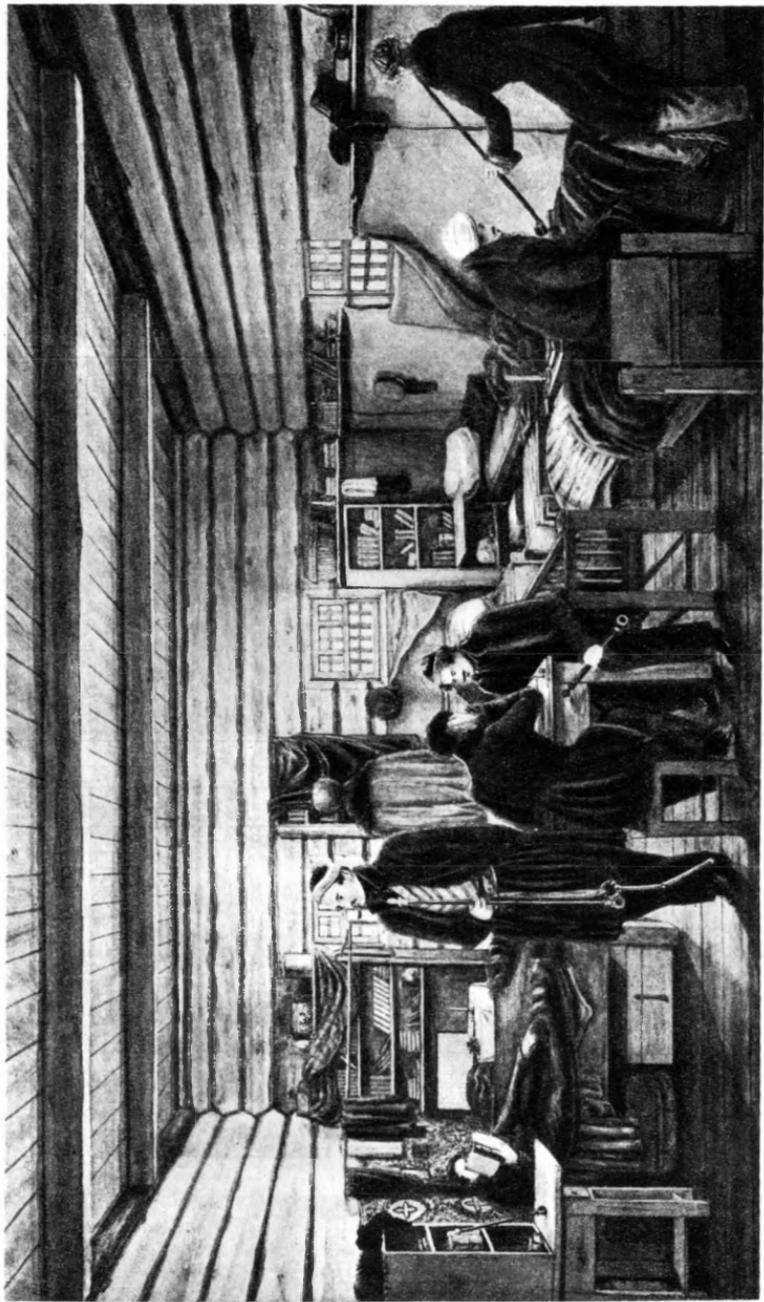
с. Погодин.



с. Погодин.



Вид Петровского завода с птичьего полета. Декабрист
Н. А. Бестужев делает зарисовку. Рядом с ним солдат
охраны.
Аксарель.

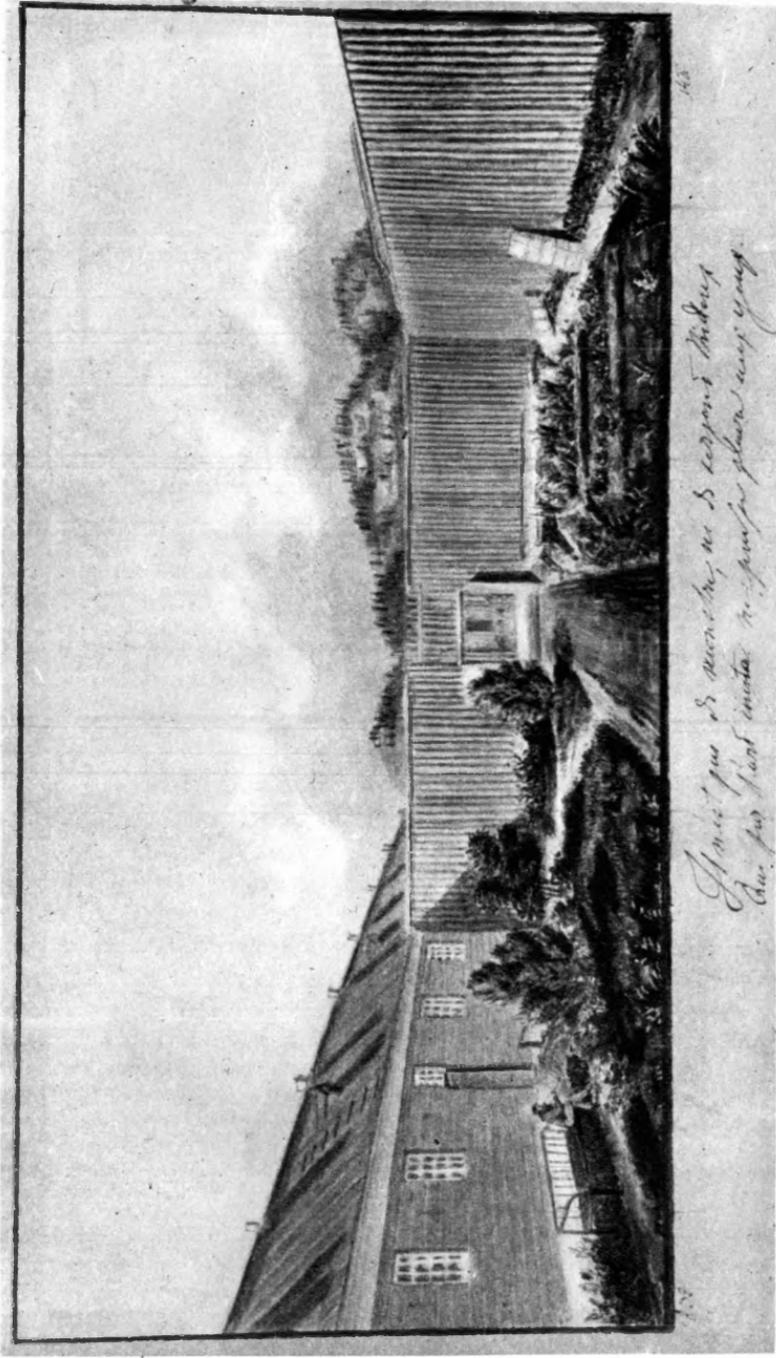


Декабристы в общей камере Читинского острога. Слева — П. А. Анненков полулежа читает книгу. На переднем плане стоит Н. И. Лорер. За столом играют в шахматы Никита Муравьев и Ф. Ф. Вадковский. Справа на кровати сидит А. П. Баратынский. Курит трубку А. Е. Розен.
Акварель декабриста Н. П. Репина.



Декабрист С. Г. Волконский с женою
в своей камере, в тюрьме Петровского
завода.

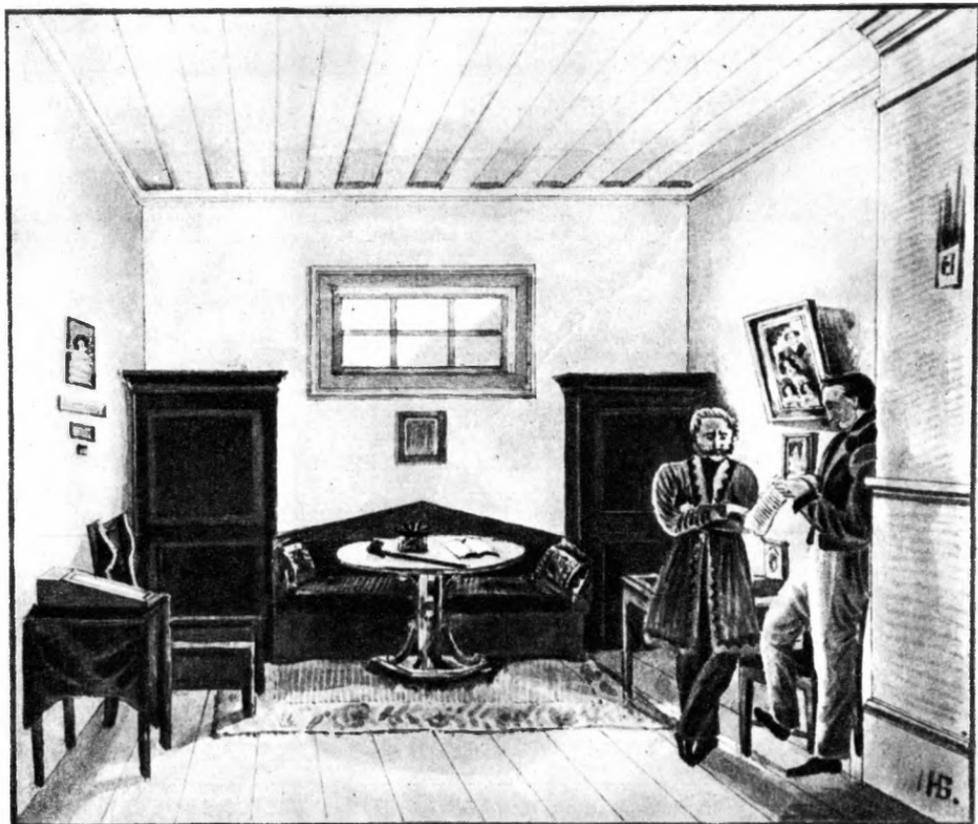
Акварель М. К. Юшневской.



Домъ при дворику въ заводѣ Петровск.
Въ. пр. 1861 г. и т. д.

Один из двориков Петровского завода. Внизу надпись на французском языке из Буало: «Нет такого чудовища в природе, которое, будучи изображено художником, не ласкало бы глаз».

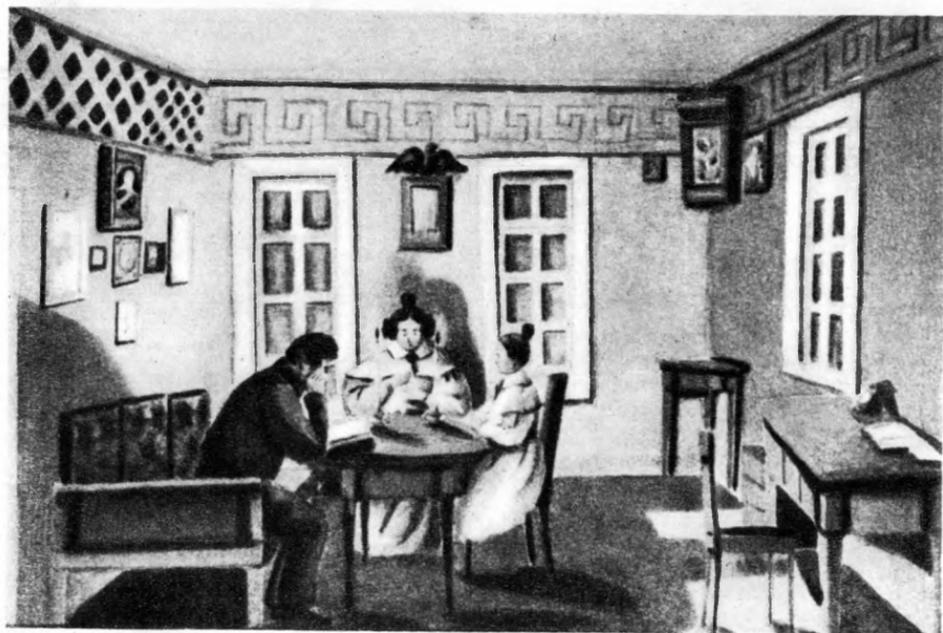
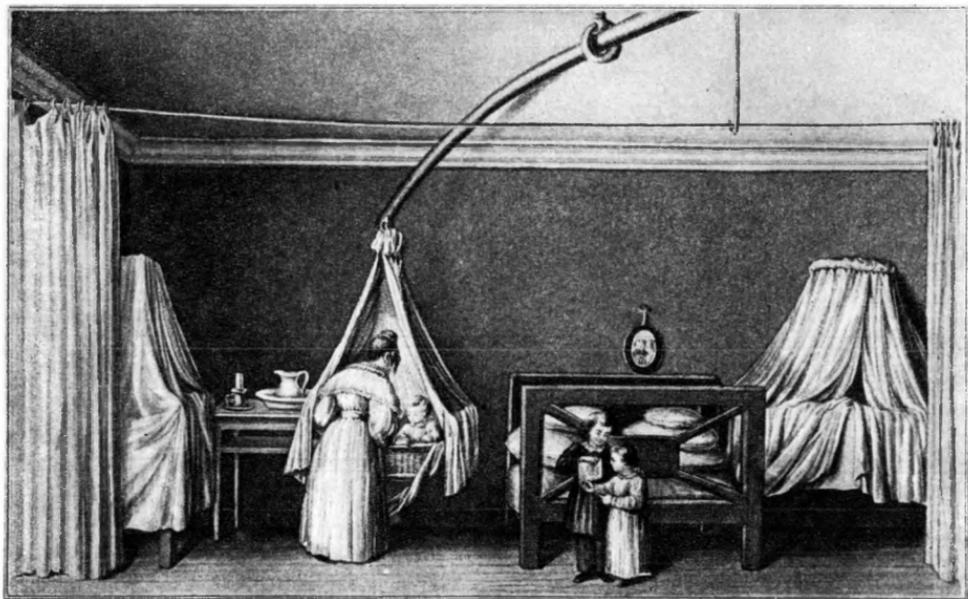
Ажарель Н. А. Бестужева.

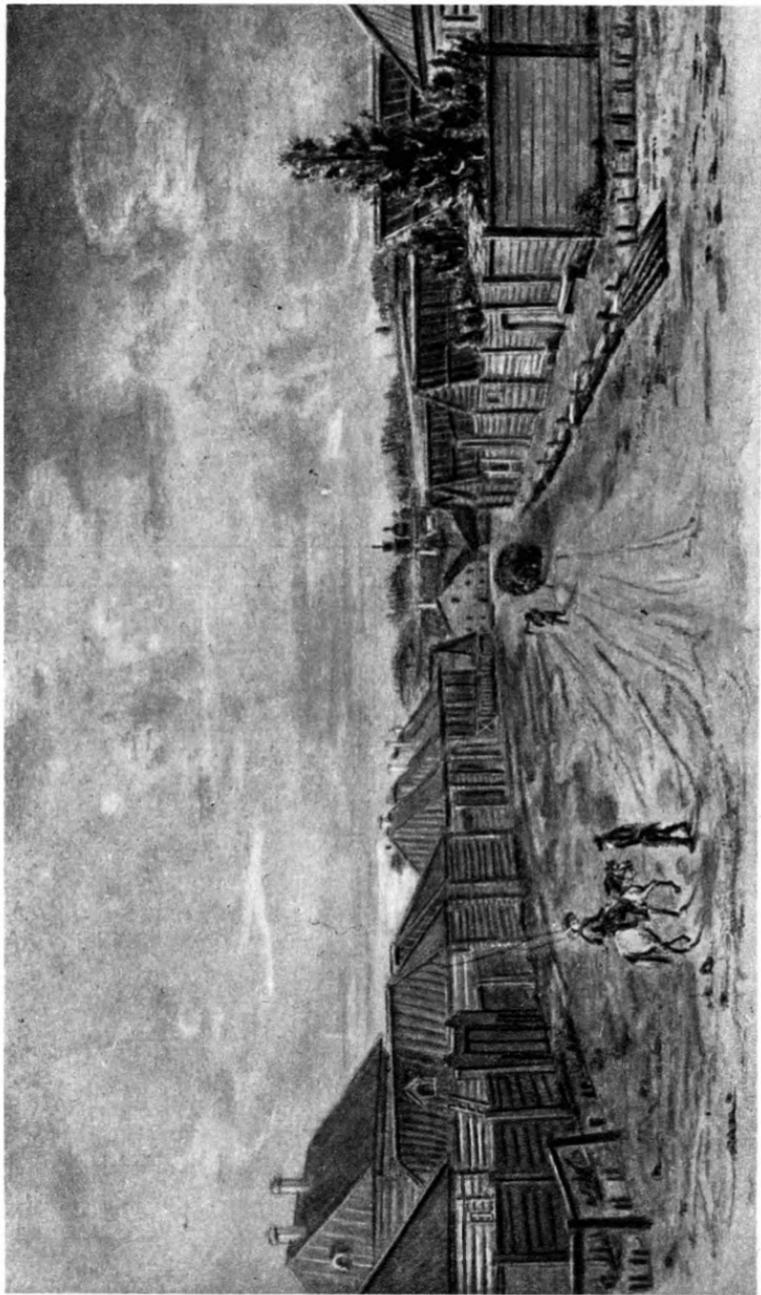


Декабристы Н. А. Панов и Н. А. Бестужев
в тюремной камере Петровского завода.
Акварель Н. А. Бестужева.

Жена декабриста А. И. Давыдова с детьми
в своем доме в Петровском заводе.
Рисунок Е. П. Нарышкиной.

Декабрист Н. М. Муравьев с дочерью Ноннушкой
и ее воспитательницей К. К. Кузьминой на
поселении в Урике, в 1839 году.
Акварель декабриста А. М. Муравьева.





Петровский завод. Дамская улица — так называлась улица, на которой стояли выстроенные жителями декабристов деревянные дома.
Акварель декабриста В. П. Ивашева.

Она же направлялась к человеку, которого мало знала, которому она отдавала свою молодость, рискуя, что совместная жизнь, быть может, не принесет им счастья. Они семь лет не видели друг друга, и при личном свидании могло оказаться, что все их мечты — лишь отзвук давних детских симпатий и юношеского робкого увлечения.

Опасения Камиллы были, однако, напрасны. Приехав на завод, она несколько дней прожила у Волконской и у нее впервые встретилась с Ивашевым. Оба были потрясены. Камилла потеряла сознание, но скоро пришла в себя. Через неделю состоялась их свадьба.

Семья декабристов встретила милую и образованную девушку ласково и приветливо. Декабрист А. И. Одоевский посвятил ей стихи, которые заканчивались словами:

С другом люблю и в тюрьме, —
В душе мыслит красна девица: —
Свет он мне в могильной тьме...
Встань, неси меня, метелица.
Занеси в его тюрьму,
Пусть, как птичка домовитая,
Прилечу и я к нему,
Притаюсь, людьми забытая.

Комендант разрешил новобрачным прожить месяц в их собственном новом доме, который Ивашев выстроил еще до приезда Камиллы, а затем она перешла в темный тюремный каземат мужа и оставалась там в течение года, пока жепатым декабристам не разрешили жить в своих домах.

В годовщину свадьбы Камилла писала своей матери: «Год нашего союза прошел, как один счастливый день...»

* * *

На протяжении десяти лет стремились свидеться с сыном, его женой и родившейся в Сибири внучкой родители декабриста В. П. Ивашева и мать его жены, М. П. Ле-Дантю. Разрешение на поездку к детям мог дать только царь, и к нему обратился с просьбой разрешить поехать к сыну старый генерал П. Н. Ивашев. Он был настолько уверен, что ему, сподвижнику Суворова, царь не откажет в этой просьбе, что даже начал готовить экипажи и лошадей для поездки в Сибирь, приобрел колясочку для внучки и необходимую мебель.

Сестры приобрели для отправки Ивашеву сорок два тома разной литературы — сочинений Пушкина, Гоголя, Крылова, Бестужева (Марлинского), Лажечникова, Жуковского, Гнедича, но не посылали, ожидая возможности лично привезти их в Сибирь. Ведь еще в 1830 году Бенкендорф уверял их, что сразу после перевода Ивашева на поселение они получат возможность поехать к нему. Но проходили месяцы, а ответа от царя не было.

Ивашевы надеялись, что Николай I даст им разрешение поехать к сыну во время посещения им Симбирска и осмотра дома трудолюбия, которым заведовала мать Ивашева. Царь остался всем доволен, даже сделал Ивашевой ценный подарок, но разрешения поехать к сыну не дал.

Срок пребывания Ивашева на каторге заканчивался 10 мая 1836 года, и родители считали, что, как только его переведут на поселение, они, бесспорно, смогут приехать к сыну. Ему назначено было жить в Туринске, Тобольской губернии, и он сразу же туда выехал. На проводы собрались в доме Волконских. С теми, кто не мог прийти, уезжавшие простились в казематах. Шумно и грустно провели уезжавшие часы расставания с товарищами. Было много тостов. Ивашев уезжал из тюрьмы с женою и дочерью ровно через десять лет после его осуждения. Вместе с ними уезжал их большой друг, декабрист Басаргин.

Перейдя на поселение, Ивашев получил право переписки и послал родителям собственноручно написанное письмо.

«Сколько благородных слез пролили мы, — пишет отец в ответном письме сыну, — читая твое письмо, первое собственной твоей руки после горестных одиннадцати лет».

«Это было почти свидание, — пишет Ивашеву его сестра, Е. П. Языкова, — мне казалось, что я слышу, как ты говоришь».

На свое новое обращенное к царю ходатайство Ивашевы получили 25 ноября 1836 года от Бенкендорфа ответ, в котором он писал, что родственникам находящихся в Сибири государственных преступников не может быть дозволено приезжать в Сибирь для свиданий и что «буде кто-либо из родственников означенных преступников отправится в тот край, не испросив предварительно на то разрешения, то местное начальство обязано немедленно его выслать».

Так рушились надежды, на протяжении десятилетия подерживавшие родителей Ивашева.

Для матери это было последним жестоким ударом. Здоровье ее резко пошатнулось, она стала болеть и 22 мая 1837 года скон-

чалась. Через полтора года, так и не повидав сына, скончался и отец.

В семье Ивашевых сохранился большой альбом акварельных рисунков декабриста. Ими были украшены и все его письма. Они давали представление о том, как выглядят Петровский завод, тюрьма, домик Ивашевых и внутреннее убранство комнат...

* * *

На поселении, в Ялutorовске, у декабриста И. Д. Якушкина стоял на постаменте бюст его жены, Анастасии Васильевны, присланный ему родными. Ей было всего семнадцать лет, когда она вышла замуж.

«Она была совершенная красавица, — писал о ней ее сын, — замечательно умна и превосходно образованна. Ее разговор просто блистал, несмотря на чрезвычайную простоту ее речи. Но все это было ничто в сравнении с ее душевною красотой. Я не встречал женщины добрее ее. Она готова была отдать все, что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся, нередко просиживала ночи у больных, иногда почти ей неизвестных, но требующих тщательного присмотра... Но были несчастья, не требовавшие ни денежной помощи, ни присмотра; она всегда являлась и здесь утешительницей и действительно умела поднять человека, упавшего духом и близкого к отчаянию... Она не могла видеть человека в нужде и не помочь ему...»

Когда мужа арестовали, Якушкина приехала на свидание с ним в Петропавловскую крепость с двумя детьми. Старшему было два года, младшему — пять месяцев. Из Петропавловской крепости Якушкина отправили в Роченсальм, где он просидел в каземате крепости Форт-Слава больше года, и в ноябре 1827 года был отправлен на каторгу в Сибирь.

Когда его увозили, А. В. Якушкина с детьми и матерью встретила его в Ярославле, проводила до Костромы и начала хлопотать о разрешении выехать вслед за мужем в Сибирь.

Сначала ей разрешили отправиться вместе с детьми, затем передумали и предложили ехать без детей, а когда она собралась уже в путь, Николай I положил на ходатайстве Якушкиной резолюцию: «Отклонить под благовидным предлогом».

Бенкендорф нашел такой «благовидный» предлог и сообщил Якушкиной:

«Сначала дозволено было всем женам государственных преступников следовать в Сибирь за своими мужьями; но как сим

дозволением вы в свое время не воспользовались, то и не можете ныне одного получить, ибо вы нужны теперь для ваших детей и должны для них пожертвовать желанием видеться с мужем. Что же принадлежит до изъявленного вами желания ехать к мужу в Сибирь, то на сие его величество решительно отозваться изволил, что сие вам разрешено быть не может».

Якушкина была потрясена. Ей предложили определить детей в корпус малолетних, а потом в Царскосельский лицей, но, когда она сообщила об этом мужу, тот решительно воспротивился и просил жену не разлучаться с детьми.

Якушкин просит жену нежно обнять сыновей, Вячеслава и Евгения, а детям пишет, что они должны «вести себя порядочно и если чему учиться, то учиться прилежно, вообще все, что они делают, стараться делать сколько возможно порядочнее...»

О себе лично он писал:

«Телесно, говорят, я не очень постарел за эти годы, седых волос, однако, много прибавилось. Душевно не только не постарел, но, как мне кажется, помолодел: иногда так светло, как прежде никогда не бывало».

Так проходит год за годом. Дети растут, старшему, Вячеславу, уже двенадцать лет. Якушкин не перестает мечтать о лучшем будущем, всячески старается ободрить жену и 3 июня 1838 года пишет ей:

«Кто-то сказал, что сон — это тоже жизнь. Тем более можно было бы сказать, что и мечта есть жизнь...»

* * *

Тяжело восприняли декабристы неожиданную смерть в Петровском заводе двадцативосьмилетней жены Никиты Муравьева, Александры Григорьевны Муравьевой.

Беганье в осеннюю непогоду и в сибирские морозы из острога домой и из дома в острог не прошли для Муравьевой бесследно.

Неожиданно тяжело заболел ее муж, и она вынуждена была дни и ночи проводить в тюрьме, у его постели, оставляя на произвол судьбы маленькую Нонушку, которую страстно любила и за жизнь которой всегда опасалась.

Муж стал поправляться, но заболела Нонушка. Большие нравственные волнения и чисто физическое утомление подорвали и без того слабое здоровье Муравьевой. Возвращаясь как-то поздно вечером из тюрьмы в легкой одежде, она простудилась и тоже слегла.

Три месяца она тяжело болела, и видно было, что жизнь ее с каждым днем угасает. Свою тяжкую болезнь она переносила безропотно. Ее окружали друзья, дни и ночи дежурившие у постели больной. Особенно она любила Якушкина. Накануне смерти она пригласила его к себе, но уже с трудом могла говорить.

Последние минуты Александры Григорьевны были трогательны. Она продиктовала прощальные письма к родным, простилась с Александром Муравьевым, братом мужа, и с друзьями, подарила каждому из них что-нибудь на память. Она просила не горевать о ней, сокрушалась только о своем Никитушке и дочери Нонушке, которые, как она говорила, без нее совершенно осиротеют.

В последнюю свою ночь позвала Трубецкую и продиктовала письмо к сестре, которую просила позаботиться о муже и дочери.

— Принесите мне Нонушку! — попросила она находившихся у постели.

— Она спит, — ответил доктор Вольф.

— Так не будите ее, пускай спит... Дайте мне ее куклу...

Ей подали куклу дочери, она поцеловала ее.

— Ну вот, я как будто Нонушку поцеловала... — сказала она.

Умирая, Муравьева выразила желание быть похороненной в Петербурге, в родовом склепе, рядом с отцом, и гроб с ее телом предполагали отправить в Петербург. Когда она скончалась, 22 ноября 1832 года, Н. А. Бестужев собственноручно сделал для нее деревянный гроб с винтами, скобами и украшениями, и в него поместили отлитый им второй, свинцовый. Но царь не дал разрешения хоронить ее в родовом склепе.

Он опасался, что похороны погибшей на каторге жены декабриста выльются в Петербурге в противоправительственную демонстрацию.

Муравьеву похоронили в Петровском заводе. Земля уже замерзла, и нужно было оттаивать ее, чтобы рыть могилу. Плац-адъютант вызвал каторжан, пообещав им за это хорошую плату.

Но рабочие запротестовали:

— Не возьмем ничего, это была мать наша, она нас кормила, одевала, а теперь мы осиротели. Идем без платы!..

Муравьева нашла покой на погосте церкви Петровского завода, рядом с двумя своими родившимися в Сибири и рано умершими девочками. Умирая, она знала, что скончался и

оставленный ею в Петербурге сын, а старшая дочь была психически больна. Вторая оставленная ею в Петербурге дочь тоже вскоре умерла. На руках у мужа Никиты осталась четырехлетняя Нонушка.

Ранняя смерть Муравьевой глубоко потрясла декабристов. За ее гробом рядом с ними шли ссыльнопоселенцы и вольное население Петровского завода. Все очень любили ее. Особенно тяжело восприняли смерть Муравьевой жены декабристов. Каждая из них спрашивала себя, что будет с ее детьми, если ее самое постигнет та же участь.

Над могилой Муравьевой муж ее поставил каменную часовню с неугасимой лампадой над входом...

Когда в Петербурге узнали о ранней трагической гибели Муравьевой, всем женам декабристов разрешено было уже ежедневно видеться со своими мужьями у себя дома...

На протяжении всего своего тридцатилетнего царствования Николай I не переставал опасаться «друзей 14 декабря». Он всегда имел на своем столе список декабристов, составленный для него секретарем Следственного комитета.

Получая через Бенкендорфа то или иное ходатайство декабриста, Николай I, прежде чем дать ответ на поступившую просьбу, всегда заглядывал в этот алфавит. Он читал все, что написано было в нем о роли просителя в подготовке восстания, о его поведении в день 14 декабря 1825 года и после этого — на допросе Следственного комитета. В зависимости от этого царь и давал через Бенкендорфа ответ. Эти ответы самодержавного тюремщика показывают, как злобно и мстительно он относился на протяжении десятилетий к декабристам, хотя и пытался скрывать это.

Когда, например, декабрист В. И. Штейнгель ходатайствовал о переводе его на поселение из Иркутской губернии в Ишим или в какой-нибудь другой, более близкий к Европейской России город, Николай I лицемерно написал: «Согласен, давно в душе простил его и всех».

Это «всепрощение» Николая I едко высмеял декабрист В. Л. Давыдов в своей частично сохранившейся поэме «Николасарос» — это сокращенное название означало: «Николай, самодержец российский»:

Он добродетель страх любил
И строил ей везде казармы;
И где б ее ни находил,
Тотчас производил в жандармы.

...По собственной его вине
При нем случилось возмущенье,
Но он явился на коне,
Провозглашая всепрощенье.
И слово он свое сдержал...
Как сохранилось нам в преданье,
Лет сорок сряду — все прощал,
Пока все умерли в изгнанье.

Никаких следов этого всепрощения мы и не находим в многочисленных резолюциях царя на ходатайствах декабристов.

В 1829 году декабрист А. А. Бестужев (Марлинский), уже известный тогда писатель, был направлен из Якутска рядовым на Кавказ, где дослужился до чина прапорщика. Поддерживая ходатайство Бестужева, его начальник М. С. Воронцов обратился к Николаю I за разрешением перевести его «на другое место, по части гражданской, чтобы он мог быть полезным отечеству и употребить свой досуг на занятие словесностью». На эту просьбу царь-жандарм ответил: «Мнение гр. Воронцова совершенно неосновательно: не Бестужеву с пользой заниматься словесностью... Бестужева не туда нужно послать, где он может быть полезен, а туда, где он может быть безвреден. Перевести его можно, но в другой батальон».

Генерал-губернатор Лавинский хотел поселить декабриста М. А. Фонвизина в Нерчинске, но Николай I сделал на представленном списке против имени Фонвизина пометку: «В другое место, далее на Север».

1 июля 1833 года декабрист А. В. Веденяпин, очень нуждаясь, просил разрешить ему отлучиться из Киренска, где он находился на поселении, в окрестные места, чтобы поступить в услужение к частным лицам и обеспечить себя дровами и хлебом. Николай I положил на его прошение резолюцию: «Согласен, но в услужение идти не позволять».

Декабрист поэт А. И. Одоевский обратился в 1833 году к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему получить от своих родных три тысячи рублей для помощи находящимся на поселении и нуждающимся декабристам. Николай I положил на этом ходатайстве резолюцию: «Отказать».

15 декабря 1835 года сам Бенкендорф представил Николаю I ходатайство о разрешении выдавать декабристам-поселенцам по двести рублей, а их детей, в Сибири рожденных, освободить от податей и повинностей. Резолюция царя гласила: «Согласен, но детей из податного сословия не выводить».

Эти непримиримые и мстительные резолюции Николая I на протяжении всех тридцати лет его царствования напоминали собою его записки к коменданту Петропавловской крепости Сукину, написанные в первые дни после восстания 14 декабря.

Декабристы, со своей стороны, пронесли через годы каторги и ссылки неугасимую ненависть к крепостничеству и самодержавию и в невыразимо трудных условиях сибирской подневольной жизни находили в себе силы продолжать борьбу, начатую еще до 1825 года. Не один Лунин «дразнил медведя» в его берлоге своими острыми политическими письмами к сестре. Не один Выгодский боролся на протяжении полувека с «воровским чернильным гнусом», как он называл нарымских и томских чиновников.

Сидя в Тираспольской крепости, двадцатисемилетний «мира черного жилец», «первый декабрист» В. Ф. Раевский писал стихи. Вспоминая, как после шестисотлетней вольности пали «во прах Новгород и Псков», он писал с глубокой верой в светлое будущее России:

С тех пор исчез как тень народ...
Он пал на край своей могилы,
Но рано ль, поздно ли — опять
Восстанет он с ударом силы!

И освободившись из крепости, продолжал вести упорную борьбу против сибирских властей...

Будучи заседателем суда, декабрист Бригген имел столкновение с генерал-губернатором Горчаковым по делу об убийстве крестьянина Власова, и Горчаков снял его с должности «за неуместные его званию суждения и заносчивое поведение».

Замурованный в одиночке Алексеевского рavelина Петропавловской крепости Батенков писал оттуда Николаю I резкие письма, одно из которых закончил строками:

И на мишурных тронах
Царьки картонные сидят...

«Переряженными жандармами» называл Лунин представителей духовенства, один из которых, архиепископ Нил, возбудил даже дело о том, что декабристы не ходят в церковь и не бывают на исповеди. И, пожалуй, одним из самых непримиримых, как и Лунин, был Горбачевский, примыкавший по своим воззрениям ближе к сменившему декабристов новому революционному поколению, чем к своим старым друзьям по восстанию 14 декабря.

Глава Четырнадцатая

КОНЕЦ КАТОРГИ

Боже мой, сколько пользы скоронежно между нами! Какой бы ход дали литературе руки наши, если бы им дали безделицу — гусиное перо!

А. Бестужев (Марлинский) братьям

ОТДЕЛЬНЫЕ группы декабристов заканчивали назначенные им сроки каторги. Приговоренные к меньшим срокам перешли на поселение еще из Читинского острога, остальные переходили постепенно, по мере окончания их каторжных сроков, уже из Петровского завода. В 1835—1836 годы вышли на поселение декабристы, отнесенные приговором суда ко второму разряду, а через четыре года покинули тюрьму Петровского завода остальные.

У декабристов было беспокойно на душе, когда они покидали стены тюрьмы и расставались с теми, с кем так много пережили и выстрадали.

Когда-то, после восстания, декабрист Басаргин уезжал на каторгу с десятью завернутыми в бумажку гривенниками — ему тайком передал их при отъезде из Петропавловской крепости плац-адъютант Подушкин.

«Это было все мое богатство, с которым я, слабый и больной, отправился в сибирские рудники, за тысячи верст от родных и близких», — вспоминал Басаргин.

С каторги он уезжал с семьями рублями, полученными из артельной кассы, чтобы не нуждаться в первое время после выхода из тюрьмы. Так, согретые теплом и лаской друзей, переходили на поселение все покидавшие тюрьму узники.

Но даже не призрак возможной нужды среди чужих людей волновал декабристов. Их волновало другое. Находясь так долго вдаль от людей и общения с ними, они ощущали в себе недостаток необходимой во взаимоотношениях с людьми житейской практической мудрости. Они опасались, что, очутившись на воле, будут делать ошибки, заблуждаться и обманываться. Но их поддерживало сознание, что на каторге они многому научились,

что у них выработалась непоколебимая твердость убеждений, что «стихия нравственная была у них болес или менее обеспечена от всякого внешнего и нового влияния».

С грустью расставались декабристы с товарищами по каторге.

«Может быть, — писал Басаргин, — мне не поверят, но, припоминая прежние впечатления, скажу, что грустно мне было оставлять тюрьму нашу. Я столько видел тут чистого и благородного, столько любви к ближнему, что боялся, вступая опять в обыкновенные общественные взаимоотношения, найти совершенно противное, жить, не понимая других, и, в свою очередь, быть для них непонятным... Меня утешало только то, что я буду жить вместе с Ивашевыми и, следовательно, буду иметь два существа, близкие мне по сердцу, которые всегда поймут меня и не перестанут мне сочувствовать».

Для характеристики настроения декабристов в момент их перехода с каторги на поселение интересно привести письмо к Пуцину Вадковского, который должен был выехать в село Манзурское, Иркутской губернии.

«Ты вправе думать, — писал своему другу Вадковский, — что я умер или что полусвобода, нам предоставляемая, меня вовсе переродила! Но и в том и в другом предположении ты ошибешься!.. Я просто был сначала в угаре, как и ты, потом в тумане, и, наконец, томительная неизвестность насчет моей будущности наваяла на меня такую тоску, такое нравственное онемение, что я долго как бы искал сам себя, — да не находил!.. Так и крепился, чтобы не впасть в хандру, которую презираю, когда она бывает следствием слабодушия! Ты знаешь, что я в тюрьме никогда не унывал, никогда не предавался пустым и неосновательным надеждам и, глядя на нашу братию, мужей кремнистых, умел постигнуть философию узничества, которая состоит в том, чтобы жить как можно более днем сегодняшним, а об завтрашнем не заботиться. Здесь же никак не мог применить этих благих правил к моему настоящему положению...»

Мысль о будущем настолько преследовала Вадковского, что он не мог ни о чем думать, ничем заняться, «лишен был даже возможности мечтать, потому что и мечтания, сколько бы они легкокрылы ни были, должны иметь опорную точку — земной приют, откуда они могли бы разлетаться во все стороны...»

* * *

Той самой дорогой, какой декабристов везли в 1826 году на каторгу, они возвращались, отбыв каторгу, через Байкал, в ме-

ста, назначенные им для поселения. Им предстояло прожить в местах ссылки еще долгие годы.

Стараясь не думать о разлуке с друзьями и о неопределенности своего будущего, декабристы наслаждались предоставленной им после стольких лет тюрьмы полусвободой. Часто выходили из экипажей и шли пешком по речным берегам и усыпанным цветами полям и лугам. Забайкальская природа ласкала глаз и говорила о том, что жизнь прекрасна.

Декабристы прибывали в Иркутск, где их встречал городничий, а затем принимал генерал-губернатор Лавинский, направлявший их в назначенные им места поселения.

Часто дальнейшая судьба декабристов зависела от чистой случайности. В этом смысле любопытна история, случившаяся с Лорером.

Поздоровавшись с прибывшими с каторги декабристами, генерал-губернатор Лавинский обратился к ним со словами:

— Господа, я должен бросить жребий между вами, назначить, кому где жить. Ежели б правительство предоставило мне это распоряжение, я, конечно, поместил бы вас по городам и местечкам, но повелением из Петербурга мне указывают места. Там совсем не знают Сибири и довольствуются тем, что раскрывают карту, отыщут точку, при которой написано «заштатный город», и думают, что это в самом деле город, а он вовсе и не существует. Пустошь и снега. Кроме этого, мне запрещено селить вас вместе, даже двоих. И братья должны быть разрознены. Где же набрать в Сибири так много удобных мест для поселения?

Началась жеребьевка.

— Кто из вас, господа, Лорер? — спросил генерал-губернатор.

Лорер выступил вперед.

— Вам, — сказал он, — досталось по жребию нехорошее местечко — Мертвый Култук, за Байкалом. Там живут одни только тунгусы, и ежели вы найдете там рубленую избу, то можете считать себя счастливым. Впрочем, в утешение ваше скажу — ежели вы любитель природы, — что местоположение там очаровательное и самое романтическое...

— Ваше превосходительство, — ответил Лорер, — красоты природы могут занимать и утешать свободного путешественника-туриста, но мне предстоит кончать там свой век безвыездно...

Лорер был обескуражен, как обескуражены были и другие декабристы, которым достались в удел дальние сибирские медвежьи углы, но генерал-губернатор просил их не отчаиваться и

ехать. Он добавил, что сам уже обратился в Петербург за разрешением перевести Лорера из Мертвого Култука.

Декабристы начали прощаться друг с другом и разъезжаться в назначенные им места поселений. Лорер покидал своих близких друзей, Нарышкиных, которым определено было ехать в Курган, и направился в Мертвый Кулдук. С разрешения генерал-губернатора он взял с собою для услуг ссыльнопоселенного немца, уже давно высланного в Сибирь за какое-то пустячное дело.

Лорер был потрясен, когда увидел затерянный на границе с Китаем Мертвый Кулдук. Ни на одной карте Азии не было обозначено это, как говорили тогда, богом и людьми забытое место. С шумом подъехали лошади к единственной избе, окруженной десятком тунгусских юрт, и за пять рублей в месяц хозяин избы согласился приютить Лорера у себя. Хозяйка жалостливо смотрела на декабриста.

— Ты такой ласковый и добрый... За какие вины могли тебя сослать сюда? — спросила она. — Император Павел был строгий царь, многих сослал в Сибирь, а в Кулдук ни одного не сослал... А как ты здесь будешь жить один, когда мы уйдем в леса по соболей, а сюда, как хищные звери, придут толпой с Яблонового хребта варнаки, которые жгут деревни, грабят и убивают людей?

— Ну, в таком случае, любезная хозяйюшка, — ответил Лорер, — и я пойду с тобой соболей ловить, буду тебе помогать — это же лучше, чем ждать, когда придут варнаки и зарежут тебя, как барана...

— А летом тебе везде будет еще хуже. В болотах тебя заедят мошки, мухи, овод... Мы тут сорок лет живем и то не можем привыкнуть.

Этот простой, дружеский и благожелательный разговор осветил Лореру все его мрачное, беспросветное будущее.

Разогрели походный самовар, напились чаю. Лорер завернулся в шинель, лег спать и предался горестным мыслям: так вот где, за семь тысяч верст от близких друзей и знакомых, ему придется кончить свои дни. Но он посмотрел на немца, которого привез с собою, и подумал: ведь вот он тоже отделен от своей семьи и родины и не унывает...

Немец распаковывал в это время вещи.

— Скажи мне, пожалуйста, любезный Карл, — обратился к нему Лорер, — отчего ты работаешь, а я лежу, тогда как мы равны — и ты и я оба сосланы?

— Не знаю, сударь, — ответил Карл по-немецки.

— А я тебе скажу немецкую поговорку, — сказал Лорер, — у меня деньги, а у тебя кошелек... Вот отчего, я думаю...

Немец улыбнулся и ответил:

— Да, будь у меня деньги, а у тебя кошелек, то мы, видно, поменялись бы ролями и господин бывший майор чистил бы мне сапоги и наставлял самовар, а я бы лежал...

Усталость взяла свое, и оба скоро уснули. Утром мрачные мысли снова охватили Лорера. Он сравнивал себя с Робинзоном Крузо на необитаемом острове, но тут же подумал, что ему все же лучше: Робинзон долго жил одиноко, а с ним рядом — живые люди и кругом, на просторах Сибири, разбросаны его друзья и товарищи, декабристы. Это вселяло надежды.

Так думал Лорер и, конечно, не мог себе представить, что незадолго до его приезда в Мертвый Култук о нем шел в Зимнем дворце разговор, который решительно изменил путь его жизни. Помогла ему в этом его племянница, известная фрейлина А. О. Россет-Смирнова, приятельница Пушкина, Лермонтова, Жуковского и Гоголя.

С Николаем I вообще нельзя было говорить о декабристах, но Россет-Смирнова, умная, образованная и обаятельная женщина, воспользовавшись как-то на одном из придворных вечеров хорошим настроением Николая I, попросила царя разрешить Лореру поселиться вместе с Нарышкиными.

— А где поселен Лорер? — спросил царь присутствовавшего при этом Бенкендорфа.

Всесильный министр не знал и замаялся.

— Ну, все равно... А где поселен Нарышкин? — спросил Николай I.

— В Тобольской губернии, ваше величество.

— Так пошлите эстафету к генерал-губернатору Лавинскому с приказанием поселить дядю фрейлины Россет в том самом месте, где поселен Нарышкин...

Прошло всего несколько дней, как Лорер приехал в Мертвый Култук. Грустный и задумчивый сидел он как-то вечером над книгой. Свеча слабо освещала комнату, на душе было тоскливо, и читать не хотелось. Вспомнился Петербург, но тихое урчанье кипящего самовара возвращало к действительности. На дворе было морозно, но тихо. Изредка, чуя зверя, лаяли собаки. Неожиданно вдали послышались звуки почтового колокольчика. Хозяин вышел на улицу и, вернувшись, сказал, что с горы кто-то быстро катит.

— Уж не заседатель ли едет удостовериться, тут ли вы, чтоб донести по начальству? — высказал он догадку.

Прошло несколько минут, послышались окрики погонявшего лошадей ямщика, и в комнату неожиданно вбежал тот самый казак, который привез Лорера из Иркутска в Мертвый Култук.

— Николай Иванович, — сказал он, — собирайтесь, вот вам письмо. Едем обратно в Иркутск.

Оказывается, возвращаясь в Иркутск, казак встретил в пути другого казака, который ехал к Лореру с письмом из Иркутска, и он решил вместе с ним вернуться в Мертвый Култук.

Дрожащей от волнения рукой Лорер раскрыл записку. В ней было официальное разрешение выехать в Иркутск и несколько слов, написанных карандашом по-французски рукою жены декабриста, Нарышкиной: «Дорогой Н... Приезжайте как можно скорее, мы будем спокойно жить в Кургане (Тобольской губернии), на четыре тысячи верст ближе к нашему отечеству».

Лорер не стал даже ждать утра. Распростившись со своими добрыми хозяевами, оставив им на радость все свои припасы, посуду и утварь, он ночью выехал из Мертвого Култука.

— Дай бог, чтобы я был последним сосланным в него! — сказал он, садясь в сани.

Возвращаясь тем же путем, каким он только что ехал на этот край света, Лорер недоумевал: кто же явился его избавителем? Через несколько дней он уже был в Иркутске и обнимал Нарышкиных, а вечером был приглашен вместе с ними на бал в генерал-губернаторский дом. Весь дом был ярко освещен, слышались звуки музыки. Нарышкина пела, и Лореру вспомнились далекие счастливые годы его петербургской жизни.

— Думали ли вы несколько дней назад, — спросил его генерал-губернатор Лавинский, — что будете сидеть сегодня в кругу ваших друзей и пить шампанское? Конечно, нет...

Так судьба декабристов была часто полна случайностей и неожиданностей. Они всегда были вне закона. В своем отношении к декабристам царское правительство руководствовалось произволом: они не могли даже пользоваться всем тем, на что имели право каторжники, ссыльные и поселенцы. И не всем удалось, как это удалось Лореру, выбраться из своих сибирских медвежьих углов.

* * *

Тепло и сердечно провожали уезжавших те, кому предстояло побыть еще годы в тюрьме Петровского завода. Эти проводы они вспоминали через десятилетия.

Одним из первых уезжал в Курган отбывший каторгу декабрист Розен. Жена его выехала вперед с ребенком, которого в

память К. Ф. Рылеева назвали Кондратием. С грустью думала она о том, что в Петербурге у сестры растет ее старший сын, Евгений, что там остались мать и отец и неизвестно, увидятся ли они когда-нибудь с родными и близкими.

Оболенский сшил маленькому сыну Розена светло-голубую шинель, моряк Торсон сделал для него качающуюся матросскую койку, а Н. Бестужев приготовил винты, пряжки и ремни, чтобы койку можно было прикрепить в экипаже наподобие висячей люльки. От ветра ее защитили занавеской.

Напутствуемая друзьями и товарищами, с ребенком на руках, Розен в ясный, безоблачный июльский день навсегда покидала Петровскую тюрьму. Скоро вслед за нею выехал и ее муж.

— Берегите моих товарищей! — сказал он, прощаясь, коменданту, генералу Лепарскому.

У караульной, под сводами ворот, сгрудились провожавшие его декабристы. Но зависти не было в их душах, они рады были, что еще один их товарищ покинул тюрьму. И сам Розен не переставал думать об оставленных в тюрьме друзьях.

«Я, без отдыха, не скакал, а летел, как птица из клетки, — вспоминал он, — чудные берега Селенги мелькнули перед глазами, дни и ночи ясные освещали все где яркими, где бледными красками, но душа попеременно была то в Иркутске, у жены и сына, то у товарищей в оставленной мною тюрьме».

Прибыв в Иркутск, Розен узнал в полиции адрес жены и, не задерживаясь, выехал с нею к месту своего назначения, в Курган. На пути им пришлось остановиться в деревне Фирстовой, так как жена ждала ребенка. Когда они тронулись в путь после этой невольной остановки, маленький Кондратий продолжал путешествовать по сибирским просторам в сооруженной для него декабристами висячей матросской койке, а на руках у матери лежал второй, только что родившийся сын Василий.

Скоро вдали показалась колокольня курганской церкви. Чувство невыразимой тоски охватило Розена, когда, глядя на жену и двух малюток, он думал о том, что, быть может, здесь ему придется окончить свою жизнь изгнанника...

* * *

Вместе с Розеном и его семьей покидали тюрьму Фонвизины. Их родившиеся на каторге дети погибли, и, отправляясь на поселение, они с грустью думали о своих оставшихся у бабушки двух сыновьях.

Некоторые из осужденных уже получили в то время разрешение поступить рядовыми в Кавказскую армию, и Фонвизин,

генерал, участник Отечественной войны 1812 года, также обратился к Николаю I с просьбой разрешить и ему поступить в армию рядовым. Царь отказал: Фонвизину было тогда уже около пятидесяти лет.

Носились слухи, что детям и родителям разрешено будет приехать к изгнанникам, но это были лишь слухи, порожденные страстным желанием декабристов и их жен увидеться наконец с детьми и родителями. Фонвизина обратилась к Бенкендорфу с просьбой разрешить ей приехать на самое короткое время в Россию, чтобы где-нибудь, хотя бы вдали от Москвы, повидаться со своей полуослепшей матерью. При этом она давала обязательство даже не пытаться видеть своих сыновей, если на это не последует особого разрешения.

Бенкендорф отказал. Он не решился даже ходатайствовать об этом перед царем.

Письма из России шли невеселые. Это удручало Фонвизиных и тяжело отражалось на их душевном состоянии. Как-то Фонвизина обменялась с матерью портретами, но мать не узнала дочери, а дочь — матери, так сильно они изменились.

В то время, когда Фонвизина хлопотала о разрешении повидаться с матерью, оба ее сына уже были тяжело больны туберкулезом. Когда она впоследствии неожиданно получила известие о смерти старшего сына, Дмитрия, она писала матери:

«Иметь сына и не знать его, и лишиться его, не узнавши, не иметь возможности сохранить о нем даже воспоминание, не иметь понятия ни о взгляде его, ни о голосе, ни о фигуре, ни о характере... Только матери, находящиеся в моем положении, могут понять мое горе, но и у них остаются хотя бы воспоминания, а у меня и тех нет: горе, горе и горе!...»

Очень скоро умер и второй сын...

* * *

Якушкин уезжал один. Жена его так и не могла добиться разрешения выехать к мужу. Портреты ее и детей, двух мальчиков, висели в его камере над столом, он всегда чувствовал их присутствие в своей тюрьме и не переставал надеяться на их приезд. В своих письмах он рассказывал жене о дружной жизни декабристов и писал, что ее с детьми все встретят дружески.

Перейдя на поселение в Ялуторовск, Тобольской губернии, Якушкин получил уже право переписки и часто писал жене. Он мучительно переживал невозможность лично сделать что-либо для детей и вынужден был успокаивать себя тем, что дети его не совсем сироты и что жена тоже не покинута в мир...

Добрую память оставили по себе, выйдя на поселение, Ивашевы. Сохранились трогательно нежные, дружеские письма к ним в Туринск Волконской и Юшневской.

Они посылают им незабудки с могилки оставшегося в Петровском заводе их первенца Саши. Могилку украшают полевыми лилиями. Пушин сажает вокруг нее деревья. Закрытые ставни ивашевского домика навевают на них грусть. Приветы им посылают Трубецкие, овдовевший Никита Муравьев, Поджио — все «господа наши казематские», как называет их в письме Юшневская...

Через Байкал направлялся в село Бельское и декабрист Анненков с женою. Дорога проходила по живописнейшей местности восточной Сибири. Однажды пришлось подниматься по песчаной дороге на очень высокую, крутую гору. Тарантасы были тяжело нагружены. В одном из них стоял тяжелый сундук с любимыми книгами Анненкова, большею частью французских философов, с которыми он никогда не расставался. Лошади выбились из сил и стали.

Неожиданно вдали показалась телега, на которой рядом с урядником сидел закованный в ручные и ножные кандалы каторжник. Он вызвался помочь Анненковым, быстро соскочил с телеги, каким-то особым, ему одному известным манером тряхнул руками и ногами, и кандалы оказались на земле. Это был знаменитый на всю каторгу разбойник Горкин, обладавший удивительной способностью сбрасывать с себя оковы. Как-то он проделал эту штуку перед генерал-губернатором Восточной Сибири Броневским и этим привел его в ужас...

Должен был выйти на поселение и Волконский, по особому ходатайству перед Николаем I его матери. В течение долгого времени оставался, однако, нерешенным вопрос, где поселить его: Николай I потребовал, чтобы для Волконского избрано было место, «где не поселено ни одного из государственных преступников».

М. Н. Волконская, ссылаясь на свое болезненное состояние и на то, что у нее двое детей, обратилась к Николаю I с просьбой разрешить ей поселиться с мужем под Иркутском, и именно там, где будет поселен доктор Вольф. Лишь через несколько месяцев, осенью 1836 года, царь дал на это согласие. Волконская вынуждена была поэтому еще задержаться в Петровском заводе и в назначенное ей для поселения село Урик, Иркутской губернии, выехала лишь в марте 1837 года...

Тяжелое впечатление произвело на всех прощание Никиты Муравьева с могилкой жены при отъезде из Петровского завода.

Казалось, он вторично переживал свою утрату. Уже и семилетняя Нонушка понимала, что оставляет в Петровском заводе мать. Она стала на колени у плиты могилы и положила на нее букетик полевых цветов.

В день их отъезда шел проливной дождь, оставшиеся в Петровском заводе Волконская, Трубецкая, Давыдова и Юшневская провожали их. Дошли до часовни, где покоилась Муравьева, поклонились ее праху и со слезами на глазах простились...

Особенно трудным было положение Юшневских. Все эти годы им и без того жилось тяжело. Сенат еще не рассмотрел к тому времени дела о начетах, все имущество Юшневского находилось под запретом, брат не мог им много помогать, а больше никого у них не было в России. Цены в Сибири из-за неурожая на все выросли, и Юшневская писала: «Бедная артель наша казематская в прошлом году имела еще и жаркое к обеду, а к ужину одну булку с чаем, а теперь живут одним дурным супом...»

— Каждый раз, — говорила Юшневская, — прощания наши с уезжающими бывают очень трогательны. Родные братья не могут расставаться с большей грустью — так несчастья и одинаковость положения сближают. И мы плачем, как сестры, провожая своих братьев. Как трудно расставаться с людьми, с которыми столько лет прожили вместе в условиях каторги!..

* * *

Уезжая из тюрьмы Петровского завода на поселение, декабристы тепло прощались с комендантом Лепарским. Строгий и часто беспощадный к обитателям каторги, он соблюдал осторожность в своих отношениях с декабристами.

Он держал себя с ними очень корректно. Посещая тюрьму, никогда не заходил в камеры, не постучав и не спросив разрешения войти. Если видел на столе чернильницу, что было запрещено, говорил улыбаясь: «Я этого не вижу!..» Такое отношение коменданта к декабристам являлось, естественно, примером для плац-адъютанта, офицеров и всей тюремной охраны.

Покидая тюрьму, декабрист Басаргин счел необходимым поблагодарить Лепарского за такое его отношение к декабристам.

— Генерал, — сказал он, — в течение десяти лет вы доказали вашим обращением с нами, что можно соединить человеколюбие с обязанностями служебными. Вы поступали с нами как человек добрый и благородный и много этим облегчили наше положение. Несколько раз я хотел было выразить вам искреннюю мою признательность, но считал это неуместным, пока мы

были под надзором вашим, и отложил это до дня отправления из Петровского. Этот день настал. Благодарю вас от души. Я уверен, что вы не усомнитесь в искренности моих слов теперь, когда мы, вероятно, расстаемся с вами навсегда.

Генерал Лепарский был тронут.

— Ваши слова, — ответил он, — лучшая для меня награда, но и с моей стороны я должен отдать вам полную справедливость. Вы все, господа, вели себя так, что если бы на вашем месте были все Вашингтоны, то и они не могли бы лучше вести себя. Мне ни одного раза не случалось прибегать к мерам, несогласным с моим сердцем, и вся моя заслуга состоит в том только, что я понял вас и, вполне на вас надеясь, следовал его внушениям.

Беседа как-то с декабристами, незадолго до смерти, Лепарский сказал:

— Что скажут и напишут обо мне в Европе? Скажут, что я бездушный тюремщик, палач, притеснитель; а я дорожу этим местом только для того, чтобы защищать вас от худших притеснений, от несправедливостей бессовестных чиновников. Какая польза мне от полученных чинов и звезд, когда здесь даже некому их показать? Дай бог, чтобы меня скорее освободили отсюда, но только вместе с вами.

Лепарский недолго прожил после этого. 30 мая 1837 года он скончался. Декабристы с грустью проводили его прах для погребения в ограде церкви Петровского завода. Покидая Сибирь, многие декабристы увозили с собою на память нарисованные Н. Бестужевым акварельные портреты Лепарского.

На его место был назначен новый комендант, жандармский полковник Г. М. Ребиндер. Он сделал было попытку изменить характер отношений с декабристами, но вскоре вынужден был пойти по пути Лепарского.

Прекрасные отношения сложились у декабристов и с управлявшим Петровским заводом горным инженером А. И. Арсеньевым, человеком прямым, бескорыстным, честным и благожелательным. Редкий день проходил, чтобы он не навещал декабристов в их казематах или чтобы они не посещали его. «Посреди нас — он был наш, мы и он делили пополам и радость, и горе», — вспоминал М. А. Бестужев.

При таких отношениях с начальством пребывание декабристов в Петровском заводе положительно сказывалось на укрощении буйного произвола низшего начальства. О тех или иных злоупотреблениях декабристы сразу узнавали от каторжан и немедленно принимали меры к их устранению.

Каторжане платили им за это чистосердечной привязанностью и бескорыстной любовью. В продолжение всего пребывания декабристов в Петровском заводе эти отверженцы общества ни разу не погрешили против них ни словом, ни делом. Это были большей частью жертвы бесчеловечного отношения к ним помещиков или произвола начальников, бессовестного суда, порочного устройства тогдашнего общества и разгула русской барской природы в эпоху крепостного права.

Между этими людьми и декабристами установились простые и ясные человеческие отношения.

* * *

Наступил 1839 год. В июле весь первый разряд более нежели на тридцати повозках тронулся из казематов Петровского завода в разные места на поселение. Тюрьма опустела. Декабристов разбросали по всей Сибири, от Оби до Амура. Лишь один декабрист, И. И. Горбачевский, решил остаться доживать свой век в Петровском заводе.

В 1866 году тюрьма Петровского завода, этот гроб молодости декабристов, сгорела. Неизвестно, был ли сожжен этот мрачный памятник самодержавия, будивший жгучую ненависть к царскому правительству, по приказу из Петербурга, о чем ходили слухи, или его сожгло само население...

глава *Пятнадцатая*

ПОСЛЕДНИЙ АКТ ДРАМЫ

Уже началось и разыгрывается последнее действие нашей драмы... и не знаю, где завтра доведется мне постлать мою постель.

Ф. Ф. Вадковский — И. И. Пущину

У ЖЕ В ДЕНЬ вынесения приговора Николай I дал приказ направить осужденных декабристов в какой-нибудь один далекий острог и одновременно начать строить для них специальную обширную тюрьму. Разместить декабристов по разным тюрьмам и рудникам

царь боялся: он стремился обеспечить строжайший надзор за собранными в одном месте декабристами и тем самым воспрепятствовать повсеместному распространению ими опасных для самодержавия свободолобивых идей.

Сурово осудив декабристов, царь хотел, чтобы судьба их служила постоянным угрожающим примером для тех, кто снова вздумает восстать против него.

Но Николай I ошибся. Если бы декабристы не жили все эти годы каторги вместе и лишены были возможности морально и материально поддерживать друг друга, они могли раствориться в среде каторжных и ссыльных, и — кто знает — может быть, молодые люди, только 14 декабря 1825 года вступив в жизнь, могли опуститься и погибнуть в новой для них обстановке.

Когда кончилась каторга и декабристы перешли на поселение, царь хотел исправить свою первую ошибку — поселив всех в одном месте — и совершил вторую: он дал приказ не селить декабристов вместе, а разбросать их по необъятным просторам огромной Сибири. Но это была уже запоздалая мера. Когда декабристы вторично вступали в жизнь, население в городах, селениях и одиноких поселках Сибири уже хорошо знало, кто были декабристы и за что они боролись.

Декабрист Вадковский рассказывал, что на пути с каторги он как-то остановился на берегу реки и сел пить чай с рыбаками. Они не знали его, но дело было в Сибири, и сам собою завязался разговор о декабристах. Многих из них рыбаки знали по имени, в Вадковском угадали их товарища, и конца не было их искренней, сердечной беседе.

«Признаюсь, — писал после этого Вадковский Пуцину, — какое-то чувство гордости овладело мною, и я поневоле подумал: ох, эти людоеды, ох, эти кровопийцы! Бросят они людей в какое-то захолустье! Смотришь... их и там чтут, любят и уважают!»

И так было везде. Жители тех мест, где селились декабристы, сразу чувствовали высокий культурный и нравственный уровень новых поселенцев. Не принимая участия в городских сплетнях и пересудах, декабристы жили своей собственной жизнью, иногда посещали местные кружки, но от более тесного с ними общения уклонялись. Это избавляло их от возможных осложнений и столкновений и одновременно заставляло местных жителей ценить знакомство с ними.

Начальство по-разному относилось к декабристам. Высшее — генерал-губернаторы, непосредственно получавшие из Петербурга инструкции и указания, — формально и официально.

Низшее, малокультурное, злое и трусливое, — в большинстве недоброжелательно и придирчиво. Губернаторы и губернские чиновники, приезжая на места поселений декабристов и знакомясь с ними, обычно оказывали им почтительное внимание, но удовлетворять те или иные серьезные ходатайства декабристов, по существу, не имели права.

Несмотря на приказ не селить декабристов вместе, жизнь вносила свои поправки в сухие и бездушные распоряжения чиновников царского окружения: многим удавалось селиться вместе со своими наиболее близкими друзьями.

Под Иркутском образовались небольшие колонии вышедших на поселение декабристов. Деревеньки, в которых они жили, находились рядом, и они имели возможность встречаться.

На поселении, как и на каторге, жены декабристов и их семьи являлись главными объединяющими всех центрами. Они по-прежнему вникали в быт и потребности нуждающихся товарищей и всегда тепло и сердечно приходили им на помощь.

Волконские поселились в селе Урике, под Иркутском. Летом жили на даче «Камчатник», на берегу Ангары. Сюда наезжали жившие вблизи декабристы.

По мере того как налаживалась на поселении жизнь Волконских, постепенно вступали в свои права привычные условия их круга. Но годы каторги очень отразились на их внутреннем облике.

«Я совершенно потеряла живость характера, — писала Волконская сестре Елене в 1838 году, — вы бы меня в этом отношении не узнали. У меня нет более ртути в венах. Чаще всего я апатична; единственная вещь, которую я могла бы сказать в свою пользу, — это то, что во всяком испытании у меня терпение мула; в остальном — мне все равно, лишь бы только мои дети были здоровы. Ничто не может мне досаждать. Если бы на меня обрушился свет — мне было бы безразлично».

Сильно изменился и характер мужа Волконской, Сергея Григорьевича. С товарищами он был по-прежнему близок, но редко бывал в их кругу, больше дружил с крестьянами. Занявшись сельским хозяйством, он летом большую часть времени проводил на пашне, а зимой — на базаре, где любил потолковать по душам с крестьянами.

«Сам живу-поживаю помаленьку, — писал Волконский Пущину, — занимаюсь вопреки вам хлебопашеством и счетах свожих с барышком, трачу на прихоти, на баловство детям свою трудовую копейку».

Волконского можно было часто встретить на облучке крестьянской телеги, заваленной мешками зерна и муки. Мирно беседуя с обступившими телегу крестьянами, он часто завтракал краюхой черного хлеба.

В 1845 году сыну Волконской, Михаилу, исполнилось двенадцать лет. Ему разрешено было, по особому ходатайству, поступить в иркутскую гимназию, и Мария Николаевна также получила разрешение переехать в Иркутск. Мужу позволено было навещать семью два раза в неделю, а спустя несколько месяцев и совсем переехать в Иркутск.

В Иркутске Волконский продолжал общаться с крестьянами. Когда они приходили к нему в гости, он принимал их не в большом доме, а во дворе, в небольшой комнате, похожей скорее на кладовую, где валялась всякая рухлядь и принадлежности сельско-хозяйства.

Так проходил год за годом. В 1849 году сын Михаил окончил гимназию. В университет ему не разрешено было поступить, и генерал-губернатор принял его к себе на службу в качестве чиновника особых поручений. Дочь, Нелли, когда ей исполнилось шестнадцать лет, вышла замуж за Д. В. Молчанова, чиновника канцелярии генерал-губернатора. Брак этот оказался неудачным: Молчанов был отдан под суд за какие-то злоупотребления, затем тяжело заболел, был разбит параличом, лишился рассудка и скончался.

* * *

Дом Трубецких явился таким же объединявшим декабристов центром в соседнем селе Оёке. Трубецкая часто переписывалась с родными, но ни отец, граф Лаваль, ни мать — вообще никто из близких не сделал попытки посетить ее в изгнании. Кроме двух мальчиков, умерших в детском возрасте, у Трубецких родились в Сибири еще четверо детей.

Все пережитое за годы каторги и ссылки тяжело отозвалось на здоровье Трубецкой. Она долго болела и 14 октября 1854 года на руках у мужа скончалась в Иркутске. Ее похоронили в ограде иркутского Знаменского монастыря.

Пройдя рука об руку с мужем тяжкий двадцативосьмилетний путь каторги и ссылки, Трубецкая всего двух лет не дождала до того дня, когда декабристам и их женам разрешено было наконец вернуться в Россию.

Трубецкой тяжело пережил смерть жены, и вскоре вместе с двумя младшими детьми уехал из Иркутска к старшей дочери, Александре, жившей в то время с мужем в Кяхте.

За больной Трубецкой долгое время ухаживала жившая в соседнем селе Малой Разводной, в четырех верстах от Иркутска, жена декабриста Юшневского.

Юшневские поселились, покинув в 1839 году каторгу, на берегу Ангары, в одном домике с декабристом Артамоном Муравьевым. После тюрьмы жизнь показалась им здесь прекрасной. Свою комнату они называли «клеточкой с крошечным крылечком». Через маленькое окошечко видны были плывущие по реке суда. Летом цвела черемуха, и Юшневская мысленно переносилась на родину, где она была счастлива в кругу родной семьи. «Взволновалось сердце, и грусть нестерпимая овладела мною!» — писала она брату мужа.

Но нужда и лишения брали за горло.

«Потребовалась бы целая тетрадь, — писал Юшневский Пушкину 25 марта 1840 года, — на описание всех беспокойств и нужды, какие перенесли мы... Переезды расстроили нас вконец. Мы погибли бы без пособия добрых товарищей».

Чтобы поддержать свое существование, Юшневские брали к себе на воспитание и обучение детей. Юшневский давал им уроки, жена обучала девочек рукоделию.

Они имели возможность ездить в Иркутск и близлежащие деревни и встречаться с товарищами и друзьями по каторге.

В 1842 году в Сибирь приехала дочь Юшневской, Софья, с мужем, художником Рейхелем, и восьмилетним сыном. Это была улыбка жизни в ее горестной судьбе. Но вскоре, 10 января 1844 года, Юшневскую постигло большое горе. Ее муж, Алексей Петрович, отправился в церковь на отпевание своего умершего товарища, декабриста Ф. Ф. Вадковского, и там во время обеда скончался.

Юшневского похоронили на кладбище в Малой Разводной. На надгробном памятнике, по его желанию, начертали надпись: «Мне хорошо».

Через два года на этом же кладбище лег рядом с ним декабрист Артамон Муравьев. Впоследствии их останки перевезены были в Иркутск.

Юшневская осталась одна. Ей было уже шестьдесят лет и очень хотелось повидаться с своей семидесятишестилетней матерью. Генерал-губернатор Руперт обратился по этому вопросу, по ее просьбе, к Бенкендорфу, но получил отказ. Бенкендорф сослался при этом на специальное царское распоряжение, которое гласило, что «прежде смерти мужей жены не могут остав-

лять Сибири, а после смерти мужей женам возвращаются все прежние их права вместе с предоставлением уже в непосредственное их распоряжение имений и доходов с них, однако лишь в пределах Сибири, дозволение же вдовам государственных преступников возврата в Россию безусловно или с известными ограничениями зависеть будет от особого усмотрения правительства и не иначе каждой из них дано быть может, как с высочайшего разрешения».

Николай I не разрешил, таким образом, Юшневской выехать из Сибири, и это поразило ее: ведь царь обещал женам декабристов, что после смерти мужей они могут вернуться на родину. В этом смысле они даже дали подписку, уезжая в Сибирь...

Юшневская часто переезжала с места на место, посещала друзей — в Кяхте, Селенгинске и Иркутске, — зарабатывала свой хлеб уроками грамоты и рукоделия. Только в 1855 году, накануне амнистии, через двадцать пять лет после приезда в Сибирь и через одиннадцать лет после смерти мужа, Юшневская получила наконец разрешение выехать из Сибири. До самой своей смерти она находилась под секретным надзором.

* * *

Вместе с Волконскими поселился в Урике, после смерти жены в Петровском заводе, Никита Муравьев с семилетней дочерью Нонушкой. С ним приехал и его брат, Александр Муравьев, остававшийся в Петровском заводе до окончания срока каторги Никиты.

Недолго прожил Никита Муравьев в Урике. Совершенно неожиданно, всего четыре дня проболев, он 28 апреля 1843 года скончался. Ему было всего сорок семь лет.

О неожиданной смерти Н. М. Муравьева Волконский сообщил Пушкину в письме от 2 мая 1843 года, адресованном в Тольськ:

«Передам Вам горестную весть о Муравьевых: наш праведный Никита Михайлович переселился в жилище праведных 28 числа апреля, в 6 часов утра, после четырехдневной болезни.

Никита Михайлович был... нежный муж и примерный отец, отличный гражданин, отличный брат тюремных, добродетельный человек, — а это добрый запас для вечного отчета... Сир и нищ потеряли в нем благодетеля, а мы — человека, достойного нашего движения, ветерана нашего дела, товарища, пылкого душой и ума обширного...

Письмо мое или содержание оно сообщите нашим товари-

щам Западной Сибири, пусть не взыщут за нескладное мое повествование, но не до слога было, писав Вам это письмо».

Декабристы грустят об оставшейся круглой сироте, дочери Муравьевых, Нонушке. Якушкин добавляет со своей стороны к письму Волконского строки:

«С осторожностью сообщите об этом нашем общем горе Наталье Дмитриевне и Михаилу Александровичу (Фонвизиним. — А. Г.), обоих их оберегите от внезапного сообщения столь горестной для них вести».

После смерти брата Александр Муравьев обратился к Николаю I с просьбой разрешить ему хоть на короткое время съездить в Москву и в последний раз повидаться после стольких лет разлуки с измученной, почти ослепшей от слез матерью.

Царь не разрешил, хотя прекрасно знал Муравьевых и их отца, Михаила Никитича, который был воспитателем его братьев, императора Александра I и Константина.

Оставшуюся круглой сиротой Нонушку разрешено было после долгих хлопот отправить из Сибири, к бабушке, Е. Ф. Муравьевой. Все очень любили девочку и тепло провожали из Иркутска. Волконская писала Пушкину в Ялutorовск:

«Отъезд Ноно расстроил мое здоровье. Я как сейчас вижу эту карету, которая отвезла ее в институт под фамилией Никитиной. Едва закрываются мои глаза, как я думаю о превратности и моей судьбы: не будет ли то же с моими детьми?.. Если честные люди находят искренне, что мы хорошо сделали, последовав за нашими мужьями в изгнание, то вот награда Александрине, этой святой женщине, которая умерла на своем посту для того, чтобы заставить дочь свою отречься от имени своего отца и своей матери».

Е. Ф. Муравьева тяжело переживала гибель на каторге старшего сына и невестки и смерть оставленных ими в России детей. Она горячо привязалась к приехавшей из Сибири впушке, но недолго уже прожила после всего перенесенного. В 1848 году она скончалась — ей было уже семьдесят семь лет.

Дядя Нонушки, Александр Муравьев, продолжал в то время оставаться в Сибири. Ему разрешено было жить в Тобольске и поступить на службу. Он женился на Ж. А. Бракман, служившей воспитательницей. Это был счастливый брак, у них были дети. Они много помогали беднякам города, и на протяжении десятилетий после их отъезда население благодарно вспоминало их.

В их доме бывал, между прочим, шведский художник Шарль

Мазер, путешествовавший в начале 50-х годов прошлого столетия по Сибири и нарисовавший портреты многих декабристов.

До поездки в Сибирь Мазер нарисовал в Москве известный посмертный портрет Пушкина, для которого позировал друг поэта П. В. Нащокин.

Находясь в Тобольске и не предъявив полиции документов, Мазер начал писать портрет жены Александра Муравьева. Это вызвало обширную ведомственную переписку. Тобольский полицмейстер доносил гражданскому губернатору: «Мною дознано из-под руки, что означенный скрывающийся от полиции живописец снимает портрет с жены государственного преступника Муравьевой и что она была в своем доме у него на сеансе вчерашнего и сегодняшнего числа, это довольно верно... Тем более, что под видом снятия портретов с жен они могут снять и с себя... Ибо, как и вам самим известно, что Муравьев приобрел в обществе какой-то вес и держит такт значительного дома, я потому опасался, чтобы, приняв меры полицейские, не подвергнуть себя невинному какому-либо взысканию», — писал своим казенным пером полицмейстер.

В ответ на это донесение губернатор сообщил Муравьевой через пристава, что, «следуя высочайшей воле... она не должна снимать с себя портретов». Мазера вызвали в полицию, заставили дать подписку, что он не закончит начатого им портрета Муравьевой, а через несколько дней вынудили выехать из Сибири. Портрет остался неоконченным...

* * *

На протяжении всех тридцати лет своего царствования Николай I делал вид, что оказывает декабристам «милости» и «прощает» их.

18 февраля 1842 года он решил оказать детям вышедших на поселение декабристов новую особую «милость»: «из сострадания к их родительницам, пожертвовавшим всем для исполнения супружеских обязанностей», царь разрешил принять их сыновей в кадетские корпуса, а дочерей — в институты, с тем, однако, чтобы они не носили фамилии родителей, а именовались Сергеевыми, Никитиными, Васильевыми — по имени своих отцов. Самые имена декабристов царь хотел вытравить из людской памяти.

Но даже эта лицемерная «милость» была оказана не всем, а лишь декабристам, вступившим в брак в дворянском состоянии, до вынесения им приговора.

В Сибири у Волконских родились двое детей, у Трубецких — четверо, у Давыдовых — семеро, у Анненковых — четверо, у Ивашевых — трое, у Розен — четверо, у Никиты Муравьева — дочь. У Фонвизиной, Нарышкиной, Юшневской и Ентальцевой детей не было.

До вынесения приговора были оформлены лишь браки Волконских, Трубецких, Муравьевых, Давыдовых и Розен, и потому лишь они подходили под указанную царем категорию декабристов.

Требование царя о лишении детей фамилии родителей произвело на декабристов удручающее впечатление. Разбросанные по всей Сибири, декабристы одинаково резко реагировали на эту царскую «милость».

— Нет, вы не оставите меня, вы не отречетесь от имени вашего отца! — крикнула Волконская, обнимая и покрывая поцелуями лица детей.

— Приказано ли их взять силою? — спросила генерал-губернатора Руперта легко терявшаяся Трубецкая.

— Нет, государь только предлагает это их матерям...

Тем не менее, объявляя декабристам царскую «милость», Руперт настаивал на безусловном принятии ее и даже потребовал от каждого из них письменного согласия на это. Но декабристы отвергли жестокую царскую милость. Согласились принять ее лишь многодетные Давыдовы. Остальные отказались, и каждый из них по-своему объяснил это в официальном письме на имя генерал-губернатора.

«Должны ли дети мои, — писал Волконский, — вступить в свет с горькой уверенностью, что отец их купил им житейские выгоды новыми страданиями и самою жизнью их матери?.. Испрашиваю милости не лишать детей моих имени, переданного им святостью брака родителей, имени, которое изгладить в их памяти можно только с уничтожением сыновней в них любви».

И другие декабристы резко реагировали на царскую милость. Трубецкой писал:

«Смею уповать, что государь император, по милосердию своему, не допустит наложить на чело матерей незаслуженного ими пятна и лишением детей фамильного имени отцов не причислит их к незаконнорожденным!»

Никита Муравьев ответил Руперту, что эта царская «милость... не была одушевлена христианским высоким чувством... Отнятие у дочери моей фамильного ее имени поражает существо невинное и бросает тень на священную память матери и супруги».

Декабрист Розен получил извещение о новой царской «милости», уже когда вернулся на родину с Кавказа, куда ему разрешено было выехать из Сибири, чтобы поступить рядовым в один из кавказских армейских полков. Получив это извещение, он положил его на стол со словами: «Нет, на такое условие я не имею права согласиться...»

Розен долго ходил по комнате и не знал, что и как ответить: что представляет собою это роковое извещение — предложение, условие, договор или искушение? Он взял в руки перо, но слова не ложились на бумагу.

«На сердце было не ладно, не хорошо, — вспоминал он. — Я знал, о чем писать, но не знал, как писать. Сильнейший в мире властелин предлагает условие рядовому, желая его благодетельствовать, а рядовой принимает благодетельные за позор, за жесточайшее наказание. Признаюсь, я был оскорблен, я был обижен и долго все ходил, ходил по комнате».

После долгих раздумий он написал наконец письмо, в котором просил Бенкендорфа исходатайствовать ему разрешение оставить детей у себя до четырнадцатилетнего возраста и позволить им сохранить фамилию предков, которую он не считает себя вправе располагать по своему личному усмотрению.

В ответ на это Бенкендорф сообщил, что таковы указания царя и он даже «находит с своей стороны невозможным войти с всеподданнейшим докладом к государю императору по означенной просьбе Розена».

У генерал-губернатора Руперта были свои дети, но он не способен был понять чувства оскорбленных царской «милостью» декабристов и в своем угодническом ответе Бенкендорфу сообщил: «К крайнему огорчению и прискорбию, не мог не заметить, что настоящая милость и сострадание его величества не нашли ни малейшего отголоска в сердцах этих холодных, закоренелых эгоистов»... Руперт добавлял, что, по его мнению, обнаруженная Волконским, Трубецким и Муравьевым «неготовность к принятию монаршей милости, вследствие какого-то неизъяснимого упрямства и себялюбия, должна навсегда лишить их всякого права на какое бы то ни было снисхождение правительства...»

Впоследствии детям декабристов все же удалось поступить в учебные заведения, сохранив фамилии своих родителей. Лишь Нонушка Муравьева, оставшись в Сибири после смерти отца и матери круглой сиротой, вынуждена была поступить в институт под фамилией Никитиной, по имени ее отца, декабриста Никиты Муравьева.

Нонушке было в то время тринадцать лет. Это была гордая и самолюбивая девочка. Она уже хорошо понимала, кто были декабристы, за что пострадал ее отец, за что погибла в Сибири мать.

Мучительно переживая свое двусмысленное, бесправное положение среди подруг, она на свою новую, волею царя навязанную ей фамилию — Никитина — не отзывалась... Отвечала на вопросы только тогда, когда ее называли не по фамилии, а по имени.

Однажды в институт приехала императрица, жена Николая I. Вошло в обычай, что институтки, обращаясь к императрице, называли ее по-французски матерью. Нонушка отказалась подчиниться этому.

— Почему ты называешь меня мадам, а не матерью, как все девочки? — спросила ее жена Николая I.

— Потому, — ответила Нонушка, — что у меня была мать, но ее уже нет, она похоронена в Сибири.

* * *

По соседству с Волконскими, Трубецкими, Юшневскими и Муравьевыми, в Урике и соседних деревнях под Иркутском, жили еще декабристы — М. С. Лунин, братья Александр и Иосиф Поджио, доктор Ф. Б. Вольф, Ф. Ф. Вадрковский, П. А. Муханов, братья Борисовы и другие. Все они были связаны между собою большой дружбой, и им пришлось потратить много усилий, чтобы получить разрешение поселиться близко друг от друга.

Особо выделялся и пользовался среди них большим авторитетом Михаил Сергеевич Лунин, человек очень образованный, обладавший большим запасом душевных сил и железной волей.

Это был один из тех последовательных и негибких борцов за свободу, которые, находясь в самых тяжких условиях, не складывали оружия и до конца дней продолжали свою непримиримую борьбу с самодержавием.

Все любили его, и любовь эта чувствуется в отзывах о нем всех его друзей и товарищей по восстанию. Достаточно прочесть статьи и письма Лунина, чтобы видеть, что это был человек совершенно исключительный, выдающийся.

«Способности его были блестящи и разносторонни, — писал о нем его большой друг, французский драматург Ипполит Оже, — он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политико-эконом, государственный человек, изучавший со-

циальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями».

«Это был человек твердой воли, замечательного ума, всегда веселый и бесконечно добрый», — вспоминала о нем М. Н. Волконская.

«Человек замечательного, непреклонного нрава и чрезвычайной независимости», — говорил его товарищ, декабрист И. А. Анненков.

На нем лежал отпечаток байроновского трагизма, его натуре было свойственно бурное стремление к сильным впечатлениям, к борьбе, к подвигам. Существует предположение, что Ф. М. Достоевский дал в «Бесах», в образе Ставрогина, некоторую психологическую параллель Лунина.

Письма Лунина с которги насыщены были беспощадной критикой и едкой иронией по адресу царского правительства. Это были острые политические памфлеты, афоризмы, которые в многочисленных списках распространялись среди его друзей и товарищей и очень раздражали царя и его III отделение.

Еще будучи на свободе, он даже выписал из Парижа печатный станок, имея в виду печатать на нем и распространять свои революционные идеи. Станок этот долго пролежал у Трубецкого и был обнаружен жандармами во время обыска, произведенного после восстания. На следствии и при допросе Лунин не отрицал, что станок этот приобретен был им, и не скрывал, для какой цели он приобрел его.

Чтобы составить себе представление о Луине и направленности его мыслей, интересно познакомиться с его записной книжкой. На титульной странице, сверху, надпись: «Я любил справедливость и ненавидел несправедливость и потому нахожусь в изгнании». И внизу — обращенные к сестре, К. Уваровой, строки: «В России два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга».

Дальше идут многочисленные записи, которые свидетельствуют о мудрости и проницательности их автора. Приводим некоторые из них:

«Через несколько лет те мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни».

«Топор палача превращает осужденного в свидетели за или против его судей перед судом потомства».

«Вообщее права бывают трех родов: политические, гражданские и естественные. Первые не существуют в России, вторые уничтожены произволом, третьи — нарушены рабством».

«Тело мое испытывает в Сибири холод и лишения, но мой дух, свободный от жалких уз, странствует... Всюду я нахожу Истину и всюду счастье».

Такие же мысли встречаются и в письмах Лунина из Сибири:

«Из вздохов заключенных рождаются бури, низвергающие дворцы».

«В 1826 году Русская земля находилась относительно законодательства точно в таком же положении, как и в 1700».

«Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание».

«Мои письма к сестре служат выражением тех убеждений, которые повели меня на место казни, в темницы и в ссылку».

И трагически звучат строки Лунина в одном из его последних писем к сестре: «В хлопотах я забыл написать о полученных восьми томах сочинений Платона на греческом языке. Кстати эта посылка: я анализирую теперь болтовню доброго Сократа перед его смертью. Толпа удивляется многому, чего не понимает. Прощай...»

Таким предстает перед нами Лунин в своих дневниках, письмах и статьях.

Когда Лунин вернулся из похода во Францию, насыщенный вольными и свобододобивыми мыслями, он решил подать в отставку. Император Александр I знал его и сказал: «Это самое лучшее, что он может сделать».

10 сентября 1816 года Лунин покинул Россию.

«Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы, — говорил он Ипполиту Оже... — Мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действий! Вот это настоящая жизнь!..»

Смерть отца вскоре заставила Лунина вернуться в Россию. Здесь он вступил в члены Тайного общества и позже стал деятельным членом Коренной думы, руководящего органа Союза Благоденствия, а когда образовалось Северное тайное общество, был одним из его директоров.

Темпы деятельности Тайного общества, однако, не удовлетворяли Лунина, и в 1822 году он уехал в Варшаву, где служил сначала в Польском уланском, позже в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, а затем назначен был адъютантом главнокомандующего польской армией, наследника престола Константина. Тот очень ценил и уважал его.

Несмотря на то что Лунин отошел в эти годы от дел Тайного общества, Николай I писал после поражения восстания декабристов Константину, что «Лунин положительно из числа этой

банды», и предложил, «не арестовывая, постараться захватить его на месте преступления».

Константин сделал попытку спасти Лунина, но это оказалось невозможным, так как по ходу следствия выяснилась причастность Лунина к делам Тайного общества. Ожидая ареста, Лунин просил Константина отпустить его на несколько дней на сilesкую границу, чтобы в последний раз поохотиться на медведей.

— Но ты поедешь и не вернешься! — сказал Константин.

— Даю честное слово, что вернусь! — ответил Лунин.

Начальник штаба Литовского корпуса генерал Курута с минуты на минуту ждал отправленного за Луниным из Петербурга фельдъегеря и отказался выдать ему увольнительный билет.

Но цесаревич Константин настоял.

— Я не лягу спать в одной комнате с Луниным, потому что он меня непременно зарежет, — сказал он, — но, если Лунин дает честное слово, он его непременно исполнит.

Лунин отправился на охоту и в условленный срок вернулся. Фельдъегерь уже ждал его. Это были последние дни его свободы. Фельдъегерь сразу же отвез его в Петербург.

На следствии Лунин держал себя спокойно и независимо и на вопрос, откуда он заимствовал свободный образ мыслей, резко ответил:

— Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить, к укоренению же оного способствовал естественный рассудок.

Лунин направлен был в Петропавловскую крепость и предан суду за «участие в умысле царевубийства согласиєм, умысел бунта, принятие в Тайное общество членов и заведение литографии для издания сочинений общества» и приговорен к каторжным работам «навечно».

Он содержался год в Свеаборгской крепости, затем переведен был в Выборгскую. Здесь было тесно и сыро, крыша прогнила и насквозь протекала. Обходя однажды казематы и видя, в каких невыносимо тяжелых условиях находится Лунин, финляндский генерал-губернатор Закревский задал ему нелепый и бессмысленный вопрос:

— Есть ли у вас все необходимое?

Лунин посмотрел на него в упор и саркастически ответил:

— Я вполне доволен всем, мне недостает здесь только зонтика...

В апреле 1828 года Лунин направлен был в Читинский острог, где в то время находились уже почти все осужденные

декабристы, затем его перевели в тюрьму Петровского завода, и в конце 1835 года он был поселен в Урике, где жили и Волконские.

Он пытался заниматься сельским хозяйством, но его больше влекли к себе книги, среди которых он жил: в его библиотеке ссыльного было около тысячи книг на русском, французском, английском, немецком, польском, латинском и греческом языках и на языках славянских народов.

— Платон и Геродот, — шутил он, — не ладят с сохой и бороной. Вместо наблюдения над полевыми работами я перелистываю старинные книги. Что делать? Ум требует мысли, как тело пищи.

Его угнетали оторванность от мира и бездействие, и лишь благодаря выдержке и большой силе воли ему удавалось сохранять внутреннее душевное равновесие. «Выдающиеся люди эпохи находятся в глубокой ссылке, в Сибири; посредственности — во главе управления», — читаем мы в его записной книжке.

Несколько скрашивала его жизнь в ссылке дружба с крестьянами, которые питали к нему большое доверие. Он часто навещал их и бывал третейским судьей, когда между ними возникали ссоры и недоразумения...

Письма Лунина к сестре и выраженные в них мысли, естественно, не нравились царскому правительству. За «дерзкие мысли и суждения, несоответственные его положению», он лишен был на один год права переписки.

Когда ему принесли официальное сообщение об этом и предложили расписаться на нем, он ответил:

— Что-то много написано, я читать не буду. Мне запрещают писать — не буду!..

Лунин перечеркнул все написанное и на обороте официального отношения написал: «Государственный преступник Лунин дает слово целый год не писать».

Он честно выдержал этот год, ничего не писал, но затем возобновил свою литературную деятельность. Его рукописи: «Разбор донесения Следственной комиссии» и «Взгляд на русское Тайное общество с 1816 по 1826 год» попали к Бенкендорфу, и по его докладу Николай I приказал «сделать внезапный и самый строгий осмотр в квартире Лунина, отобрать у него с величайшим рачением все без исключения принадлежащие ему письма и разного рода бумаги, запечатать оные и доставить к нему; его же, Лунина, отправить немедленно из настоящего места его поселения в Нерчинск, подвергнув его там строгому

заключению так, чтобы он не мог иметь ни с кем сношений ни личных, ни письменных впредь до повеления...»

На основании этого царского приказа однажды глубокой ночью, когда Лунин уже спал, двенадцать жандармов и несколько царских чиновников окружили дом декабриста. Жандармы смутились, увидев на стене несколько охотничьих ружей и пиштолетов.

Лунина разбудили, он стал одеваться и, глядя на испуганные лица жандармов, сказал:

— Не беспокойтесь, таких людей, как вы, бьют, но не убивают!..

В ту же ночь Лунина увезли из Урика и заключили в Акатуевский тюремный замок при Нерчинских заводах — одно из самых гибельных мест царской каторги, откуда мало кто уже возвращался в мир.

В письме от 25 мая 1841 года Волконский сообщил Пущину об отъезде Лунина:

«Я ехал на рассвете в церковь, когда узнал от собравшихся крестьян о происходящем; натиск чиновников, жандармов их изумлял. Я повернул оглобли и приехал на место происшествия: он уже садился в повозку, я успел пожать руку тридцатипятилетнему другу, успел проводить его на путь новых испытаний душевными молитвами и сердечными желаниями. Михаил Сергеевич был тронут видеть одного из своих при вечной, может быть, с ними разлуке... Грусть по оному вы разделите с нами».

В Акатуе Лунин прожил четыре года — в сырой и темной камере, среди убийц и воров, лишенный книг и возможности писать. Это было медленное умирание.

«Если вы хотите получить от меня письма, — писал он Волконскому, — присылайте бумагу и чернильный порошок».

М. Н. Волконская послала ему несколько книг, продукты и питательный шоколад, а в переплетах книг скрыла бумагу, чернильный порошок и несколько перьев.

Из своей последней тюрьмы Лунин послал Волконским восемь писем, в которых «из могилы Акатуевского острога ощущался голос высокого духа и светлой мысли».

Он мужественно переносил лишения и писал М. Н. Волконской: «Я погружен во мрак, лишен воздуха, пространства и пищи, окружен разбойниками, убийцами и фальшивомонетчиками. Мое единственное развлечение заключается в присутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы. Перед лицом этого драматического действия, рассчитанного на то, чтобы сократить мои дни, здоровье мое находится в паразитическом состоянии, и

силы мои далеко не убывают, а, наоборот, кажется, увеличиваются... Все это совершенно убедило меня в том, что можно быть счастливым во всех жизненных положениях и что в этом мире несчастны только дураки и глупцы».

Лишь одного живого человека из далекого счастливого прошлого Лунину удалось увидеть в своей акаатуевской могиле: незадолго перед смертью его навестил Н. И. Пущин, брат декабриста, ревизовавший в то время сибирские места заключения.

3 декабря 1845 года, через двадцать лет после восстания декабристов, Лунин скончался в своей тюремной камере во время сна, от апоплексического удара, одинокий, вдали от родных и друзей.

Человеком «гордой, непреклонной, подавляющей отваги» называл Лунина Герцен. Узнав о его гибели, он писал: «Странная Русь: высшими плодами являются люди, опередившие свое время до того, что, задавленные существующим, они бесследно умирают по ссылкам».

Свое сочинение «Взгляд на русское Тайное общество с 1816 по 1826 год» Лунин заключил словами: «От людей можно отделаться, но от их идей нельзя... На время могут затмить ум русских, но никогда их народное чувство».

Еще находясь на поселении в Урике, Лунин писал в одном из своих писем: «Последним желанием Фемистокла в изгнании (из Афин. — А. Г.) было, чтобы перенесли смертные останки его в отечество и предали родной земле; последнее желание мое в пустынях сибирских, чтоб мысли мои, по мере истины, в них заключающейся, распространялись и развивались в умах соотечественников».

Со дня образования деятельности тайных обществ и восстания декабристов прошло почти полтора столетия. Мысли Лунина широко «распространялись и развивались в умах соотечественников», как он об этом мечтал. Революционные чаяния и мечты декабристов превратились на нашей родине в действительность. Мы преклоняемся перед их подвигом и отдаем должное одному из замечательнейших деятелей раннего поколения русских революционеров — Михаилу Сергеевичу Лунину.

* * *

Тяжкая участь постигла штабс-капитана П. А. Муханова, члена Северного тайного общества, талантливого литератора, друга К. Ф. Рыльева, посвятившего ему свою думу «Смерть Ермака».

Еще задолго до восстания он встретился с Варварой Михайловной Шаховской, полюбил ее и решил связать с нею свою судьбу. Желая быть ближе к любимому человеку, она поселилась у своей сестры, бывшей замужем за декабристом Александром Николаевичем Муравьевым, жившим в Сибири на поселении и получившим разрешение поступить на государственную службу. Муханов по отбытии каторги был направлен на поселение в Братский Острог Нижнеудинского округа.

Живя в доме зятя, Шаховская наладила тайную переписку с Мухановым, когда тот отбывал после крепости каторгу. Через нее и декабристы начали направлять свои письма в Москву и Петербург, в адрес Е. Ф. Муравьевой и Н. Н. Шереметевой, матери Якушкиной, которые рассылали их по назначению.

Письма из России и многочисленные посылки заключенным декабристам также направлялись через Шаховскую. Переписка не могла производиться открыто, и корреспондентам приходилось прибегать к разным уловкам и ухищрениям. Кипы писем отправлялись в чемоданах и ящиках с двойным дном: сверху клались разные вещи, а письма — между первым и вторым дном. Такие ящики отвозили из Читы, а позже из Петровского завода местные купцы. Часто деньги и письма пересылались заклеенными в переплеты книг.

На пути Шаховской неожиданно встал проходимец, авантюрист и провокатор Роман Медокс. Проникнув в дом А. Н. Муравьева под видом учителя его детей, он прикинулся влюбленным в Шаховскую, все высматривал и выведывал и обо всем посылал Бенкендорфу, а иногда даже самому Николаю I полные лжи и всяких выдумок письма и донесения. Ему удалось даже побывать в Петровском заводе и встретиться с декабристами. Его провокаторская деятельность, к счастью, никому вреда не причинила, а сам он, будучи разоблачен в своих лживых провокаторских донесениях, был заключен в крепость.

Имя Шаховской должно быть поставлено в один ряд с именами жен декабристов, но личная жизнь ее сложилась еще печальнее и трагичнее: жены декабристов, следовавшие на каторгу за своими мужьями, равно и Полина Гебль, и Камилла Ле-Дантю, вышедшие замуж уже в Сибири, сумели облегчить участь своих мужей, найти на каторге свое счастье и ощутить радость жизни. Шаховской не дано было и это. Семнадцать лет стремилась она связать свою жизнь с Мухановым, десять лет прожила вблизи мест его заключения и поселения, но ей ни разу не удалось даже увидеться с ним за все эти годы.

12 июля 1833 года Шаховская обратилась к Бенкендорфу

с письмом, в котором просила дать ей разрешение на брак с Мухановым. «Я с детства, — писала она, — связана сердечным влечением с одним несчастным... Вовлеченный в мрачные события 1825 года, Муханов был осужден на восемь лет каторжных работ. Так как я не была соединена с ним узами, которые позволили бы мне следовать за ним, я обещала ему, что, когда он будет ссыльнопоселенцем, сделаю все, чтобы соединиться с ним, и с этого мгновения, в продолжение семи тяжких лет, эта мысль не переставала быть единственным желанием моего сердца...

Муханов страдает... Я знаю, что болезнь и страдания подтачивают его жизнь, что, когда сердце друга доведено до самого плачевного состояния, только ласковые заботы могут его поддерживать и успокоить...

Лишенная в дребнях Сибири всех угодий жизни, я связана с тем, кого избрало мое сердце, на ком почиет благословение моей дорогой матери, последнее — увы! — что я получила здесь на земле от нее...»

Это письмо исстрадавшейся девушки Бенкендорф представил царю, и на нем появилась бездушная резолюция: «Должено государю. Приказано оставить».

Разрешения на брак Шаховской, таким образом, не последовало. Отвечая Шаховской на ее ходатайство, Бенкендорф сослался на церковные законы: поскольку брат Шаховской был женат на сестре Мухановой, брак самого Муханова на сестре его зятя, Шаховского, не может быть разрешен. Об этом Шаховская сумела осведомить Муханова.

Муханов с своей стороны протестует и всячески стремится к осуществлению своей давней мечты. 22 июля 1833 года он пишет сестре: «Глупое свойство наше не есть родство — многие примеры в Петербурге, Москве и в России убеждают меня, что подобные старообрядческие препятствия ныне не существуют. Самая ссылка, разрушающая связи мужа с женой, неужели не разрушает свойства и не благоприятствует совершению наших желаний?..»

В 1834 году Муханов получает от Шаховской письма уже из Вятки, куда переехал муж сестры, А. Н. Муравьев, назначенный туда председателем уголовной судебной палаты. Письма Шаховской исполнены «самой убийственной горечи», и сам Муханов глубоко скорбит. Он продолжает, однако, надеяться, но надеждам его не суждено было осуществиться. В 1835 году Муравьева переводят в Симферополь, и туда же уезжает с сестрой Шаховская. Она безмерно устала от всего пережитого и

не в состоянии больше надеяться и питать этими надеждами своего несчастного друга.

24 сентября 1836 года, в расцвете своей молодой неудавшейся жизни, она скончалась в Симферополе.

Муханов тяжело воспринял известие о смерти Шаховской. Когда он строил себе жилище в Братском Остроге, незадолго до ее смерти, он все еще надеялся на приезд Шаховской и с грустью писал сестре, что еще не знает, «нужен ли для него хорошенький домик или узкий гроб».

По ходатайству родных Муханова перевели из Братского Острога в селение Усть-Кудинское под Иркутском. Все пережитое тяжело отразилось на его здоровье. С родины приходили письма о смерти сестры и самых близких людей. Их уже оставалось мало, и он с грустью писал о себе: «Для них — я ответ на площади (имеется в виду Сенатская площадь. — А. Г.) и похоронен в Сибири...»

Мать долго и безнадежно хлопотала о возвращении сына на родину. Лишь в конце 1853 года Николай I дал на это согласие, и то с оговоркою: «Согласен; но ежели Закревский согласится, все-таки надо будет за ним строжайше смотреть». Царская «милость», однако, запоздала — Муханов не мог уже воспользоваться ею: 12 февраля 1854 года он скончался.

Его похоронили в ограде иркутского Знаменского женского монастыря. Неподалеку от него в том же году была похоронена Е. И. Трубецкая.

Мать Муханова ненамного пережила сына: она скончалась через год с небольшим, 5 июля 1855 года.

* * *

Трагически сложилась жизнь И. В. Поджио, также поселившегося вместе с братом, А. В. Поджио, в селении Усть-Кудинском под Иркутском.

Братья происходили из древнего итальянского рода. Отец их переселился в конце восемнадцатого века в Россию и здесь стал одним из строителей Одессы.

Охваченные революционными идеями своего века, оба сына его встали на своей новой родине в ряды декабристов. Старшему, Иосифу Викторовичу, было в то время тридцать три года, младшему, Александру Викторовичу, — двадцать семь лет. Оба были арестованы.

Совсем молодой, еще до восстания 14 декабря, скончалась жена старшего брата, Иосифа Поджио. На руках у него осталось

четверо детей, и он женился вторично, на дочери влиятельного сановника, сенатора, генерал-лейтенанта А. М. Бороздина. В апреле 1826 года у них родился сын.

После разгрома восстания И. Поджио был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. С грустью вспоминая короткие годы своего счастья, он недоумевал, почему от жены нет никаких известий. Это тем более волновало его, что жены других декабристов уже имели свидания со своими арестованными мужьями, а некоторые получили даже разрешение ехать вслед за ними в Сибирь.

Между тем Мария Андреевна Поджио, очень любившая мужа, в это время не только не могла добиться свидания, но даже не знала, что с ним и где он. В 1829 году ему разрешено было писать жене, но запрещено было указывать место своего нахождения.

Отец, Бороздин, всячески мешал дочери: он перехватывал письма дочери к мужу и письма Поджио к жене, требовал, чтобы она порвала всякую связь со своим преступным мужем и смотрела на него как на покойника.

И. Поджио приговорен был к двенадцати годам каторжных работ. Это явилось поводом к тому, что отец стал еще больше чернить мужа в глазах дочери и еще настойчивее мешал ей выполнить свой долг.

Но она продолжала стоять на своем. Узнав, что в Сибирь уже выехали многие жены декабристов, она стала и сама собираться в путь, надеясь отыскать мужа в далекой Сибири.

Тогда Бороздин прибегнул к решительной и бесчеловечной мере. Пользуясь своими связями, он сумел добиться, чтобы находившегося в Свеаборгской крепости И. Поджио не отправляли в Сибирь, а перевели в Шлиссельбургскую крепость и оставили там на неопределенное время.

Шли годы. Декабристы жили в Чите, а затем в Петровском заводе, жили дружной, крепко сплоченной семьей, а И. Поджио продолжал томиться в крепости, ничего не зная о судьбе жены и детей.

Между тем жена не переставала стремиться к мужу. Она всюду искала его и могла лишь узнать, что в Сибири его нет, а жив он или умер, никто не мог ей сказать. Это знал лишь отец, а он молчал и делал все для того, чтобы она забыла о муже.

Лишь в 1834 году, когда уставшая и измученная женщина, уверенная, что мужа уже нет в живых, вышла вторично замуж, для И. Поджио открылись наконец двери тюрьмы, и он был отправлен на поселение в Усть-Кудинское.

Долгие одинокие годы, проведенные Иосифом Поджио в крепостном каземате, не умалили его любви к жене. Ничего не зная о ней и детях, он не переставал надеяться на приезд жены.

Брат его и товарищи по каторге знали истину, но ни у кого не хватило духа рассказать обо всем больному, измученному и уставшему человеку, который продолжал жить надеждами на возможность снова наладить свою так жестоко и бесчеловечно разбитую семейную жизнь.

Много позже он узнал правду, в мучительной тоске проводил свои последние годы и в 1848 году скончался в Иркутске.

* * *

Пользовавшийся любовью и сердечной привязанностью всех, кто знал его, декабрист Ф. Б. Вольф был прекрасным врачом и на редкость бескорыстным человеком. До восстания он был врачом при главнокомандующем Второй армии П. Х. Витгенштейне. В члены Тайного общества его принял Пестель. Сама судьба, казалось, готовила декабристам в его лице врача и спасителя.

За здоровьем декабристов следил и лечил их на каторге молодой, только что выпущенный из академии врач Ильинский. У него не было никакого практического опыта, и к нему редко кто обращался за помощью. Не только декабристы, но и другие заключенные предпочитали обращаться к доктору Вольфу.

Однажды занемог комендант тюрьмы, генерал Лепарский. Ильинский боялся приступить к такому важному больному, и жены декабристов посоветовали семидесятилетнему Лепарскому обратиться к Вольфу. На вопрос Лепарского, сможет ли Вольф взяться за его лечение, тот ответил утвердительно, но предупредил, что он лишен права официально заниматься практикой и рецепты его не примут ни в одной аптеке.

При этом Вольф выразил опасение, что в случае смерти коменданта его, чего доброго, еще обвинят в отравлении генерала. Вольф предложил, чтобы лечение вел официально Ильинский, а лекарства прописывал под его, Вольфа, диктовку. На том и порешили, и Лепарский скоро выздоровел. В знак благодарности комендант сообщил об этом Бенкендорфу, и вскоре из Петербурга пришло повеление с собственноручной пометкою Николая I: «Талант и знание не отнимаются. Предписать иркутской управе, чтобы все рецепты доктора Вольфа принимались, и дозволить ему лечить».

Слава об искусстве Вольфа быстро распространилась, и к

нему стали приезжать за врачебными советами из Нерчинска, Кихты, из соседних селений и даже из Иркутска. Вольфу разрешено было в любое время выходить из тюрьмы, правда в сопровождении конвойного. В одной из тюремных камер Вольф проводил прием больных. Жены декабристов выписывали для него русские и иностранные медицинские журналы и книги. О бескорыстии Вольфа ходили легенды. Он вылечил однажды тяжело больную жену крупного иркутского золотопромышленника.

Приговоренная к смерти, она выздоровела и поднялась с постели. Муж ее преподнес врачу два цибика, вместимостью фунтов на пять каждый. Один цибик был наполнен чаем, другой — золотом. Вольф поблагодарил, взял цибик с чаем, а второй отставил в сторону и решительно отказался принять его.

«Я была тогда ребенком, — вспоминала позже дочь декабриста Анненкова, Ольга, — но этот факт замечательно ясно врезался мне в память. Все были поражены этим поступком Вольфа и долго о нем говорили».

В другой раз Вольф, искуснейший врач, который, по выражению М. Бестужева, мертвых поднимал на ноги, вылечил другого крупного сибирского золотопромышленника, от которого отказались все иркутские врачи. Тот послал ему в пакете пять тысяч рублей и, зная бескорыстие Вольфа, написал в записке: «Если не возьмете из дружбы, брошу в огонь».

Вольф не принял денег.

«Бессребреник и целитель» звали его все, и его бескорыстие тем более поражало, что он не имел никакого состояния и всегда жил очень скромно.

В конце 1854 года Вольф заболел и за два года до амнистии скончался. Он жил тогда в Тобольске, куда переехал из Иркутска.

Известие о его смерти глубоко опечалило декабристов.

Его провожали к могиле товарищи по ссылке и все местное население. Похоронили его рядом с А. М. Муравьевым. Все с большим уважением и любовью вспоминали его. Очень многих он спас от смерти, и рецепты его хранились с благоговением. Все свое имущество Вольф, умирая, завещал нуждавшимся товарищам.

Так сложилась жизнь декабристов, отбывавших ссылку под Иркутском.

Глава Шестнадцатая

«ГЛАВНОЕ, НЕ УТРАЧИВАТЬ ПОЭЗИЮ ЖИЗНИ»

Часто в разговорах мы заглядываем в Читы. Это было поэтическое время нашей драмы.

И. И. Пущин — Д. И. Завалишину

АИШЬ НЕМНОГИМ декабристам удалось поселиться после отбытия каторги близко друг от друга, под Иркутском. Остальных расселили по необъятным просторам Восточной и Западной Сибири.

Сотни и тысячи верст отделяли их друг от друга. «Безлюдье тяжело и невыносимо... В нашей казематской жизни я чувствовал себя лучше и во всем исправнее», — писал своим друзьям Оболенский.

Но, вынужденные прозябать в этих глухих, безлюдных местах Сибири, они все же не чувствовали себя забытыми и одинокими. «Дух Читы» пронизывал их жизнь. Они по-прежнему чувствовали себя членами одной большой, дружной семьи, не теряя связи друг с другом, часто переписывались, знали, где и в каком положении каждый из них находится, делали все возможное, чтобы помочь друг другу. И каждая почта приносила им радостные улыбки друзей и вести — иногда хорошие, иногда грустные...

И потому декабристы часто заглядывали в свое прошлое. Через десятки лет те немногие, кто уцелел, тепло вспоминали годы своей совместной жизни в Чите, Петровском заводе и сибирской ссылке. Через сорок лет после восстания Оболенский жил в Калуге, Матвей Муравьев-Апостол, брат казненного Сергея, — в Москве. Муравьеву-Апостолу только что были возвращены тогда железный крест за Кульмское сражение и медаль 1812 года, а позже и солдатский георгиевский крест. Оба они пользовались среди населения большим уважением.

Вспоминая их совместную жизнь в Ялуторовске, Оболенский писал 9 февраля 1864 года Муравьеву-Апостолу:

«А хорошо бы вновь нам сойтись на ялуторовский лад. Но

едва ли это будет возможно при нынешней нашей обстановке. Но при всем том приношу Вам мою ялуторовскую сердечную преданность и сочувствие».

* * *

Постепенно по ходатайству родных отдельным декабристам удавалось переезжать из одного места поселения в другое, ближе к друзьям. Помимо Иркутска и близлежащих сел, центрами таких поселений декабристов стали Туринск, Ялуторовск, Тобольск, Курган.

Первыми направлены были в Туринск по отбытии каторги, в 1836 году, Ивашев с семьей и друживший с ними Басаргин. В 1837 году туда переехал из села Бельского Анненков, жена которого, Полина Гебль, была дружна с женою Ивашева, Камиллой Ле-Дантю. В 1839 году в Туринск был направлен с каторги Пущин, а в 1841 году сюда переселился из селения Иташцы, Верхнеудинского округа, Оболенский.

Скромно и спокойно зажили Ивашевы на поселении. В Туринске у них уже было трое детей — две девочки и мальчик. Письма к ним из России дышали безграничной любовью родных и близких. Ивашев занимался музыкой, хорошо рисовал.

«Да дарует нам небо, мне и моей Камилле, — писал он домой, — продолжение того безоблачного и полного счастья, которым мы беспрерывно наслаждаемся в нашей мирной семейной жизни».

О том, что представлял собою Туринск, писал своим друзьям Пущин:

«Новый городок мой не представляет ничего особенно занимательного. Я думал найти здесь более удобств жизни, нежели на самом деле оказалось. До сих пор еще не основался на зиму — хожу, смотрю, и везде не то, чего бы хотелось без больших прихотей: от них я давно отвык, и, верно, не теперь начинать к ним привыкать. Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плоские места, которые наводят тоску после разнообразных картин Восточной Сибири, где реки и горы величественны в полном смысле слова».

И это свое письмо к сестре из небольшого сибирского городка, где все наводило тоску, Пущин неожиданно заканчивал строками:

«Главное, не надо утрачивать поэзию жизни, она меня до сих пор поддерживала, — горе тому из нас, который лишится этого утешения в исключительном нашем положении».

В июле 1838 года Ивашевы были обрадованы приездом и

двухнедельным тайным, без разрешения на то, пребыванием у них сестры Ивашева, Е. П. Языковой. Маленькая дочь Ивашевых, Мария, вспоминала позже этот таинственный приезд тетки: общую настороженность, закрытые ставни и радостные у всех лица.

В феврале 1839 года в Туринск приехала мать Камиллы Ивашевой, М. П. Ле-Дантю. Целый год добивалась она разрешения поехать к дочери. Француженка по происхождению, она получила его наконец с условием навсегда отказаться от возвращения в Европейскую Россию.

Ивашевы были счастливы. Но это их мирное счастье было неожиданно нарушено: простудившись на прогулке, слегла и через десять дней, 30 декабря 1839 года, на тридцать втором году жизни, умерла жена Ивашева.

Тяжело воспринял эту смерть Ивашев, тяжело восприняли ее все декабристы. «Если были у меня приятные и радостные минуты в течение нашего заключения в Петровском, то почти всегда этими минутами я обязана была ей», — писала Ивашеву Волконская.

Ивашев весь отдался заботам о детях, но пережил свою жену всего на один год. Готовясь отметить годовщину со дня смерти Камиллы, Ивашев почувствовал себя плохо и неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг. В день годовщины смерти жены состоялись его собственные похороны.

Дети остались на попечении бабушки, матери Камиллы. Старшей, Марии, было в то время шесть лет, сыну Петру — четыре и младшей девочке Вере — два года. Пущин, Басаргин и Анненковы всячески помогали ей.

Мать Ивашевой с большим трудом добилась разрешения вывезти детей из Сибири в Россию. В то время ожидалось бракосочетание кого-то из царской семьи, и в связи с этим Николай I дал на это согласие.

«Значит, нужна свадьба для того, чтобы дети были дома, — иронически писал Фонвизиной декабрист Пущин. — Бедная власть, для которой эти цыпушки могут быть опасны! Бедный отец, который на троне не понимает их положения... Бедная Россия, которая называет его царем-отцом...»

В июле 1841 года мать Камиллы Ивашевой выехала с внуками из Сибири. При этом ей разрешено было поселиться с ними лишь в Симбирской губернии и жить там безвыездно. В той самой карете, в которой Камилла Ле-Дантю приехала когда-то в Петровский завод, из Туринска уезжала осиротевшая семья Ивашевых. Декабристы с грустью провожали их.

Дети записаны были в купеческое сословие, под фамилией Васильевых, по имени отца, Василия Петровича, и лишь через пятнадцать лет, после смерти Николая I, получили разрешение именоваться по фамилии отца — Ивашевыми.

Тяжело восприняла смерть Ивашевой и Анненкова. Обе француженки, они обрели в России свою вторую родину, но родиной их стала холодная, суровая Сибирь. Они очень отличались друг от друга: Анненкова была женщина веселая, жизнерадостная и оптимистически настроенная, Ивашева — характера спокойного и мечтательного. Но это не мешало им быть в дружеских отношениях.

До Туринска Анненковым пришлось прожить около двух лет в постоянных тревогах и волнениях в селе Бельском, в ста девяти верстах от Иркутска. Там обитали большей частью конокрады и грабители. Не проходило дня, чтобы не случилось какое-нибудь кровавое происшествие. Эта обстановка и полная зависимость от грубых и трусливых сельских властей угнетали Анненковых.

После смерти Ивашевых декабристы разъехались из Туринска. Анненковы переехали в Тобольск, Басаргин — в Курган, Пуцзин и Оболенский — в Ялуторовск.

* * *

До приезда Пуцина и Оболенского в Ялуторовск переведены были из Березова Ентальцев с женой и Черкасов. Позже прибыл Якушкин, были переведены: из Вилуйска, Якутской области, — Матвей Муравьев-Апостол, из Красноярска — братья Бобринцевы-Пушкины, а в 1848 году приехал из Кургана Басаргин.

В Ялуторовске Ентальцев закончил свою жизнь изгнанника. Уже в Березове ему пришлось так много пережить, что он тяжело заболел. Один за другим сыпались на Ентальцева доносы — сначала в Березове, а потом в Ялуторовске. Его обвиняли в самых разнообразных, порою нелепых преступлениях, в противогосударственных умыслах, и тем отравляли его и без того тяжелую жизнь. Местная администрация направляла эти доносы Бенкендорфу, и тот поручил генерал-губернатору Западной Сибири Вельяминову произвести дознание «для проверки действительности существования в Сибири мятежнического духа, гнездящегося в государственных преступниках».

Ентальцев вынужден был защищаться и доказывать, что все это выдумка и клевета.

Не успевал он оправдаться в одном, как его обвиняли в другом: будто у него хранятся в амбаре четыре пушечных лафета

и, вероятно, «есть спрятанные пушки и порох, и что все это, быть может, приготовлено единственно к ожидавшемуся прибытию его императорского высочества государя наследника» в Ялutorовск.

По указанию окружного суда отряд военного караула с исправником во главе ночью окружил со всех сторон дом Ентальцевых и произвел обыск. В сарае действительно нашли старые екатерининские лафеты Ширванского полка, стоявшего в 1805 году в Сибири, и большие деревянные шары.

Ентальцев объяснил, что лафеты эти были им куплены для использования железа, а шары приобретены для украшения окружающего дом забора. Пороха у него, конечно, не нашли.

Все эти следовавшие один за другим доносы и обвинения постепенно вывели Ентальцева из состояния душевного равновесия. В конце 30-х годов у него стали проявляться признаки душевной болезни, а в 1841 году наступило помешательство.

Он был частично парализован, лишился речи, жег все, что попадалось под руку, иногда скрывался из дома и был опасен для окружающих. Ентальцева возила мужа в Tobольск, но врачи бессильны были помочь ему.

Эта тяжкая, мученическая доля не сломила Ентальцеву. Верная своему долгу, она не оставляла больного мужа и терпеливо ухаживала за ним в течение всей его длительной болезни.

25 января 1845 года Ентальцев скончался. Вдова его оказалась в трудном материальном положении. Она уже двадцать лет находилась в Сибири, из дома некому было помогать ей, и жила очень скромно: она получала 400 руб. ассигнациями на общем основании и пособие в 250 руб. ассигнациями в год, которое выдавалось ей пожизненно по особому повелению.

Учитывая ее положение, ей помогала М. Н. Волконская, и, по ее просьбе, посылал небольшие денежные суммы из Москвы брат Волконской, А. Н. Раевский. Помогали и проживавшие в Ялutorовске декабристы.

Потеряв мужа, Ентальцева обратилась к Бенкендорфу с просьбой разрешить ей вернуться на родину, но согласия на это со стороны Николая I не последовало. Она получила возможность выехать из Сибири лишь в 1856 году, после общей амнистии декабристов.

* * *

Тяжелый удар перенес в Ялutorовске Якушкин, жена которого так и не получила разрешения последовать за ним. На каторге и в ссылке он прожил уже четырнадцать лет, деятельно

переписывался с женой и благодарил ее и мать за то, что они ни разу не обманывали его призрачной надеждой увидеться с ними в России.

Дети Якушкина уже выросли и поступили в высшие учебные заведения, и отец дает им из далекой Сибири полезный урок. Он пишет им, что «знать и уметь — две вещи совершенно разные; умение и без знаний кой-как плетется своим путем на свете, а знание без умения в действительной жизни — прескакая и пресмешная вещь».

В письмах тещи и детей начинают в то время проскальзывать известия о болезни жены. Это волнует Якушкина, но он бессилен помочь. Все пережитое за семнадцать лет, прошедших со дня ареста мужа, подорвало здоровье жены. Все с большим и большим волнением он вскрывает получаемые из дому письма и в феврале 1846 года узнает, что Анастасия Васильевна скончалась.

Три письма, одно за другим, посылает мать ее, Шереметева, друзьям Якушкина с просьбой подготовить его к печальному известию о кончине жены.

Якушкин тяжело пережил потерю жены. Она умерла в цветущем возрасте — ей не было еще сорока лет. Друзья старались всячески смягчить его горе. Дети писали чаще...

Еще в 1842 году Якушкин организовал в Ялutorовске мужскую школу и много работал в ней, жертвуя временем, здоровьем и деньгами. В память жены он основал в 1846 году в Ялutorовске вторую, женскую школу. Занятия в этих школах велись под непосредственным руководством Якушкина, с его участием и по им же составленным учебникам.

Эта основанная Якушкиным женская школа была чуть ли не единственной во всей Западной Сибири и считалась образцовой.

Необходимо сказать, что школы были организованы декабристами и в других местах Сибири: братьями А. и П. Беляевыми в Минусинске, братьями М. и Н. Бестужевыми и К. П. Торсоном в Селенгинске, А. И. Якубовичем в селе Назимове, Енисейской губернии, В. Ф. Раевским в селе Олонках. Деятельность декабристов протекала в самых разнообразных формах и сыграла большую роль в деле просвещения тогда еще малограмотной Сибири.

* * *

Недалеко, по сибирским расстояниям, в трехстах сорока верстах от Ялutorовска, жил в Тобольске на поселении М. А. Фои-

визин с женой. До того они прожили три года в Енисейске и два года в Красноярске.

В Сибири сооружали тогда памятник Ермаку Тимофеевичу, и Фонвизина съездила в Кучумово городище, где погиб покоритель Сибири. В письме к матери она описывала свою печальную сибирскую жизнь и рассказывала об этой поездке.

«Кто мог знать, что место это будет местом горести безотрадной! Открывая его, Ермак того не воображал», — написала дочери в своем ответном письме мать.

Радостным событием для них явился приезд в Тобольск брата Фонвизина, Ивана Александровича. Это было единственное, первое после ссылки и последнее свидание братьев — оба они уже были стары.

С генерал-губернатором Западной Сибири Горчаковым у декабристов сложились неприязненные отношения. Фонвизина пожаловалась на него в Петербург, предупредив, что жалобу свою направит непосредственно в III отделение, чтобы местная администрация не могла задержать ее.

Горчаков вынужден был отписываться. Он доносил в Петербург: «Не полагаю себя вправе предоставить государственным преступникам того значения, которого некоторые из них домогаются, и допустить, чтобы они составляли собою местную аристократию, которой все должны угождать. Эти барыни — Аннекова и Фонвизина — составляют собою главный источник козней в Тобольске против губернского начальства, ныне — против меня, так что... на нас сыплется клевета, при повторении сотнями голосов угрожающая неизбежным неудовольствием».

Письмо это доложено было военному министру Чернышеву, и тот приказал «сделать строгое внушение» женам декабристов. Однако в результате поступивших на Горчакова жалоб впоследствии назначена была ревизия генерал-губернаторства, и он вынужден был подать в отставку...

В 1853 году Фонвизин получил разрешение вернуться с женой на родину. Дошедшая до нас обширная переписка Фонвизиных с оставшимися на поселении декабристами показывает, какие тесные дружеские взаимоотношения связывали их с ними.

* * *

В Тобольске скончался Вильгельм Карлович Кюхельбекер, «Кюхля», друг А. С. Пушкина по Царскосельскому лицу.

До Тобольска он жил с братом Михаилом Кюхельбекером в Баргузине, где женился на дочери почтмейстера Д. И. Арте-

вой. Жена всюду сопровождала мужа в его кочевой поселенческой жизни — из Баргузина в Акшу, из Акши в Курган, из Кургана в Ялуторовск и, наконец, в Тобольск. У них было трое детей.

В. Кюхельбекер был болен туберкулезом, а в 1845 году, за год до смерти, ослеп. Умственные способности его не ослабевали, и он продолжал диктовать свои письма, стихи и прозу. Старый поэт вспоминал свои молодые годы и парижские лекции, в которых говорил о свободолюбивых традициях великого русского народа и доказывал неизбежность победы во всем мире угнетенных над силами деспотизма и варварства.

Больше десяти лет просидел В. Кюхельбекер после восстания в одиночных крепостных казематах и написал там много стихотворений, отражавших его думы и настроения. Находясь в ссылке, В. Кюхельбекер продолжал отдаваться воспоминаниям и живо отзывался на те или иные вести о товарищах по восстанию и друзьях. Он вспоминает в своих стихотворениях Пушкина и Дельвига, Гнедича и Басаргина, посвящает большое стихотворение Виктору Гюго в связи с гибелью его дочери, вспоминает лицейские годовщины.

Узнав о смерти в енисейской больнице А. И. Якубовича, Кюхельбекер писал:

Все, все валятся сверстники мои,
Как с дерева валится лист осенний...
.
Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал...
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной,
Умчал в тюрьму и ссылку тот же вал...

Себе самому он посвятил незадолго до смерти стихотворение «Усталость», в котором писал:

Да! чаша житейская желчи полна;
Но выпил же эту я чашу до дна, —
И вот опьянелой, больной головою
Клонюсь и клонюсь к гробовому покою.
Узнал я изгнание, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму
И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы — милой отчизны.
Мне нужно забвенье, нужна тишина...

В день своего рождения он написал небольшое стихотворение, в котором несколькими словами обрисовал свой жизненный путь:

Нет в жизни для меня обмана,
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.

И в этом сумрачном своем настроении, больной и ослепший, В. Кюхельбекер остается верен идеалам своей молодости. Он пишет Волконской:

Оставить я хочу друзьям воспоминанье,
Залог, что тот же я,
Что вас достоин я, друзья...

11 августа 1846 года В. Кюхельбекер умер, окруженный друзьями и товарищами по изгнанию. Почти ежедневно его навещал служивший в Тобольске П. П. Ершов, известный автор «Конька-горбунка».

Жена В. Кюхельбекера просто и безыскусственно сообщила родным в Петербург о смерти мужа: «Похоронили его через три дня, как желал В. К., надлежащим порядком. Все товарищи приняли участие, вынесли из дому на руках своих и в похоронах хотят принять участие. Но я в этом случае не расположена и желаю принять употребленные расходы для друга на свой счет».

Дети В. Кюхельбекера были вывезены после смерти отца в Петербург и воспитывались у его сестры, Ю. К. Глилки. Жена его, живя в Сибири, продолжительное время получала пособие от Литературного фонда...

* * *

Брат Вильгельма Кюхельбекера, Михаил, бывший лейтенант Гвардейского экипажа, был приговорен за участие в восстании к восьми годам каторжных работ. Ссылку он отбывал в Баргузине, где женился на дочери своей квартирной хозяйки, А. С. Токаревой. Но у нее уже был сын от первого брака, М. Кюхельбекер был его приемником, и этого было достаточно, чтобы Святейший Синод признал их брак незаконным. Из Петербурга дано было указание брак расторгнуть и супругов разлучить, несмотря на то что у них уже было трое детей.

М. Кюхельбекер протестовал против этого нелепого и жесто-

кого решения Синода и писал: «Прошу записать меня в солдаты и послать под первую пулю, ибо мне жизнь не в жизнь».

Протест не помог. Его хотели сослать в самое глухое место Сибири, верст за пятьсот от Баргузина, и лишь благодаря вмешательству сестры оставили на старом месте. Брак так и остался расторгнутым, хотя супруги продолжали жить вместе...

* * *

В Кургане были поселены Нарышкины, Розены, Лорер и еще несколько декабристов, переведенных сюда из Мертвого Култука, Витима, Пельма, Березова и Кондинска. Здесь жили еще несколько поляков, сосланных в Сибирь за участие в восстании 1830 года.

Первые польские изгнанники прибыли в Сибирь в 1832 году. Многие из них были осуждены на каторгу сроком до двадцати лет, другие на поселение. Они проживали в Западной Сибири на строгом режиме, им не разрешалось выезжать за пределы десяти верст от места их жительства. В 1833 году осужденных поляков направили и в Нерчинские рудники. Большой Нерчинский завод называли столицей забайкальских польских изгнанников.

Тюремное начальство встретило их сурово, но благодаря влиянию декабристов режим их жизни постепенно смягчался и положение улучшалось. Они жили очень организованно, учредили кассу взаимопомощи, создали хорошую библиотеку, завели огороды, для которых выписывали семена из Польши.

Параллельно с декабристами они вели работу по обучению детей грамоте и музыке. Эта их совместная просветительная деятельность будила мысль населения, поднимала самосознание.

Декабристы помогали полякам на поселении чем могли — одеждой, деньгами, продовольствием. В 40-х годах некоторые участники польского восстания — студенты Виленского университета — были амнистированы и вернулись на родину. В этом помогли им декабристы.

Декабрист Лунин написал в Акатуевской тюрьме большой очерк «Взгляд на дела Польши». Одоевский откликнулся на польские события одним из лучших своих стихотворений — «При известии о польской революции»...

* * *

В Кургане декабристы собирались обычно у Нарышкиных. Поляки жили несколько обособленно. Один из них, бывший

адвокат Савицкий, грустный и задумчивый человек, ежедневно в один и тот же час шел на прогулку, и всегда по одному и тому же направлению. Когда ему предложили пойти по другой, более живописной и удобной дороге, он сказал:

— Всякий раз, что я гуляю по этой дороге, меня утешает мысль, что я двумя верстами ближе к моей милой Польше, к моей семье и детям. Мне всегда кажется, что они бегут ко мне навстречу и мы сейчас обнимем друг друга...

В канун Нового года декабристы и поляки всегда приглашались к Нарышкиным. Вспоминали Петербург, Варшаву, желали друг другу встретить будущий Новый год на родине. После ужина Нарышкина садилась за рояль и пела романсы и песни. Под ее аккомпанемент поляки пели польские национальные песни. Раздавались звуки мазурки и краковяка, танцевали.

Декабристам жилось в Кургане неплохо. Обладая значительными средствами, Нарышкины много помогали и нуждавшимся обывателям, лечили их, приобретали лекарства, тяжело больных посещали на дому. Особо нуждавшимся приносили пищу, одежду и деньги.

Население Кургана очень любило их. Люди, получавшие от Нарышкиных ту или иную помощь, в простоте своей часто говорили: «За что такие славные люди сосланы в Сибирь? Ведь они святые, и таких мы еще не видали».

Ссылаясь на слабое здоровье, Нарышкина возбудила в начале 1835 года ходатайство о разрешении ее мужу переселиться в одну из южных губерний России, но царь отказал.

Летом 1837 года, путешествуя по Сибири, Курган посетил наследник престола, будущий император Александр II. Курганское начальство всполошилось. Со дня покорения Сибири еще не видали в ней такого высокого гостя. В Кургане, как и во всей Сибири, процветало взяточничество, и городское начальство волновалось, опасаясь возмездия за свои многочисленные старые и новые грехи.

Наступил день приезда наследника. Приказано было звонить во все колокола, жечь плошки и смоляные бочки. Декабристам предложено было не показываться на улицах города, и они собрались у Нарышкиных, живших против дома, где остановился наследник.

Наследник осведомился у городничего, есть ли в городе сосланные по делу 1825 года. Тот объяснил, что им велено было не присутствовать при встрече, «чтобы не произвести дурного впечатления на его высочество». Наследник приказал собрать декабристов на другой день в церкви во время богослужения.

Они собрались, но он лишь посмотрел на них, издала поклонился и, не сказав ни слова, вышел из церкви...

Наследника сопровождал в путешествии по Сибири его воспитатель, поэт Жуковский. Он был знаком с Нарышкиными, встречался у Карамзиных с Розеном и его женой, был в дружеских отношениях с декабристом Бригеном, который перевел с латинского языка жизнеописание Юлия Цезаря и свой труд посвятил Жуковскому. Всех их посетил поэт.

Пользуясь пребыванием в Кургане наследника, декабристы возбудили через Жуковского ходатайство о разрешении вернуться в Россию. Наследник написал об этом отцу, Николаю I, но тот ответил, что «этим господам путь в Россию ведет через Кавказ».

Прошло не более двух месяцев, и из Петербурга получен был список шести декабристов, которых приказано было отправить рядовыми на Кавказ, в действующую армию.

Когда городничий сообщил об этом, все были поражены. Лорер сказал:

— Если это новое наказание, то должны мне объявить мое преступление. Ежели же милость, то я могу от нее отказаться, что и намерен сделать.

— Ничего не знаю, — ответил городничий. — Я получил депешу, по которой вас требуют в Тобольск для отправки оттуда на Кавказ солдатами.

Взволнованы были полковник Нарышкин и поручик Розен, в глубоком раздумье ходил из угла в угол по комнате майор Лорер. Он говорил:

— Кампании 1812, 1813 и 1814 годов, в Отечественную войну с Наполеоном, я провел офицером и молодым человеком, а теперь, после двенадцатилетней жизни в Сибири, с расклеившимся здоровьем, я снова должен навьючить на себя ранец, взять ружье и в мои сорок восемь лет служить на Кавказе солдатом! Непостижимо играет нами судьба наша!

Выбора, однако, не было. Начались сборы в путь-дорогу, продажа и раздача вещей. Курганские жители радовались перемене участи декабристов, но были и такие, кто, лично испытав солдатскую службу на Кавказе, искренне соболезновали им и уговаривали лучше остаться в Кургане.

Почти все городское население Кургана собралось в день отъезда декабристов в небольшом березовом лесу при выезде из города и провожало отъезжающих обедом с тостами и пожеланиями счастливого пути. На трех тройках декабристы тронулись в путь.

В Ялуторовске декабристы остановились, чтобы повидаться с поселенными там друзьями — Пушиным, Оболенским, Якушкиным, Муравьевым-Апостолом, Тизенгаузеном и Ентальцевым с женою.

И в Тобольске они задержались, чтобы встретить проживавшего в Ишиме, тоже назначенного рядовым на Кавказ Одоевского и повидаться с находившимися там Фонвизинными и Кюхельбекером.

Началось обратное двухмесячное путешествие из Сибири в Россию. Снова Урал, Волга, Саратов и дальше — Воронеж, Дон, Владикавказ, Военно-Грузинская дорога, Казбек, Тифлис.

До них отправлены были, в 1829 году, из Якутска на Кавказ рядовыми декабристы А. Бестужев (Марлинский) и Чернышев.

В Казани их ожидали радостные встречи: Нарышкиных ждала приехавшая из Москвы сестра мужа, княгиня Е. М. Голицына. Одоевского встречал его семидесятилетний отец. Не удержавшись, он выбежал навстречу сыну и на лестнице упал, увлекая его за собою.

— Да ты, Саша, как будто не с каторги, у тебя розы на щеках! — сказал Одоевский, увидев своего красавца сына.

Около Казани Одоевским, отцу и сыну, предстояло расстаться. Одна дорога вела на Москву, другая — на Кавказ.

Пока перепрягали лошадей, старик Одоевский грустно сидел на крыльце почтового дома и спросил ямщика:

— Дружище, а далеко будет отсюда поворот на Кавказ?

— Поворот не с этой станции, — ответил ямщик, — а с будущей.

Старый Одоевский обрадовался: еще двадцать две версты он может не расставаться с сыном! Он дал оторопевшему ямщику 25 рублей за эту радостную весть.

Перегон быстро промелькнул, и наступил час расставания. Декабристы свернули на Кавказ, старый Одоевский и Голицына — на Москву. С ними поехала и Нарышкина, чтобы повидаться с матерью и родными, а весной тоже выехать на Кавказ, к мужу.

Чувствовал ли Одоевский, что обнимает сына в последний раз? Их обоих скоро не стало: скончался отец, а через короткое время и сын, от малярии. Он как будто думал о себе, когда, находясь еще в Читинской каторжной тюрьме, написал на смерть Веневитинова стихи «Умирающий художник»:

... и грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира...

* * *

Находясь в кавказской армии, декабристы служили под начальством генерала Н. Н. Раевского-сына, друга А. С. Пушкина. Все они чаще всего встречались у Нарышкиных, и не раз генерал Раевский приглашал их, рядовых солдат своего полка, к себе на обед.

Об этом кто-то донес Николаю I, и тот дал главнокомандующему, фельдмаршалу Паскевичу, приказ: «Не советую вам пробовать мое терпение. Раевского арестовать на гауптвахте на два месяца».

С часовым у дверей Раевский был подвергнут домашнему аресту.

Генерал Раевский-сын, лишь случайно вырвавшийся из цепких рук Николая I после восстания 14 декабря, к декабристам и служившим под его началом офицерам и солдатам относился прекрасно. Он делал все, чтобы помочь им снова выйти из солдатских рядов в офицеры.

Многие декабристы сложили на Кавказе голову... Так через два десятилетия после восстания Николай I продолжал расправляться с декабристами. «Путь в Россию через Кавказ» был усеян их трупами...

* * *

В 1872 году, семидесяти семи лет от роду, в Олонках, близ Иркутска, скончался «первый декабрист» В. Ф. Раевский. Ему было тридцать три года, когда его привезли из крепости Замостье в Олонки.

Здесь он женился на бурятке, простой женщине со здравым умом и врожденным тактом, в которой нашел верную «сопутницу» своей жизни.

У него была большая семья — пять сыновей и три дочери, — никакой помощи он из России не получал от сестер и занимался земледелием и торговлей хлебом. Детей своих воспитывал в духе тех идей, которые привели его в царские крепости и на поселение в Сибирь.

В 1856 году, после общей амнистии, Раевский получил право вернуться с семьей в Россию. Воспользовался он этим правом лишь в 1858 году, но на родине почувствовал себя чужим и скоро вернулся обратно в Олонки: когда-то, в 1822 году, когда он был арестован, Сибирь была ему страшна и чужда, теперь, после проведенных в ней тридцати шести лет, она стала ему близкой и родной.

Жизнь его в то время уже подходила к концу, но он до последних дней не изменил своим идеям и революционным настроениям: продолжал свою пропагандистскую деятельность, распространял свои произведения и даже пытался организовать в Сибири новое тайное общество. В своей «Предсмертной думе» он писал:

И жизнь моя прошла, как метеор.
Мой кончен путь, конец борьбе с судьбою,
Я выдержал с людьми опасный спор —
И падаю пред силой неземною!
.
.
.
Я жду не слез, не скорби от друзей,
Но одобрительной улыбки!

И когда он думал о том, почему пал в борьбе с самодержавием, он выразил свои мысли в письме к сестре:

«Но, видно, не мне назначена жизнь, которую называют счастливой. Я не роптал, считаю детством и слабостью жаловаться на судьбу, — но иногда делаю запрос: чем заслужил я, какая вина лежит на мне, почему исключительно на мне лежит такой гнет? И вот ответ, который я делаю на все эти вопросы самому себе: «Ты родился слишком рано!»

* * *

Медленной смертью умирал в Сибири единственный декабрист-крестьянин, член Общества соединенных славян П. Ф. Выгодский. Вступив на путь революционной борьбы двадцатидвухлетним юношей, он прошел через каторгу, двадцать шесть лет пробыл на поселении и затем накануне общей амнистии декабристов был вторично приговорен к пожизненной ссылке. Пятьдесят четыре года, почти всю свою сознательную жизнь, он провел в тюрьмах, на каторге и в ссылке.

Выгодский точно выполнил клятву, которую дал, вступая юношей в Общество соединенных славян: «Пройду тысячи смер-

тей, тысячи препятствий пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных славян»...

Семнадцатилетним пареньком он покинул родную деревню Ружичную, Подольской губернии, ушел из дома отца, крестьянина Тимофея Дунцова, и, завербованный отцами иезуитами в богословскую школу, вышел оттуда с аттестатом на латинском языке уже не под своим настоящим именем Дунцова, а под фамилией польского дворянина Выгодовского. Это дало ему возможность поступить на казенную службу, на что крестьяне не имели тогда права.

Он стал скромным чиновником, но очень скоро познал, что представляли собою присутственные места и чиновное начальство начала прошлого века; он называл их — «воровские притоны» и «разбойничьи атаманы». «И каких мерзостей, сумасбродства и беззаконий не делается в России всеми штатами, чинами и прохвостами, и все по указу его императорского величества», — писал он, имея в виду, что всякое, даже не очень значительное, распоряжение местных властей объявлялось со ссылкой на царя: «По указу его императорского величества...»

Случай свел Выгодовского с членами тайного Общества соединенных славян. Эта новая для него среда значительно расширила его кругозор и повела по совершенно новому жизненному и политическому пути. Летом 1825 года он стал членом Общества, а после поражения восстания был арестован, в феврале 1826 года направлен в Петербург, заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к двум годам каторги и вечному поселению в Сибири. Срок этот был сокращен, и через год Выгодовский был отправлен из Читинского острога на поселение в Нарым.

Он живет здесь в очень тяжелых условиях, впроголодь, и, являясь одним из немногих грамотных людей в нарымском захолустье, становится ходатаем по делам местной бедноты. Он пишет для них всякого рода просьбы и жалобы, которые местное начальство называет «ябедами», — вскрывает в них наглое самоуправство, взяточничество и насилия местных и томских чиновников. По словам Выгодовского, «чины — хапуги, черпильные гнусы, воры и бездельники», составившие целый «воровской завод... шайку» и отнимающие «у нищего последний кошель». Он изобличает их в том, что воры промышляют открыто, а чиновные взяточники и казюкрады прячутся за статьи и букву закона.

Все это, конечно, не нравилось администрации, и в III отде-

лении он был на особом учете как «человек образа мыслей весьма преступного».

В 1851 году, после двадцати пяти лет сибирской ссылки, его лишают назначенного декабристам ежегодного денежного пособия в 200 рублей, и он вынужден существовать на довольствие в размере 132 рублей 50 копеек ассигнациями, равных 52 рублям 15 копейкам серебром в год. Выгодовский пишет одну жалобу за другой, в которых обвиняет «томскую воровскую шайку чернильных гнусов» в том, что его «из последнего куска хлеба обкрадывают».

«За дерзости в прошениях» против него возбуждают уголовное дело, в 1854 году арестовывают и закованным в кандалы направляют в Томск. При аресте у него отобрали 3588 листов рукописей, «наполненных самыми дерзкими и сумасбродными идеями о правительстве и общественных учреждениях, с превратными толкованиями некоторых мест священного писания и даже основных истин христианского учения».

29 апреля 1855 года, через месяц после общей амнистии декабристов, Выгодовского приговаривают к публичному наказанию розгами и плетью, но, согласно манифесту, освобождают от этого и ссылают «в более или менее отдаленные места Сибири», обязав подпискою ни под каким видом не заниматься сочинением прошений по жалобам местного населения. В то время как остальные декабристы уже получили разрешение вернуться на родину, Выгодовский был отправлен в Вилюйск, Якутской области. Его тяжелый, мучительный переход «по канату», в партии воров и каторжников, во вторичную бессрочную ссылку длился полтора года.

Отобранные у Выгодовского 3588 листов рукописей, носивших резко обличительный характер царской администрации и самого Николая I, которого он называет «хищнейшим всего заседателем и обдирателем, прохвостом, душителем, убийцей, палачом, заплочным мастером и висельником», были уничтожены. В Центральном Государственном историческом архиве в Москве сохранился лишь краткий конспект рукописного наследия Выгодовского.

В Вилюйск старый декабрист прибыл без гроша денег и оказался навсегда оторванным от товарищей по восстанию. Организованная до него в Вилюйске М. И. Муравьевым-Апостолом школа распалась, и Выгодовский занялся обучением детей местного населения, что давало ему средства для существования.

Выгодовский прожил в Вилюйске свыше пятнадцати лет. В 1872 году сюда привезли Н. Г. Чернышевского, и накануне

его приезда из этого заброшенного городка увезли всех других «неблагонадежных» лиц. Выгодовского направили в село Урик, под Иркутском, где до амнистии жили Волконские, Лунин и многие декабристы. Через сорок четыре года после восстания семидесятилетнему Выгодовскому разрешено было поселиться в Иркутске. Здесь он прожил еще десять лет и в 1881 году скончался.

Он был последним умершим в Сибири декабристом.

* * *

Так шли годы. Декабристы вышли 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь еще совсем молодыми людьми. Почти половина из них была тогда в возрасте двадцати — двадцати пяти лет, остальные — в возрасте двадцати шести — тридцати пяти лет.

Проведенные на каторге и в ссылке десятилетия наложили на них неизгладимую печать пережитых страданий. Выйдя на поселение, многие оказались отторгнутыми от тех, кого любили и с кем хотели связать или уже связали свою жизнь.

И многие — двадцать пять декабристов — женились в Сибири, женились на козловых сибирских казачках, мещанках и крестьянках, которые по-французски не говорили и иногда были даже неграмотны. Но, став женами и подругами декабристов, оказавшись в новом для них окружении, они постепенно приобретали культурные навыки.

Многие из этих браков оказались счастливыми, и дожившие до амнистии декабристы вернулись в Россию вместе с своими сибирскими женами. Те из них, чьи мужья скончались в Сибири, не захотели оставить свою суровую родину и остались там вместе с родившимися у них детьми.

На сибирских городских кладбищах и на деревенских погостах многие декабристы нашли вечный покой.

«Мы не на шутку заселяем сибирские кладбища... Редкий год, чтобы не было свежих могил», — писал И. Пущин Д. Завалишину.

Смерть многих декабристов явилась результатом бесчеловечного отношения к ним Николая I. Многие сошли с ума, умерли от туберкулеза и истощения, были парализованы и безвременно погибли, не выдержав каторги и ссылки. В конце концов, по выражению Пущина, «некрология начала заменять декабристам историю их дней в Сибири...»

На протяжении всей жизни декабристов и их жеп в тюрьме Петровского завода и затем на поселении не прекращала своей деятельности созданная ими артельная касса взаимопомощи. Душой этого дела с первого дня существования кассы был Пущин, и жены декабристов всегда помогали ему в этом.

Из многочисленных писем друг к другу декабристы осведомлялись о трудном положении того или иного товарища. Каждый был у всех на виду, и если кто нуждался, ему всегда направлялась из артельной кассы помощь. Многие получали ее постоянно, из месяца в месяц. Артельная касса пополнялась из добровольных взносов декабристов и частных лиц.

Письма и распоряжения Пущина по артельным делам дышат большой теплотой и сердечной отзывчивостью. Даже тысячеверстные расстояния и разбросанность декабристов по всей Сибири не ослабляли их постоянной заботы друг о друге.

В марте 1856 года он писал, например, уже находившейся под Москвой Н. Д. Фонвизиной:

«24-го я отправил... твои деньги, разумеется, не сказал, от кого, только сказал, что и не от меня... От души спасибо тебе, друг, что послала по возможности нашему старику. В утешение тебе скажу, что мне удалось через одного доброго человека добыть... ежемесячно по 20 целковых... За 1-е число (начиналось с генваря) получаю из откупа эту сумму и отправляю, куда следует. Значит... покамест несколько обеспечен...»

И через год, в октябре 1857 года, Пущин, больной, почти прикованный к постели, просит брата Николая разыскать сестру покойного декабриста К. П. Торсона:

«Наша артель имеет возможность ей помочь. Теперь у меня делается раскладка на будущий год. Артельный год наш начался с 26 августа. Я не знаю, где отыскать ее...»

И к Пущину же обращаются вернувшиеся из Сибири декабристы, если хотят узнать, кто из них где поселился. К нему стекаются все сведения, и на все такие запросы он дает четкие и ясные ответы.

На протяжении ряда десятилетий Пущин трогательно заботился о нуждавшихся, и товарищи шутливо прозвали его за эту деятельность «Маремьяной-старицей». «В полном смысле слова: Маремьяна-старица! — шутливо пишет сам о себе Пущин брату в 1855 году. — Это уже вошло в мое призвание... старая Маремьяна иногда и не бесполезно заботится».

Чава Семнадцатая

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ БЕСТУЖЕВЫ

Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря.

М. Бестужев

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря 1825 года, за пятнадцать часов до восстания декабристов, в квартире на 7-й линии Васильевского острова в Петербурге собралась вся семья Бестужевых. Приехавшая накануне из деревни мать, Прасковья Михайловна Бестужева, сидела в окружении своих пяти сыновей и трех дочерей. Она давно не виделась с ними и была счастлива.

Взор ее с восторгом останавливался то на одном, то на другом, и каждого из них она любовно расспрашивала о его занятиях, жизни, службе. Каждому из них ее материнское сердце предвещало блестящую и прочную будущность: трое старших — Николай, Александр Бестужев (Марлинский), в то время уже известный писатель, и Михаил — были в офицерских чинах, Петр, мичман, был адъютантом главного командира кронштадтской крепости вице-адмирала Моллера, самый младший, Павел, готовился в офицерских классах артиллерийского училища в гвардейскую конную артиллерию. Матери казалось, что дети ее счастливы, и она была счастлива их счастьем.

Старших сыновей в этот день посетили друзья — К. Ф. Рылев, И. И. Пущин, Г. С. Батенков, К. П. Торсон. Прасковья Михайловна приветливо встречала их.

Сыновья Бестужевой были между тем озабочены: сразу после обеда они должны были отправиться к Рылеву, на последнее перед восстанием собрание, и на душе у них было неспокойно. Они старались улыбаться, когда чувствовали, что мать любит их, и, чтобы не выдать своего душевного волнения, поддерживали друг друга одними им понятными взглядами: лишь вечер и ночь отделяли их от восстания и кровавых событий на Сенатской площади.

После обеда братья поцеловали мать, простились с нею и с сестрами и уехали. Могла ли мать думать, что не пройдет и су-

ток, как ее радостные мечты и настроение сменяются горестной действительностью!

Старшие братья чувствовали, что, быть может, навсегда покидают материнский дом, и потому приняли меры, чтобы младшие братья уже с вечера отправились к местам их службы: Петр — в Кронштадт, Павел — в училище. Они хотели, чтобы в случае разгрома восстания хоть эти двое остались при матери.

Петр, однако, не поехал в Кронштадт и на другой день оказался на Сенатской площади рядом со своими тремя старшими братьями.

— Я не мог лишиться себя завидной участи разделить опасность вашего славного предприятия, — объяснил он братьям свое появление на площади.

Расставшись с матерью, Михаил отправился проверить караулы и по пути заехал проститься со старшей дочерью вице-адмирала Михайловского, которую любил. Она провожала его в передней, он обнял ее, поцеловал в лоб и тихо сказал:

— Прощай, мой друг!

Но, видно, лицо и голос Бестужева выдавали его волнение, и сама она кое-что слышала о подготавливавшемся восстании. Она побледнела и потеряла сознание. Бестужев вынужден был сдать ее на руки няне и спешно удалился.

На другой день прямо с Сенатской площади братья явились на короткое время домой. Первым пришел Михаил.

— Сестра, я погиб, я теперь ничто! — сказал он и стал срывать с себя знаки отличия.

Он был очень голоден, поел, немного успокоился, оказавшись среди близких, долго спал и, подкрепив силы, простился с матерью и сестрами и навсегда ушел из дома.

Пришел Александр. Он бросился перед матерью на колени со словами:

— Это я погубил своих братьев, без меня они не попали бы на Сенатскую площадь!

Не переодеваясь, он в полной форме в тот же вечер сам явился в Зимний дворец, рассматривая свою явку как сдачу оружия победившему противнику.

Явился домой и брат Николай.

— И ты также замешан? — спросили сестры.

— Да, ведь, по нашим законам, — ответил он, — я уже тем был бы виноват, что знал, да не донес, а мог ли я донести на свою кровь?..

Николай Бестужев прекрасно рисовал и попросил сестру:

— Дай красок ящик. Да вели принести чаю...

Выпив чаю и переодевшись, Николай тоже ушел. Он занимал должность начальника Морского музея, а до того — помощника директора маяков на Балтийском море, и после разгрома восстания хотел перейти по замерзшему Финскому заливу, через ближайшую границу, в Швецию.

Опасаясь, что матросы могут его узнать, он зашел по дороге к приятелю, сбрил баки, подкрасил лицо, прищурил один глаз, надел нагольный тулуп и шапку, взял салазки и спокойно прошел мимо часового. Он дошел уже до Толбухина маяка и остановился в попутном матросском домике, чтобы обогреться и подкрепиться. Баба в матросском домике дала ему поесть, но, заметив на руке Бестужева кольцо и всмотревшись в его загримированное лицо, сказала явившимся сыщикам:

— Кажись, у меня Бестужев. Лицо не то, а по манерам как бы и он. Да и перстень...

Один из сыщиков тоже стал вглядываться в лицо Бестужева.

— Николай Александрович, — сказал он, — ведь я вас узнал!

— Коли узнали, так ведите! — ответил Бестужев.

В ту же ночь его доставили в Зимний дворец.

Зашел домой и быстро уехал в Кронштадт и четвертый брат, Петр.

* * *

Ночью в квартиру Бестужевых пришли с обыском. «Это была махина страшная», — вспоминала старшая сестра, Е. А. Бестужева. Мать уже спала, и она стала перед дверью ее спальней.

— Вам велено осмотреть братьев, а мать не приказано убивать? — спросила она.

— Нет!

— Так дайте же я сама распоряжусь. Маменька, вы спите? — спросила она через дверь.

— Нет еще.

— Прислали за братьями, чтобы шли присягать, — сказала она, стараясь хоть на время скрыть от нее случившееся.

— Вот нашли время! — проворчала та.

Никого из братьев сыщики уже не нашли в квартире.

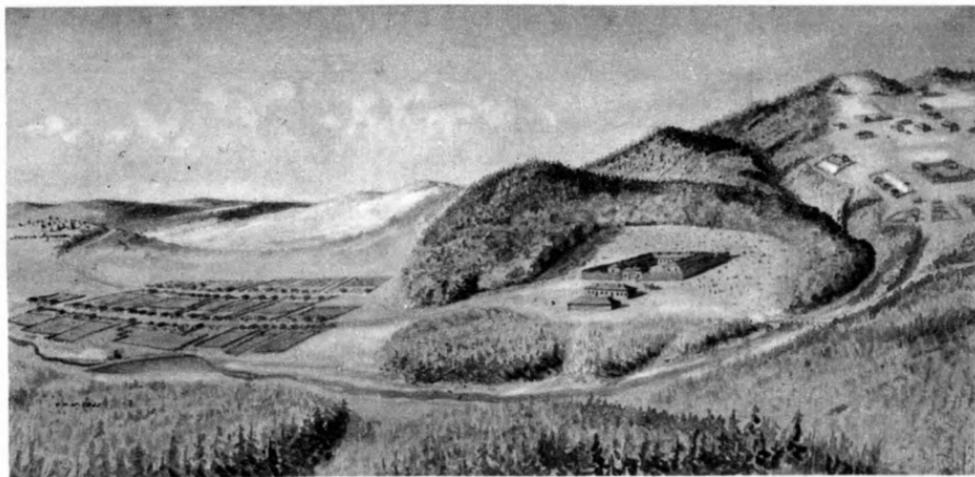
Лишь один Павел из всех пяти братьев не был замешан в деле 14 декабря. Но и он не избежал общей их участи. Проходя как-то по дортуарам училища, великий князь Михаил Павлович, брат Николая I, увидел на столике «Полярную звезду».



Ялutorовск. Слева — дом, в котором жил
на поселении декабрист И. И. Пущин.
Акварель 40-х годов XIX века.

Концерт в доме Ж. А. Муравьевой, жены
декабриста А. М. Муравьева, в Тобольске,
в 40-х годах XIX века.
Акварель М. С. Знаменского.



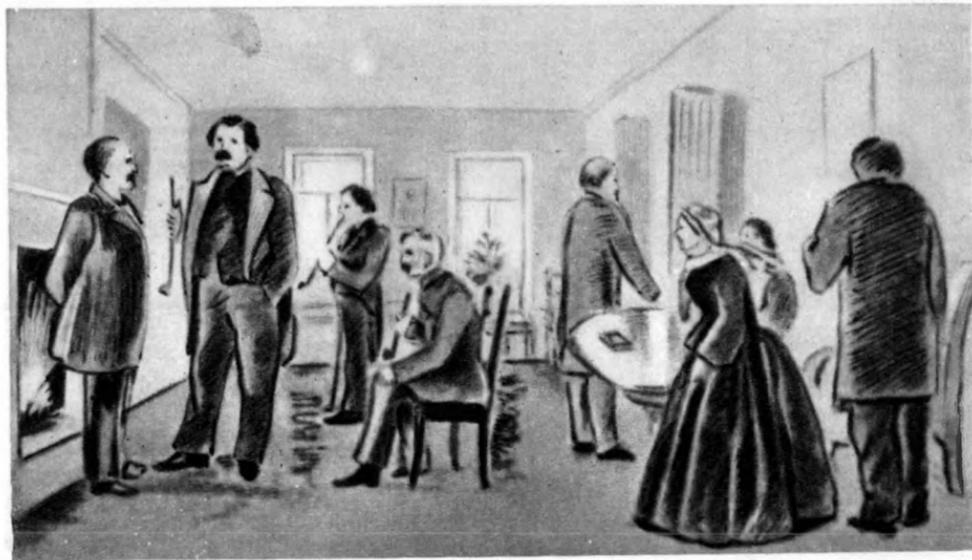


Акатуй. Сюда, в Акатуйский тюремный замок, был заключен после нового ареста и здесь погиб декабрист М. С. Лунин.

Акварель А. П. Созонович.

Декабристы в Ялutorовске. У камина М. И. Муравьев-Апостол и И. И. Пущин. Справа — А. В. Ентальцева, И. Д. Якушкин, М. К. Тизенгаузен и другие.

Акварель М. С. Знаменского.





Дом, в котором жили в Баргузине на поселении декабристы В. К. Кюхельбекер и его брат М. К. Кюхельбекер.

Фотография.

Автограф письма В. К. Кюхельбекера к Н. Г. Глинке, отправленного 13 февраля 1836 года из Баргузина после десятилетнего заключения в крепостях.

Заглавный лист дневника, который вел на каторге и в ссылке декабрист М. С. Лунин.

Папы зана 13. ерлпауа
1836. —

Грже Касава

Јако и на мела се рат
како, — и како менај ерлпауа
Нумукастама и модоу Бавау,
јуре се бр Келта клелу, се
Ба Баукаур и Баукаур,
келта, — норму се лелта,
не, ерлпауа ерлпауа, а
и Кумаукастама нумукастама
Мелта дум ерлпауа.

ерлпауа ерлпауа
ерлпауа: се конелта,
ерлпауа ерлпауа.

ерлпауа ерлпауа
ерлпауа ерлпауа

+ Bileti justitiam, et odium iniquitatem propterea dunt
in exilio.

+ Exegese. +

Disque et nos faciem habentes impunitam
nihil factum, Dependentis unum pendit, et
circumstantias nos peccatorum pro peccatorum
causam ad proprietatem sub castam.

Селтапа нелта К. Уваукастама.
ерлпауа ерлпауа ерлпауа: ерлпауа ерлпауа, а
ерлпауа ерлпауа ерлпауа.



Екатерина Федоровна Муравьева,
мать декабристов Никиты и
Александра Муравьевых.
Рисунок П. Ф. Соколова.



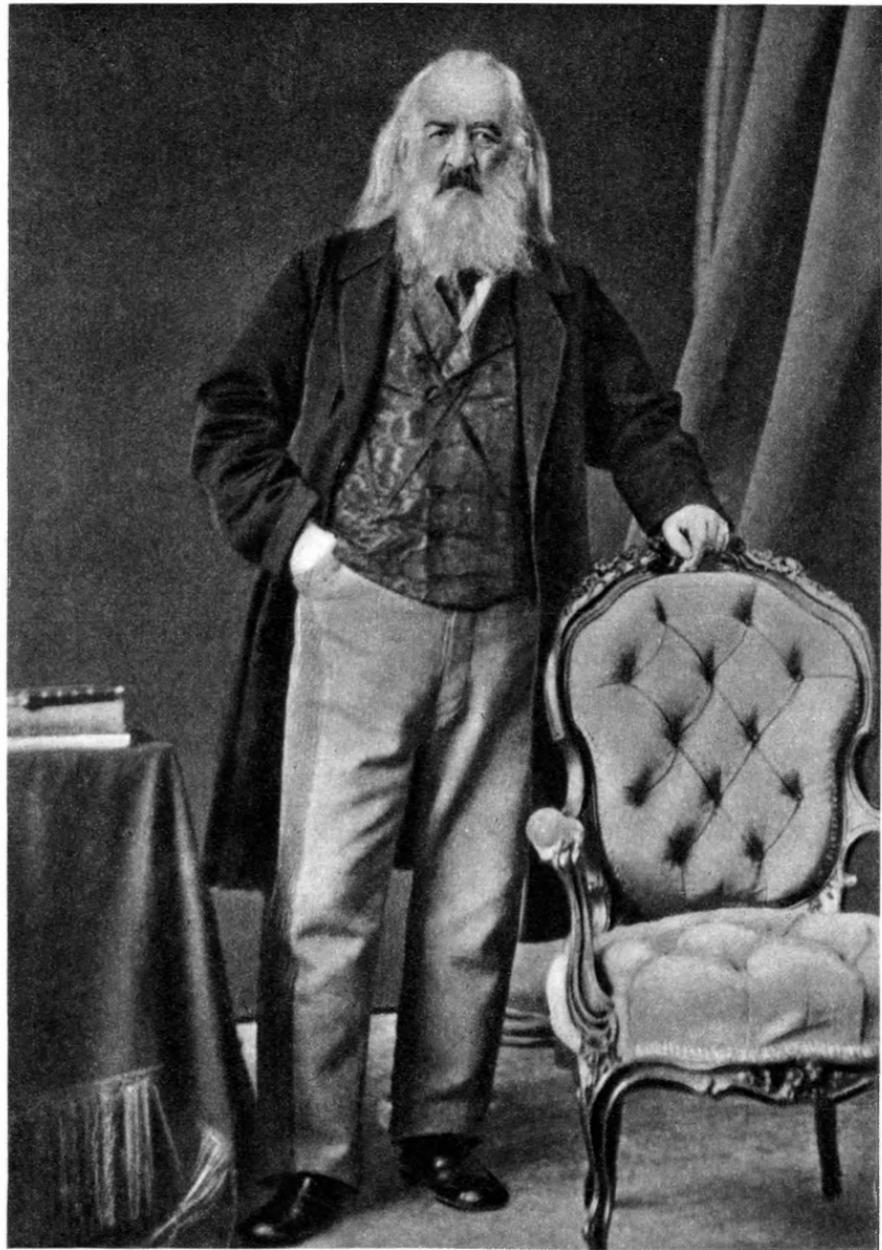
Софья Никитична (Нонушка),
дочь Н. М. Муравьева, родившая-
ся на каторге, любимица всех
декабристов.
Фотография А. Бергнера.



Елена Александровна Бестужева,
сестра четырех декабристов,
братьев Бестужевых.
Литография В. Погонкина.



Дом, в котором жили в Селенгинске братья Николай и Михаил Бестужевы. Сюда к ним приехали в 1847 году сестры Елена, Мария и Ольга.
Фотография 1910 года.

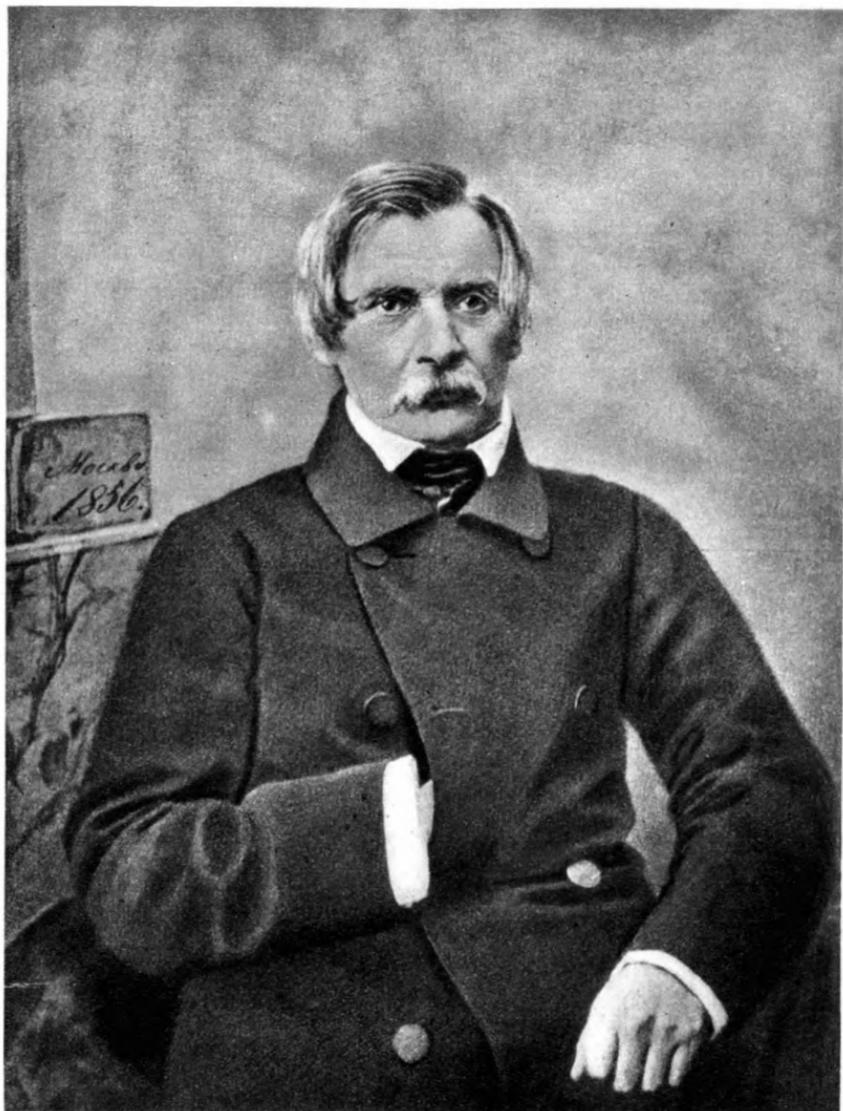


Сергей Григорьевич Волконский после
тридцатилетней каторги и ссылки.
Фотография 1861 года.



Мария Николаевна Волконская после
тридцатилетнего пребывания с мужем
на каторге и в ссылке.

Фотография 1861 года.

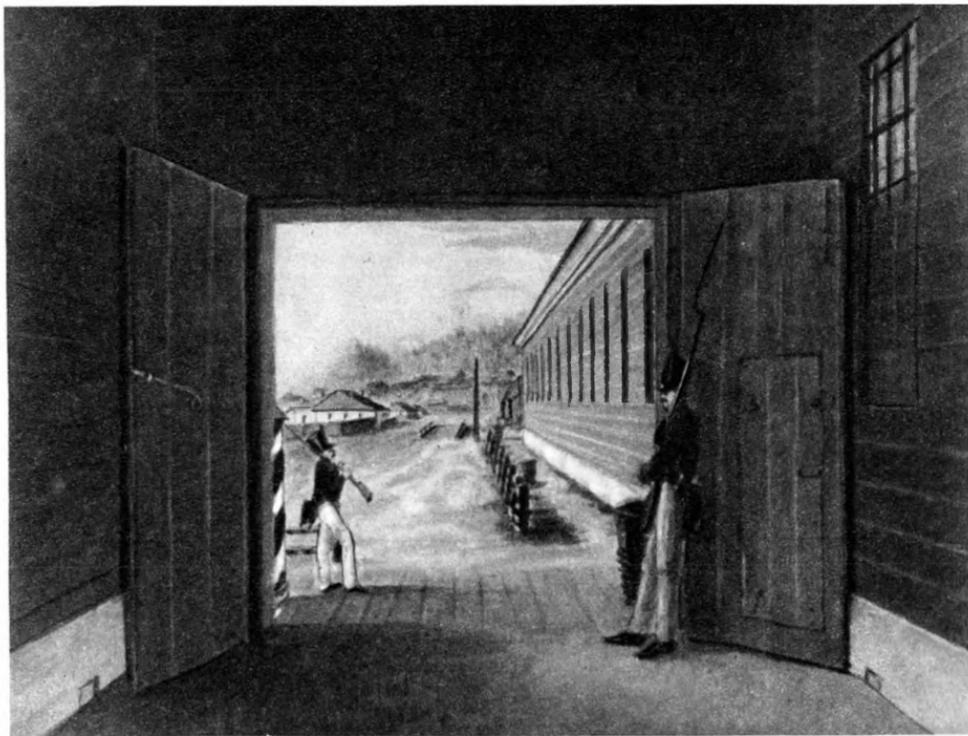


Иван Иванович Пуцин после амнистии,
в 1856 году.

Фотография А. Бергнера.



Гавриил Степанович Батенков после двадцатилетнего заключения
в крепости и десятилетнего пребывания на поселении в Сибири.
Фотография 1861 года.



Часовые у входа в тюрьму Петровского
завода.

Акварель М. К. Юшневской.

Номер «Колокола» с извещением о на-
чале печатания «Записок декабристов».

REGISTERED AT THE GENERAL POST-OFFICE FOR TRANSMISSION BEYOND THE UNITED KINGDOM,

КОЛОКОЛЬ

VIVOS VOVO!

ЛНСТЬ 143.

1 СЕНТЯБРЯ 1862.

(WITH SUPPLEMENT NO. 24.)

У Трехбера & Со. въ книжной лавкѣ,
60, Paternoster Row, в у Tebournwaki,
1, Macclesfield Street, (Gerrard Street),
Soho, London. Price One shilling, with
Supplement: VET CUE No. 3.

Выходить еженедѣльно въ Лондонѣ.
Печатается въ Высшей Русской Типо-
графіи, 136 & 138, Abchurch Lane, N.
Цена 1 шилл. съ третьимъ листомъ—
ОБЩЕЕ ВЪДѢ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.—Записки Декабристовъ.—Восстание Рамлово.—Восстание въ Варнаву.—Имѣніе и учителя въ Польшѣ.—Терроръ.—Книжка
по эмалю.—Календарь борзакъ (Продолженіе).—Цесаря. Семья: Г-жа Цесаря и Свѣтлыя.—Стрѣлы III Отдѣленія.—LES MERVEILLES!

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТОВЪ.

Первая присылка записокъ получена нами. Мы не имѣемъ словъ, чтобы выразить всю нашу благодарность за нее. Наконецъ-то выдуть изъ могилъ великія тѣни первыхъ сподвижниковъ русскаго освобожденія, и болѣе всего знавшее ихъ по Будову и по Корюу—узнать ихъ изъ ихъ собственныхъ словъ.

Мы съ благоговѣніемъ средневѣковыхъ переписчиковъ апостольскихъ дѣяній и житій святыхъ, принимаемъ за печатаніе "Записки Декабристовъ;" мы чувствуемъ себя гордыми, что на долю нашего станка досталась честь обнародованія ихъ.

Всѣ вырученныя деняги, за расходами на печать и бумагу мы раздѣлимъ по поламъ. Одну половину перешлемъ для вспоможенія лицамъ сосланнымъ въ Сибирь, вслѣдствіе политическаго гоненія, другую—оставимъ въ Лондонѣ для вспоможенія русскимъ, которые вынуждены будутъ покинуть отечество, по причинѣ тѣхъ же гоненій. Если же эмигрантовъ будетъ не много, то по прошествіи года мы и эти деняги присоединимъ въ Сибирскій фондъ.

Мы предполагаемъ издавать Записки отдѣльными выпусками и начать съ записокъ "И. Д. Языкина" и книги "Трудецкого". За тѣмъ послѣдуетъ записка князя "Оболенскаго, Басаргина, Штенгеля, Люблинскаго, П. Бестужева", далѣе о 14 Декабрѣ "Пизниа", "Бѣлая церковь", "Воспоминанія князя Оболенскаго о Рыльскѣ и Языкини", "Былое изъ разсказовъ Декабристовъ", "Списокъ сѣвѣстной комиссіи", статья "Лунина" и разныя письма.

О подробностяхъ изданія извѣстимъ въ послѣдствіи.

II—ръ.

1 Сентября 1862 г.

Письмо изъ Константинополя.

Милостивый Государь!

Студентъ и полякъ, я былъ арестованъ по политическимъ причинамъ в приговоренъ къ отбавѣ въ солдаты въ линейные полки, стоящіе въ Сибирь.

Мнѣ удалось бѣжать съ Сибирской границы и я добрался безъ большихъ препятствій до Константинополя.

Годъ VI.

Въ моемъ побѣгѣ помогали мнѣ самымъ дѣлательнымъ образомъ многие изъ вашихъ соотечественниковъ, а свѣто обѣщанъ—извѣстия вѣхъ о моей судьбѣ.

Находясь теперь на свободѣ, я не имѣю другаго средства исполнить мое обѣщаніе, какъ обращаться къ вашему журналу. Передайте имъ мою глубокую признательность за благородное сочувствіе, которое они оказали не только несчастному, но поляку, пострадавшему за свѣтое дѣло своей родины.

Желалъ бы я очень лично разсказать вамъ исторію моего путешествія по Россіи, продолжавшагося нѣсколько мѣсяцевъ, но обстоятельства не позволяютъ мнѣ исполнить это въ скоромъ времени и пр.

Преданный вамъ

Константинополь,
12 Августа, 1862 года.

ВИСЬЯНЦА ВЪ ВАРНАВѢ.

И такъ вмѣсто Александровской конституціи, Константиновъ Николаевичъ привѣлъ въ Варнаву николаевскую висьянцу.

Ярошницкій былъ повѣщенъ 21 Августа. 26 Августа, были повѣшены: Рыль и Ржоньша.

Въ нашихъ глазахъ висьянца овищена со времени Цеселя и его друзей, крѣсть былъ тоже висьянцемъ. Вообще мы о родахъ убійствъ и о тонкостяхъ изащачества спорить не будемъ, но въ глазахъ *внимателей* это не такъ, они считаютъ смерть на висьнцѣ позорной... Сколько надобно имѣть монгольской злобы и какое отсутствіе такта, чтобы казнить съ поруганіемъ изъ личной мести.

РУССКІЕ МУЧЕННИКИ И МУЧИТЕЛИ ВЪ ПОЛЬШѢ.

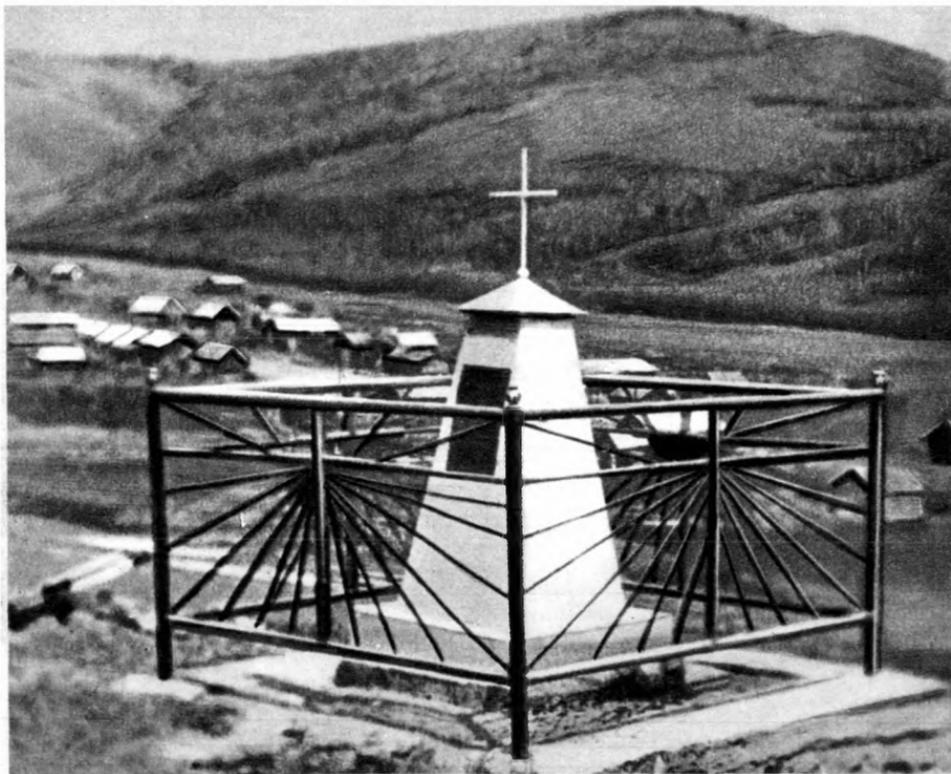
Выписываемъ изъ чрезвычайно замѣчательнаго письма, полученнаго нами изъ Польши слѣдующія строки: "До насъ вѣроятно дошло извѣстіе о первыхъ жертвахъ со стороны русскаго войска, объ Аригольди, Сливницкомъ и Роскошскомъ.

Передъ арестомъ человекѣкъ шестьдесять солдатъ съ оружіемъ готово было зачинать ихъ и только приказаніе Сливницкаго удержало ихъ. Всѣ держали себя, особенно Аригольди, передъ судомъ съ героическою твердостью. Они съ первыхъ словъ объявили, что говорили съ солдатами в расиротранжили между



Дом, в котором жил декабрист М. Ф. Орлов, в Москве на Малой Дмитровке, ныне улице Чехова, 12. Здесь у него бывал А. С. Пушкин.

Фотография.



Могила декабриста М. С. Лунина в Акатуе.
Фотография 1960 года.



Часовня, в которой погребена в Петровском заводе, в 1832 году, Александра Григорьевна Муравьева. В часовне на протяжении многих десятилетий горел неугасимый огонь.

Фотография.

В «Полярной звезде», лежащей на столике между двумя кроватями, была напечатана «Исповедь Наливайки» Рыльева.

— Кто здесь спит? — гневно спросил он.

— Бестужев, ваше высочество! — ответили ему.

— Арестовать его! — приказал великий князь.

Было наряжено следствие, и выяснилось, что «Полярную звезду» читал вовсе не Павел Бестужев, а его товарищ, спавший по другую сторону столика. Но по ходу следствия было ясно, что Павла хотят удалить из училища, и потому юноша сказал великому князю:

— Ваше высочество, я сознаюсь! Я кругом виноват, я должен быть наказан уже потому, что я — брат моих братьев.

Этот смелый ответ юного Павла решил его участь: он был исключен из училища и направлен солдатом в Бобруйскую крепость.

Когда мать узнала, как вел себя ее Павел, она сказала:

— Что ж, вы хотите, чтоб он убивался? Никогда этого не дождетесь... А вот великий князь, обманувший меня, даст ответ богу!..

Мать долго хлопотала об освобождении Павла. Она писала Николаю I, что это ее последний сын и что он ни в чем не виновен. Царь отвечал: «Мы его накажем по-отечески»...

Три старших брата — Николай, Александр и Михаил — оказались после суда на каторге и в ссылке, а Петр был отправлен солдатом на Кавказ. Впоследствии на Кавказ попал из Бобруйской крепости и Павел. Оба брата случайно встретились в Тифлисе, у А. С. Грибоедова, который состоял при А. П. Ермолове, управлявшем гражданской частью на Кавказе. Грибоедов всегда старался, чем мог, быть полезным братьям и облегчить их положение.

Петр несколько лет воевал на Кавказе, участвовал в штурмах Карса и Ахалцыха, был ранен, но попал затем в лапы одного из тех мрачных «бурбонов», которые всячески истязали солдат. Выведенный из равновесия его издевательствами, Петр Бестужев заболел и начал проявлять признаки душевной болезни.

Петр пишет матери нежные письма. Цитируя стихи Байрона из «Шильонского узника», он говорит, что блуждает, как тень, по кругу людей,

Как облако при ясном дне,
Потерянное в вышине,
И в радостных его лучах
Неужное на небесах.

Он мечтает вернуться к матери:

И вас увижу ль я, родительские нивы,
Где солнце юности под рощею возшло,
Где опыт охладил священные порывы
И думы черные наморщили чело!

Тщетно просила мать разрешить ей взять сына к себе в деревню и лечить, пока это было еще возможно. Но царь даже не отвечал на ее письма.

Матери вернули сына Петра лишь тогда, когда болезнь его обострилась до последней степени. Семь лет он мучил ее и сестер, и, когда состояние его стало опасным и угрожающим, мать обратилась к Бенкендорфу с просьбой разрешить поместить сына в больницу для умалишенных, находившуюся в пяти верстах от Петербурга, по петергофской дороге.

Бенкендорф доложил об этом Николаю I, и тот, властитель огромной империи, распорядился: «В просьбе отказать, так как это заведение находится очень близко от столицы».

Даже Бенкендорф устыдился этой бессмысленной царской резолюции: он сам дал разрешение поместить умалишенного Петра Бестужева в больницу, где тот через три месяца, в 1840 году, скончался.

* * *

Всех четырех братьев отправили после ареста в Петропавловскую крепость, и старшая сестра их, Елена Александровна, стала фактической главой семьи. Женщина исключительноного благородства, большой души и нежного сердца, она всю свою жизнь самоотверженно посвятила матери, братьям и сестрам.

«Она делается, — писал о ней историк М. И. Семевский, — каким-то гением-спасителем в своей разбитой семье: поддерживает окончательно убитую горем мать, навещает — среди множества препятствий — узников-братьев, из последних средств шлет им постоянно все необходимое в Сибирь и на Кавказ, хлопочет за них, исполняет массу поручений; делается редакторшей, издательницей, комиссионершей брата Александра; вымаливает брату Петру прощение; мужественно выносит страдания при виде сумасшедшего брата, помещает его в дом умалишенных, куда с трудом принимают его, опасаясь его политической неблагонадежности; наконец, схоронив трех братьев и мать, продает свой скарб и с двумя сестрами едет в Сибирь оживить своим участием оставшихся двух братьев».

Три умерших брата, о которых писал М. И. Семеvский, это: Петр, о котором сказано выше, Александр и Павел.

Александр Бестужев (Марлинский) был направлен после суда в Якутск, оттуда переведен в 1829 году на Кавказ, в 1836 году произведен в прапорщики и награжден орденом, 7 апреля 1837 года был убит при высадке десанта в Адлере.

Павел, прослужив год в Бобруйске, был направлен на Кавказ; выйдя в отставку, женился и 27 октября 1846 года скончался.

Братья обожали сестру. Александр Бестужев называл Елену Александровну образцом сестер. «Отраднo, — писал он, — быть братом этой души высокой...»

Свое высокое самоотверженное служение Елена Александровна Бестужева начала в день восстания, 14 декабря 1825 года, — ей было тогда тридцать три года — и продолжала сорок девять лет, до 2 января 1874 года, дня своей смерти. Ей было тогда восемьдесят два года.

Как и братья, она унаследовала свои прекрасные душевные качества от отца, А. Ф. Бестужева, который оставил военную службу вследствие ненависти к Аракчееву и говаривал детям: «Не оставлю богатства, но честное имя и хорошее воспитание. Сами все заработаете».

Сразу после ареста братьев Елена Александровна начала хлопотать о свидании с ними, но получила его лишь через полгода, 11 июля 1826 года.

— А ведь ты, сестра, я думаю, догадывалась? — спросил ее Николай, когда они наконец увиделись.

Вопрос был задан в присутствии коменданта, и сестра нашлась:

— Нет, я не догадывалась, а если бы догадалась, то спрятала бы платье и не пустила вас...

Брат Александр шутил:

— Помнишь, сестра, как не хотелось мне, когда я был в Горном корпусе, ехать в Сибирь? И я говорил тогда матушке: «Ведь я нашлю впоследствии, так меня и без Горного корпуса шлют в Сибирь»...

Передавая братьям белье и вещи, сестра сумела положить в чемоданчики три книги: Александру — библию на итальянском языке, Николаю — «Сентиментальное путешествие» Стерна, Михаилу — сочинения Расина.

Книги эти, по признанию братьев, не только служили им отрадою в их тюремной жизни, но, быть может, спасли от сумасшествия.

Зная, с каким трудом жены декабристов получали разрешение следовать за своими мужьями, мать и сестры Бестужевых не сразу пачали хлопотать об этом: они были уверены, что царь откажет. И мать долго не решалась обратиться к Николаю I, зная, что тот уже отказал в этой просьбе старикам Ивашевым и другим.

Но П. М. Бестужевой было уже семьдесят лет, ей очень хотелось повидать перед смертью сыновей, и в 1845 году она решила наконец обратиться к царю с просьбой о «милости»: милости разрешить ей добровольно отправиться на каторгу и обречь себя на бесконечные муки и страдания.

Ей пришлось просить, доказывать, унижаться, и царь наконец разрешил. Она начала готовиться с дочерьми к дальнему путешествию, к новой, чуждой им жизни. Они продали все, что не могли взять с собою, закупили все необходимое для жизни в Сибири и отправили в Селенгинск, где жили Михаил и Николай Бестужевы, и сами выехали из Петербурга в Москву.

Но, пока они собирались, Николай I раздумал и взял обратно свое разрешение Бестужевой ехать с дочерьми в Сибирь. Они были потрясены, получив от Бенкендорфа бумагу, в которой тот сообщал, что государь запретил им ехать в Сибирь «собственно для их же пользы».

Мать и три дочери оказались между небом и землею, в незнакомом им городе, без всяких средств к жизни. У них не было даже приличного платья, чтобы показаться на людях. Но предложение царя не ехать в Сибирь «собственно для их же пользы» мать поняла так, что царь, видимо, желает вернуть ей сыновей и изгнать ее и дочерей от поездки в Сибирь.

Но время шло, надежды таяли, и мать Бестужевых, старая, измученная женщина, не выдержав выпавших на ее долю испытаний, тяжело заболела и в 1846 году скончалась.

Сестры остались одни. Похоронив мать, Елена Александровна с огромным трудом все же добилась разрешения выехать в Сибирь, «на добровольное, вечное... заключение с братьями».

Братья уже давно ждали их. Они сделали все, чтобы возможно лучше и уютнее обставить жизнь сестер в Селенгинске. Своими руками они оштукатурили дом внутри и снаружи, сменили окна, полы, крышу, покрасили стены и полы, пристроили рядом кухню и баню, выкопали погреб. Выполнить все это было трудно, ибо многого в Селенгинске нельзя было достать, и им приходилось выписывать необходимые материалы из Кяхты или Иркутска. Нехватка какой-нибудь мелочи иногда надолго останавливала работы.

Сестры выехали наконец в Сибирь. Шел 1847 год. По пути в Селенгинск они неожиданно встретились с декабристом Г. С. Батенковым. Они видели его в последний раз 13 декабря 1825 года, накануне восстания — он посетил Бестужевых в тот день, когда вся семья сидела в последний раз за обеденным столом. Около двадцати лет продержали Батенкова в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости и после освобождения направили на поселение в Томск. Узнав, что должна приехать Елена Александровна с сестрами, он приехал повидаться с ними.

Батенков долго и много говорил, а сестры очень устали с дороги.

— Мы спать хотим, Гавриил Степанович, — пыталась остановить его Елена Александровна.

— Да ведь я двадцать лет молчал, дорогая Елена Александровна, — ответил, не обижаясь, Батенков.

...Встреча сестер с братьями была нежной и трогательной. Население Селенгинска хорошо знало Бестужевых, вышло сестрам навстречу, и они с трудом могли пробраться сквозь густую толпу в объятия братьев.

Со дня восстания на Сенатской площади прошло уже двадцать два года, и все они очень постарели. Елене Александровне было уже пятьдесят пять лет, Марии и Ольге — немного меньше. Брату Николаю было пятьдесят шесть лет, Михаилу — сорок семь. Жизнь братьев и сестер после всего пережитого близилась к концу, и свидание их было тем более радостным.

— Знаешь ли, милая Елена, — говорили ей братья, — ведь только твоё обещание приехать к нам и поддерживало нас все это время.

Нетрудно представить себе, как рады были они друг другу после такой длительной разлуки. В письме к другу своей юности А. Н. Баскакову Михаил Бестужев писал: «Мы так молоды расстались с тобою, а потом, когда между нами легла могила, когда нас схоронили заживо, для нас не стало ни настоящего, ни будущего; одно сознание прошедшего оживляет по временам наше мертвенное существование. Им, как воздухом, мы и дышим... С кем же, как не с тобою первым, мне поделиться радостью, посетившею нас впервые с тех пор, как мы умерли для всех радостей?.. Не стану описывать, что со мною было, что происходило во мне при свидании с милыми сестрами. Спроси у своего нежного, доброго сердца, и оно тебе все расскажет, а я не в силах: перо отказывается, и у меня в голове и сердце до сих пор такой хаос...»

Этот хаос чувств длился долго. «Если бы Вы случились теперь здесь, — писал Н. Бестужев С. П. Трубецкому, — то, несмотря на Вашу солидность, милостивый государь, я бы ухватил Вас и заставил бы протанцевать польку вместе со мною. Я до того оглушел в это время, что ни одна серьезная мысль нейдет мне в голову, и, несмотря на то, что работы пропасть, я не могу ни за что браться. Это самый беззаботный период моей жизни».

Постепенно жизнь налаживалась и входила в свою нормальную колею. Все домашнее хозяйство перешло в руки Елены Александровны. М. Бестужев случайно приобрел фортепьяно, сестры Мария и Ольга прекрасно играли, и каждый вечер из окон бестужевского дома неслись звуки чудесной музыки. Для жителей небольшого Селенгинска это было не совсем обычное явление.

Братья и сестры делились друг с другом воспоминаниями о пережитом. Трех братьев — Александра, Петра и Павла — в то время уже не было в живых. Николай и Михаил вспоминали, как они в последний раз встретились в Иркутском остроге с братом Александром. Он уезжал на поселение в Якутск, а их отправляли в Читинскую каторжную тюрьму.

Ожидая отправки на поселение, Александр случайно встретился тогда в бане с декабристом Якушкиным. Они обрадовались друг другу, крепко обнялись, и Бестужев порадовал Якушкина дорогим подарком: отдал ему только что вышедшую тогда поэму Пушкина «Цыганы». Из Якутска Александр позже иронически писал братьям, что дни его «состоят из глотков чая, клубов табачного дыма, вздохов и зевоты».

* * *

В Селенгинске жил вместе с Бестужевыми их давний близкий друг, бывший моряк, декабрист К. П. Торсон. Люди образованные и разносторонне талантливые, особенно Николай Бестужев, они оставили по себе в Восточной Сибири добрую память.

Выйдя на поселение, Бестужевы занялись сельским хозяйством. Пахотные земли в то время не имели в Сибири особой ценности, сеять хлеб было невыгодно. Бестужевы занимались им десять лет, но, писал Михаил Бестужев, «почти десять лет мы зарывали наши деньги без всякого вознаграждения» в землю. Они бросили земледелие и перешли к скотоводству. Построив себе в поле хижину, Николай Бестужев вел отшельнический образ жизни и, гоняя стадо овец, не расставался с сочинениями Тацита на латинском языке.

Бестужевы занялись скотоводством, их стадо состояло уже из нескольких сот баранов, но шерсть ценилась в Сибири дешево, и скотоводство они тоже вынуждены были бросить.

«Нужда начала хватать нас за бока», — писал Михаил Бестужев. Необходимо было заняться чем-нибудь таким, что давало бы возможность существовать. Пришлось вернуться к ремесленным навыкам, приобретенным еще на каторге.

М. Бестужев придумал удобную для поездки по горным дорогам двуколку на деревянной рессоре. Их делали, под его руководством, буряты и одновременно обучались столярному, слесарному, кузнечному и другим мастерствам. Под именем «бестужевских сидеек» эти двуколки быстро распространились по всему гористому Забайкалью, и благодаря простоте конструкции и легкости производства их стали изготовлять чуть ли не в каждой деревне.

Декабрист Торсон увлекся в Сибири идеей механизации сельского хозяйства. Он изобрел молотильную машину, машину для резки соломы, которая, по его мнению, «в здешнем крае должна быть основанием хозяйства». Однако в условиях разрозненного сибирского мелкого хозяйства опыт Торсона обречен был на неудачу, и он тяжело переживал это.

Николай Бестужев занялся портретной живописью. Приехав как-то в Кяхту, он нарисовал несколько удачных портретов, и его засыпали заказами. Он прожил там несколько месяцев и заработал приличную сумму. Будучи дилетантом, он рисовал сначала в манере известного французского миниатюриста Изабэ, а затем, ознакомившись с портретами популярного тогда в Петербурге художника П. Ф. Соколова, усвоил его манеру.

По сохранившимся рисункам Н. Бестужева и Ивашева можно составить себе представление и о том, как жили декабристы в Читинском остроге, в Петровской каторжной тюрьме и на поселении. Читинская церковь, где венчалась с Анненковым Полина Гебль, Дамская улица, на которой жили жены декабристов, ворота и частокол Читинского острога, план каземата и виды Петровского завода — все, что ласкало и угнетало взоры декабристов в их тридцатилетней каторге и ссылке, нашло свое отражение в рисунках и акварелях Н. Бестужева, Ивашева и других декабристов. За годы пребывания на каторге и в ссылке Н. Бестужевым создано свыше четырехсот портретов декабристов, их жен и друзей и свыше шестидесяти видов Читы, Петровского завода, Селенгинска и других мест Сибири.

На досуге Николай Бестужев с увлечением занимался любимейшим делом своей жизни — упрощением хронометров. Он

мечтал об этом в пробовом одиночестве Шлиссельбургской крепости, увлекался в Читинском остроге и не переставал работать на поселении.

С помощью перочинного ножа и небольшого подпилка он соорудил в сутолоке читинской тюремной жизни токарный станок и делительную машину для нарезки зубьев и создал новый тип хронометра. Для их проверки по звездам он изготовил и установил во дворе тюрьмы обсерваторию с телескопом.

Как настойчив был Н. Бестужев в осуществлении владевшей им идеи, видно из того, что он в течение двух лет добивался получения из Петербурга необходимого ему толстого латунного листа. Наконец он обратился за этим к директору Пулковской обсерватории, известному астроному В. Я. Струве. Желанный лист латуни прибыл наконец, но уже после смерти Н. Бестужева.

Он оставил восемь пар изготовленных им и разобранных часов. Несмотря на помощь специально приглашенных часовых мастеров, собрать их никому не удалось — это мог бы сделать лишь их творец, а он находился уже в могиле.

Братья Бестужевы занимались и литературой. Александр Бестужев (Марлинский) был известным писателем своего времени, Николай Бестужев также печатался в журналах еще до восстания 14 декабря 1825 года, и своей литературной работы они не оставляли на каторге и в ссылке.

Елена Александровна и сестры много помогали братьям в их разнообразных занятиях и особенно интересовались их литературными трудами.

— Ты бы писал, Николушка, — как-то сказала брату Елена Александровна. — Помнишь, в «Сыне отечества» напечатали твой прекрасный перевод повести о человеке, который, проспав пятьдесят лет непробудным сном в лесу, возвратился в свою деревню? Отчего же тебе не писать?

— Хорошо помню, — ответил брат, — но это было в 1825 году, до восстания, а с тех пор я уже двадцать два года сам сплю непробудным сном в каторжных тюрьмах и сибирских лесах... Теперь рука не поднимается. Ведь знаю, что это ни к чему не поведет, не напечатают... Мы пробовали обращаться по этому поводу к Бенкендорфу, но он ответил, что считает «неудобным позволять государственным преступникам посылать свои сочинения для напечатания в журналах, ибо сие поставит их в сношения, не соответственные их положению». И вот что, — добавил Н. Бестужев, — почитай, что написал в порыве отчаяния поэту В. А. Жуковскому наш товарищ, друг Пушкина, Кюхель-

бекер: «Говорю с поэтом, и, сверх того, полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний. Я чувствую, знаю, я убежден совершенно точно так же, как убежден в своем существовании, что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще поэзии, эту мою гордую выходку, но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок...»

Младший брат, Михаил, в это время уже был женат на сестре есаула Селиванова, девушке-сибирячке с природным умом и практической сметливостью, имел детей и на вопрос сестры, почему он бросил писать, ответил:

— Мне на старости лет не приходится писать пустячки, а от ученых вещей я уже отстал... Нужно думать о том, чтобы как-нибудь прожить и прокормить семью.

Елена Александровна с грустью смотрела на братьев. Она была в одних почти годах с самым старшим из них, Николаем, — им было уже более шестидесяти, — и, когда он находился еще в Петровском заводе, она спросила его однажды в одном из писем: «Почему ты не женат?»

— Мне часто задавали этот вопрос, — ответил он сестре, когда они наконец увиделись, — особенно жены декабристов, когда наблюдали, как я люблю детей, как умею привязать их к себе, как по целым часам резвился с ними и забавлял их, то подымая содом па весь дом, то рисуя им картинки или изготовляя замысловатые игрушки. И я обещал как-нибудь рассказать об этом. Когда они приступили ко мне с решительным требованием выполнить свое давнее обещание, я написал вот эту повесть — «Шлиссельбургская станция». Хочешь прочитать ее?

Сестра кивнула головой и взяла рукопись. Брат занялся своим любимым делом — рисованием акварельных портретов, а сестра углубилась в чтение рукописи. Первое, на что она обратила внимание, был подзаголовок — «Истинное происшествие» — и в скобках: «Посвящено А. Г. Муравьевой».

Повести был предпослан эпиграф:

Одна голова не бедна,
А и бедна, так одна.

(Старинная пословица)

С первых же строк Елене Александровне стало ясно, что повесть брата носит автобиографический характер.

Не желая обнажать перед чужими подробностей своей личной любви, Бестужев придал героине рассказа черты, отражавшие характер любимой им женщины. В свою повесть он вплел мысли из «Сентиментального путешествия» Стерна, которое сестра вложила в его чемодан двадцать лет назад, когда провожала на каторгу. Произведение Стерна насыщено гуманистическими настроениями и протестом против жестокой действительности, и в письмах многих декабристов с каторги часто встречались образы и цитаты из этой книги. Николай Бестужев никогда не расставался с ней.

В своей повести «Шлиссельбургская станция» он писал, что однажды, глубокой осенью, должен был поехать, по просьбе матери, в Новую Ладогу. Сквозь полосы косого дождя на пути скоро показались стены и башни мрачной Шлиссельбургской крепости. Здесь нужно было менять лошадей, но смотритель шлиссельбургской станции заявил, что лошадей нет. Пришлось расположиться на ночлег и ждать утра.

Бестужев сел пить чай и пригласил за свой столик смотрителя и его жену. Разговор зашел о заключенных в крепости.

— Вы выдаете этих арестантов? — спросил их Бестужев.

— Куда тебе! — ответила хозяйка. — Нет, родной, никогда не выдаем. Приедут всегда ночью — и прямо на берег. Придет катер, сядут, поедут, и бедняжки как в воду канут...

— Стало быть, их мучают, их убивают прежде времени?

— Нет, батюшка, мучить их не мучают и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю да и оставят умирать «своею смертью».

Разговор этот происходил осенью 1823 года. Бестужева охватили мрачные предчувствия. Он раскрыл и начал читать Стерна. Ему попались на глаза строки, где автор говорит о Бастилии: «Я представил себе одного заключенного, запер его наперед в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери... Он сидел в углу на небольшом пуке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия и прибавил к прежним, и как я заслонил последний свет, доходивший до него, он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он поворотился, чтобы положить палочку в связку рядом с други-

ми. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу, я залился слезами и не мог выдержать далее зрелища, созданного моим воображением...»

Эти строки очень подействовали на Бестужева. Рассказ хозяйки, нарисованная Стерном картина, задержка из-за отсутствия лошадей, собственные предчувствия... ему стало казаться, что Шлиссельбург уже захватил его и душит, как свою добычу. «Так, — сказал он сам себе шепотом, опасаясь, чтобы его не подслушали. — Я имею полное основание ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За мной есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой пытке. Я всегда думал только о казни, но сегодня впервые появилась мысль о заключении».

Бестужев мысленно представил себя сидящим в тюремной камере, долго ходил по комнате, наконец погасил свечу и лег на единственную кровать в комнате. Среди ночи, между порывами бури, послышался звон колокольчика, у станции остановились лошади, и в комнату вошла молодая женщина. Ее спутница, толстая, довольно неприятного вида женщина, начала прибегать к всякого рода хитростям, чтобы выжить Бестужева из кровати, но тот лежал, полузакрыв глаза, и внутренне смеялся над ее попытками. Молодая женщина, с своей стороны, просила свою спутницу оставить Бестужева в покое.

Она сняла шляпу, густые пряди волос рассыпались по ее плечам. Бестужев потихоньку наблюдал за ней. В висевшем напротив зеркале он увидел черты ее красивого лица и был поражен: это были черты женщины, в какие он всегда облекал свою мечту, тот идеал красоты и прелести, который только что носился перед его глазами. Ей было не больше двадцати двух лет. Она одета была в строгое черное платье, на пальце левой руки было узенькое золотое кольцо.

Бестужев уже начал жалеть, что раньше не встал и не уступил ей места, но было поздно и неловко исправлять свою ошибку. Опустив голову и сложив руки, незнакомка начала тихо ходить по комнате. Потом она подошла к столу, на котором стояла дорожная шкатулка Бестужева, а рядом лежало «Сентиментальное путешествие» Стерна на английском языке, раскрыла книгу на той самой странице, которую он читал незадолго до ее приезда. Она начала читать и поднесла к книге свечу, чтобы разобрать написанное Бестужевым на полях карандашом слово: «ужасно!».

Молодая женщина продолжала читать, не подозревая, что Бестужев наблюдает за ней. По мере того как она углублялась

в чтение, лицо ее омрачалось, ресницы затрепетали и на раскрытую книгу упали две крупные слезы. Она смугилась, быстро вытерла их платком и осушила своим дыханием.

Ей пришлось отложить книгу. На глаза наворачивались новые слезы. Рядом лежал листок с заметками Бестужева, на котором она прочитала: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читал его здесь, в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземельев!»

На улице бушевала буря, дрожали окна, хлопали ставни, дождь стучал по деревянной крыше, ветер дул в щели дома. Незнакомка встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам и стала разглядывать крепостные башни. «Боже мой, какая темнота! — тихо сказала она и довольно громко добавила: — Да, это я слышала»...

Она снова вернулась к книге. Взяла в руки листок с заметками Бестужева и увидела, что на нем, рядом с ними, нарисованы были: узник, цепи, разные головки и карикатуры. Потом глаза ее остановились на строках, написанных рукою Бестужева:

«Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостью, но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места... где бы можно было отнять мою совесть, я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием: горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастьям, я не могу — я не должен искать никакой взаимопомощи в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастья!..»

Прочитав эти строки, знакомка задумалась. Она увидела на столе подорожную и прочитала имя ее владельца: «Николай Александрович Бестужев». Это имя было ей знакомо по статьям в альманахах и журналах. Любопытство ее было возбуждено, между тем Бестужев следил за ней. Его занимала эта немая сцена.

Незнакомка встала, взяла в руки свечу и начала рассматривать картинки на стенах. Каждый раз, когда она приближалась к Бестужеву, она старалась держать свечу так, чтобы свет падал на его лицо и она могла разглядеть его.

Неожиданно она увидена перед собою большие раскрытые глаза Бестужева. Она смутилась, а Бестужев не мог удержаться усмешки, встал и взял из ее рук свечу.

— Какая ужасная погода, сударыня! — сказал он.

— Извините, что я так неучтиво разбудила вас, — ответила незнакомка, не поднимая глаз.

— Но я совсем не спал, сударыня!..

Незнакомка смешалась и покраснела. Она извинилась и сказала:

— Ваши строки отражают ваше душевное богатство, и видно, что вы ни с кем не любите делиться им.

— Не верьте людям, сударыня, — тоже смешавшись, ответил Бестужев, — часто их богатство состоит только в пышных фразах...

Было холодно. Бестужев попросил у хозяйки дома дров, развел в очаге огонь, и молодые люди продолжали беседовать.

— Близость этих башен, — заметила собеседница Бестужева, — пробуждает какую-то тоску. Я проезжала несколько раз мимо Шлиссельбурга, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь... теперь я чувствую это соседство. Ваш листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям...

Так шла их беседа. Начало светать. Вошел слуга и сообщил, что пострадавшая в пути карета исправлена и лошади готовы.

Прощаясь, незнакомка сказала:

— Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя. В дороге знакомство скоро делается — не правда ли, что мы уже знакомы?

— Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, — ответил Бестужев. — Есть люди, которых образ давно знаком нашей душе и воображению.

Она дала ему свой адрес и вышла из комнаты.

«Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! — говорил Бестужев сам себе. — Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением. Того ли ты хотел? Да. Итак, я поеду к ней — буду стараться заслужить взаимность, любовь, и, если она даст мне руку, какое счастье! Как я обрадую матушку».

Бестужеву было тридцать два года. Так он мечтал, забывая все на свете, и уже заранее чувствовал себя счастливым. Но он был членом Тайного общества, и мысль о превратностях судьбы,

ожидающих его в будущем, опрокинула все его воздушные замки. Рассудок говорил против, сердце твердило свое. Наконец рассудок восторжествовал, и он сказал себе: «Я не поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастной».

Это было последнее его решение, и он сдержал его...

Вернувшись в Петербург, Бестужев не раз встречался с путешественницей, случайно оказавшейся на его пути у стен и башен Шлиссельбургской крепости. В первый раз она сделала ему выговор за то, что он не посетил ее, затем он ловил иногда на ее лице вопросительное выражение. Это его мучило, ибо он любил ее.

На шлиссельбургской станции она читала записи Бестужева на листке бумаги, но не знала, что он член Тайного общества, а он не мог объяснить ей загадку своего поведения...

«И я остался одиноким в этом мире!..» — закончил свой рассказ Бестужев...

Елена Александровна дочитала рукопись. Она знала ту, кого любил брат и о ком думал, когда писал «Шлиссельбургскую станцию». Это была Любовь Ивановна Степовая, жившая в Кронштадте и вышедшая замуж за флотского офицера. Героине своей повести он дал то же имя, изменив лишь отчество: Любовь Андреевна...

До нас дошло одно-единственное сохранившееся письмо к ней Н. Бестужева, в котором он писал:

«...я живу, не живя, или — скорее только существую, счастье мое ушло, и мне не остается ничего, кроме воспоминаний... То, что есть у меня сейчас дорогого, — это ваш медальон, который я ношу, лента, которую вы мне дали для часов, и я даже нахожу удовольствие, вдыхая еще оставшийся запах ваших духов, и мне кажется, что вы рядом со мной, потому что это ваш любимый запах...»

Перед самым восстанием 14 декабря Н. Бестужев написал рассказ, посвященный переживаниям человека, любившего в молодости женщину, бывшую чужой женой, и оставшегося в старости без собственной семьи. Рассказ этот, первоначально носивший название «Из записок флотского офицера», был напечатан в 1826 году в «Северных цветах» Дельвига, под довольно странным названием «Трактирная лестница» и за подписью — Алексей Коростылев. Н. Бестужев находился тогда в крепости, и редакция альманаха сочла необходимым тщательно замаскировать имя автора.

До нас дошло еще стихотворение Н. Бестужева, обращенное к «Улетевшему гению» — поэзии, — в котором он писал:

Ты улетел, мой гений благодатный,
Умчав мою надежду за собой;
Мечты, что были столько мне приятны,
Уже не посетят воздушною толпой
Питомца их небесных вдохновений;
Увы! ты рано улетел, мой гений,
Умчав мою надежду за собой.

Все эти элегические настроения брата были хорошо знакомы Елене Александровне. Она подошла к нему, ласково потрепала его поредевшие и поседевшие волосы, поцеловала в лоб и, ничего не сказав, положила на стол рукопись — грустную и трогательную повесть его жизни...

* * *

С приездом сестер в селенгинском домике Бестужевых стало теплее и уютнее. К Торсону приехали мать и сестра, и всех их часто навещали жившие по соседству декабристы.

Приехали Пуццин и Юшневская и передали привет от живших с ними в Ялutorовске товарищей. Их навестили Волконские с детьми, Михаилом и Нелли, Трубецкие с дочерьми Зинаидой и Александрой и сыном Иваном.

Бестужевых очень любили товарищи по восстанию, и они вели обширную переписку. Письма к ним приходили отовсюду, где только жили в Сибири на поселении декабристы.

Жизнь, как всегда, проходила в труде и заботах. Но это мирное счастье длилось недолго: заболел, долго не вставал с постели и скончался Торсон. Его матери в то время было уже восемьдесят восемь лет, и Н. Бестужев стал хлопотать, чтобы закрепленный за ее сыном надел земли был передан матери и сестре. Но трудиться на этой земле им уже не пришлось: скоро скончалась и старушка. Ее похоронили на небольшом, окаймленном горами холме, рядом с сыном.

Н. Бестужев как-то вышел из дому и встретился с городничим.

— Какие это два белых пятна вдали? — спросил его городничий.

— Это могилы Торсона и его матери, — ответил Бестужев и добавил: — А подле них и я скоро улягусь.

Он не ошибся. В письме от 11 марта 1854 года он писал декабристу Д. И. Завалишину: «Я всю эту зиму прохворал; пришла и моя очередь состариться и припадать к постели...»

Это было в годы, предшествовавшие героической обороне Севастополя, и Бестужева радовали успехи наших моряков.

«Меня оживили, — писал он друзьям, — добрые известия о славных делах наших моряков, но горизонт омрачается. Не знаю, удастся ли нам справиться с англичанами и французами вместе, но крепко бы хотелось, чтобы наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех частях света».

В письме к декабристу Батенкову Н. Бестужев писал:

«Англия, которая завладела своей заносчивой политикой целым полусветом, не может равнодушно смотреть на Россию... Не знаю, как выйдет из этой страшной борьбы Россия, но если она взойдет победительно, то всего более желал бы я страшнй затрепщины Альбиону и Австрии...»

Н. Бестужев написал представлявшую большой интерес статью о Крымской войне. Откликнулись на эти события и ялutorовские изгнанники — Пущин, Якушкин, М. Муравьев-Апостол.

В то время Н. Бестужев совершил поездку из Селенгинска. При переезде через Байкал он простудился и тяжело заболел. Семнадцать дней он боролся со смертью, но, по словам брата Михаила, казалось, утомился жизнью и жаждал смерти.

Елена Александровна дни и ночи не отходила от постели брата, а тот в забытии часто твердил: «Севастополь, мой бедный Севастополь...»

До последней минуты он был в полном сознании. Сжимая свою горевшую голову, он говорил:

— Так и не успел я написать своих воспоминаний, и все то, что тут... надо будет похоронить...

Поминутно прерывавшимся голосом он говорил, обращаясь к сестрам и брату Михаилу:

— Благодарю... благодарю от всего сердца... за заботы... за любовь... прощайте, милые сестры... Елена, Маша, Оля... Прощай, добрый друг мой Мишель... — И слабым шепотом спросил, испуская дух: — Что... наш Севастополь?..

Он умер 15 мая 1855 года, за год до амнистии декабристов, шестидесяти четырех лет от роду.

Смерть Н. Бестужева все тяжело переживали, и местное население с грустью провожало его. Особенно любили его буряты, с которыми он на целые недели уходил охотиться в горы.

«Улан-Норок» — «красным солнышком», «истошником» (источником) ума, знаший и добра называли его буряты. «Нони (господин) такой простой и добрый», — говорили они и за мно-

го верст приезжали к нему часто из соседних улусов учиться грамоте и ремеслам...

На невысоком, окаймленном горами холме в Селенгинске выросли два одинаковых стройных обелиска, под которыми покоятся два друга, два декабриста — Н. Бестужев и Торсон. Между ними похоронена была мать Торсона, а впоследствии и жена М. Бестужева.

Повсюду, где жили декабристы, известие о смерти Н. Бестужева также произвело большое впечатление. «Можно ли было,—писал ему незадолго до смерти декабрист Розен, из Кургана, — знать вас так, как я знаю, и не любить, не уважать...»

«У него были, — писал Розен, — золотая голова, золотые руки и золотое сердце».

* * *

После смерти Николая в живых оставался лишь один из пяти братьев Бестужевых, Михаил, и три сестры. Жилось им очень тяжело, и Елена Александровна решила вернуться с сестрами в Москву, заняться изданием сочинений погибшего брата Александра Бестужева (Марлинского) и тем помочь брату Михаилу с семьей.

Но сразу выехать они не могли: ведь разрешение на поездку в Сибирь им было дано при условии, что они вернутся в Россию лишь после смерти братьев. Между тем Михаил был еще жив.

Николай I, к счастью, скончался в это время, декабристы были амнистированы, и три сестры Бестужевы получили наконец в 1856 году разрешение вернуться в Россию. Сестра скончавшегося Торсона выехала сразу, но М. Бестужев, обремененный большой семьей, не решался покинуть Сибирь. Елена Александровна, не желая сразу оставлять брата, выехала с сестрами из Сибири лишь в 1858 году.

Она начала усиленно хлопотать в Москве о пособии оставшемуся в Сибири брату Михаилу и об издании сочинений брата Александра. Ей удавалось посылать брату небольшие суммы и тем поддерживать существование его семьи. Но Михаила Бестужева эта помощь удручала. Находясь в переписке с историком М. И. Семевским, М. Бестужев писал ему:

«Ее заботливая нежность к моему семейству не раз ставила меня в затруднительное положение и заставляла, краснея, принимать пособия от правительства, что возмущало душу. Она очень добра, но она не была ни в кандалах, ни в тюрьме, ни в каторжной работе, чтобы познать подобные чувства. Она

не понимает, что мне гораздо легче умереть с голода, чем просить подающие от палачей, а тем менее вымогать помощь от добрых и благородных друзей».

Поскольку Семевский помогал Елене Александровне в издании сочинений братьев Бестужевых, Михаил просил его позаботиться о том, чтобы братья Бестужевы явились в свет «в своем костюме, а не оборванцами цензуры»...

Попытки Елены Александровны переиздать сочинения брата, Александра Бестужева (Марлинского), не дали, однако, результатов. Вышедшие еще при жизни автора издания пользовались в свое время большим успехом, но с тех пор прошли десятилетия, и интерес к ним ослабел. Между тем Елена Александровна состарилась в прежних своих воззрениях, она все еще продолжала дышать настроениями ушедшей эпохи и не хотела верить, как писал ей брат Михаил, «чтобы Марлинский, которого она не переставала смешивать в своем представлении с любимым братом Александром Бестужевым, мог умереть для читающей публики».

Со времени выхода последнего издания его сочинений, в 1847 году, прошло почти двадцать лет, и Елена Александровна предприняла в 1865 году новое издание на свой риск и страх, причем материально ей помог в этом М. С. Волконский, сын декабриста. Но в свет вышел только один выпуск, содержащий три рассказа А. Бестужева (Марлинского).

По ходатайству друзей Литературный фонд оказал Михаилу Бестужеву помощь. Он был очень тронут этим вниманием и в письме к тогдашнему председателю фонда Е. П. Ковалевскому писал, что, получив присланные ему тысячу рублей, принял их «как лестный знак признания литературных достоинств в двух его покойных братьях образованнейшей частью молодого поколения и вместе с сим как изъявление горячего сочувствия к положению его семейства в Сибири».

Сестры и друзья стали настойчиво просить М. Бестужева оставить наконец Сибирь и вернуться в Россию. Но он не решался на это. Он писал М. И. Семевскому, что уже стал стар, с каждым годом слабеет, вряд ли будет в состоянии работать и не сумеет жить в Москве на свои скудные средства. Он добавлял, что предпочитает подождать, пока подрастут дети...

Но несчастья продолжали преследовать М. Бестужева: неожиданно скончался его восьмилетний сын Николай, которого он горячо любил, в Москве умерла жившая у сестер его тринадцатилетняя дочь Елена, а в Ссленгиске скончалась в 1867 году жена. От туберкулеза умерла и сестра жены.

Оставшись один с двумя маленькими детьми, сыном и дочерью, он решился наконец расстаться с Сибирью и в 1867 году выехал в Москву.

Царское правительство назначило М. Бестужеву пенсию для проживания в столице в размере 114 рублей 28 копеек в год. На эти деньги, конечно, невозможно было существовать с двумя малютками.

Но Бестужевы были горды. Еще Николай Бестужев писал в 1835 году из тюрьмы Петровского завода:

«Положение нашего духа далеко от веселости; но не менее того справедливо, что и всякая печаль чужда нас. Мы думаем, что несчастье должно переносить с достоинством, что всякое выражение скорби — неприлично в нашем положении. Человек, который упал, смешон; еще смешнее, ежели он делает гримасы от ушиба».

М. Бестужев, находясь на поселении в Селенгинске, писал в 1846 году своему другу, А. Н. Баскакову:

«Друг... Наше положение таково, что мы никогда не подадим руки прежде, нежели не увидим, что нам протягивают обе; а сознание правоты своего дела дает нам право иметь столько гордости, чтоб не вымаливать внимания, как милостыни».

Оказавшись в Москве через сорок лет после восстания, без всяких средств к существованию и вволю настрадавшись, больной и уставший М. Бестужев отказался, однако, снова обратиться за помощью в Литературный фонд.

На вопрос Семевского, как ему живется в Москве, М. Бестужев ответил:

«Плохо, да, плохо, в худшем значении этого слова... Тяжелое бремя 40-летнего страдания утомило меня. Настоящее мрачно, а будущее еще мрачнее... Три старшие мои сестры, летами далеко за семьдесят, изможденные и душевными и телесными недугами, до того слабы, что достаточно дуновения ветра, чтобы свалить их в могилу... Старшая из них, Елена Александровна, даже год после моего приезда из Сибири была довольно бодра, но и ее душевные и телесные силы подломились... ее можно теперь скорее назвать тенью человека, нежели живым существом. Не сегодня-завтра мы найдем ее на креслах уснувшей вечным сном, а следом за нею отправятся в вечность и две другие сестры, которые ежели еще движутся, то, единственно, цепляясь за ее жизнь. Если определение неумолимого рока так страшно разразится надо мною, я останусь в безысходной нужде».

Это потрясающее письмо закаленного тяжелыми испытаниями семидесятилетнего декабриста Семевский включил в свое

личное обращение в Литературный фонд, и 10 декабря 1869 года М. Бестужеву назначена была ежегодная пожизненная пенсия в размере трехсот рублей.

Недолго пришлось, однако, Михаилу Бестужеву пользоваться этой помощью: через полтора года, 21 июня 1871 года, он скончался и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Через три года скончалась Елена Александровна. Одновременно заболели и умерли оставшиеся круглыми сиротами малолетние дети М. Бестужева — Александр и Мария. Две последние сестры Бестужевых, Ольга и Мария, скончались в 1889 году.

* * *

Из пяти братьев Бестужевых Михаил умер последним. Еще в Сибири он написал свои «Записки», а вернувшись в Москву, — очерки «Мои тюрьмы».

Морской офицер в прошлом, поэт и мечтатель, на долю которого выпало столько горя и страданий, М. Бестужев имел в виду предпринять поездку на Амур и писал из Сибири своему старому другу, адмиралу М. Ф. Рейнеке:

«Даю себе неперменный зарок — одно: посадить по всему течению Амура на каждом нашем ночлеге по несколько семечек севастопольских акаций, и особенно ниже Сахалан-Ула, то есть там, где Амур, склоняясь к югу, орошает самую благоприятную почву виноградов, дубов и вязов. К ним присоединяю я косточки одной из лучших родов владимирской вишни, и когда со временем эта великолепная амурская аллея разрастется, то грядущее поколение юных моряков, отправляясь Амуром на службу в будущей Севастополь на Тихом океане, будет отдыхать под их сенью, составляя планы будущей жизни, — незабвенная слава трех погибших под Севастополем адмиралов и их учителя (М. П. Лазарева. — А. Г.) навеет на душу их благородную решимость подражания таким высоким образцам, и они поблагодарят старого моряка».

Письмо это написано было М. Бестужевым в годы Севастопольской обороны. Поездка его на Амур состоялась в 1857 году. Но неосуществившиеся мечты декабриста о создании великолепной амурской аллеи говорят о том, что если последняя мысль умиравшего Николая Бестужева неслась к осажденному Севастополю, то брат его, Михаил Бестужев, находясь на последней грани нужды и человеческих страданий, не переставал мечтать о величии своей родины.

Так угасла вся большая, талантливая семья Бестужевых: мать, пять братьев, три сестры и дети...

Глава Восемнадцатая

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Люби меня по-прежнему, как и я тебя. Мы становимся стариками, издержка на это чувствование, стало быть, будет недолгая.

П. А. Бестужев — Г. С. Батенкову

НИКОЛАЮ I до самых последних лет его жизни нельзя было по-прежнему даже напоминать о декабристах. Самые имена их царь хотел вытравить из памяти своих подданных.

Через четырнадцать лет после восстания, в 1839 году, известный издатель того времени А. Ф. Смирдин выпустил иллюстрированное издание «Сто русских литераторов». Среди них был и портрет пользовавшегося тогда большой популярностью писателя-декабриста А. Бестужева (Марлинского). Разрешение на печатание и выпуск альманаха дал сам управляющий делами III отделения А. Н. Мордвинов.

Имена участников восстания на Сенатской площади продолжали жить в сердцах народа. Многие вырезали из альманаха и повесили у себя портрет А. Бестужева (Марлинского).

Великий князь Михаил Павлович поспешил донести об этом своему брату, Николаю I:

— Вот те, кто заслужили виселицу, ныне заслужили чести вывесить свои портреты.

Николай I возмущился.

— Его развесили везде, а он хотел нас перевешать! — кричал он.

А. Н. Мордвинов был уволен от должности, а из альманаха жандармы начали удалять портрет А. Бестужева (Марлинского). По простоте своей, сестра его, Е. А. Бестужева, передала жандармам девятьсот экземпляров портрета, и они потом продали их в Гостином дворе. Семьдесят экземпляров скрыл переплетчик и тоже продал на ярмарке.

В цензурном комитете надолго запомнилась эта история. Через тридцать четыре года после восстания, в 1859 году, когда

Николая I уже не было и декабристы были амнистированы, редактор «Живописной русской библиотеки» К. А. Полевой хотел поместить в своем журнале портрет А. Бестужева (Марлинского) и напечатать его письма.

По этому поводу возникла обширная переписка, и в цензурном комитете вспомнили, что еще в 1839 году Николай I, «усмотрев в издании «Сто русских литераторов» помещенный портрет Бестужева, крайне сему удивился и недоумевал, каким образом сие могло быть допущено».

Разрешение на напечатание портрета не было дано...

* * *

Как-то, через десятилетия после восстания, присутствуя на спектакле итальянской оперы в Петербурге, Николай I увидел в ложе министра двора генерал-фельдмаршала П. М. Волконского юную, красивую девушку. Это была Нелли, родившаяся в Сибири дочь М. Н. Волконской.

— Кто это у тебя в ложе сидит, красавица? — спросил царь своего министра.

— Это моя племянница.

— Как — племянница? У тебя нет племянницы...

— Волконская.

— Какая Волконская?

— Дочь Сергея, брата моей жены.

— Ах, это того, который умер!

— Он, ваше величество, не умер...

— Когда я говорю, что умер, значит, умер! — сухо подчеркнул царь...

Декабрист С. Г. Волконский был еще в то время жив. Жива была и жена его, Мария Николаевна, но большинство декабристов уже действительно умерли.

Они становились стариками и один за другим умирали. Разбросанные по всей Сибири, декабристы не сразу узнавали о гибели того или другого товарища.

В 1848 году Завалишин спрашивает в письме к Пущину, как живут Барятинский и Повало-Швейковский.

Пущин отвечает:

«Меня удивил твой вопрос... И тот и другой давно не существуют. Один кончил жизнь свою в Тобольске, другой — в Кургане».

Охватившее в то время Западную Европу революционное движение несколько подняло настроение декабристов. С боль-

шим интересом следили они за развитием событий. Когда реакция восторжествовала, декабристы прекрасно понимали, какую роль сыграл в этом деле «жандарм Европы» — русский император Николай I. Им было ясно, что никакой милости от царя оставшимся в живых декабристам уже ждать нечего, и они безнадежно смотрели на свое будущее.

И чем дальше, тем безнадежнее становились их настроения.

«Пишу из могилы», — писал Батенков Пущину, и старый товарищ в своем ответном письме всячески старался ободрить своего просидевшего двадцать лет в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости друга. В письме от 14 января 1854 года из Ялуторовска Пущин поздравляет Батенкова с Новым, двадцать девятым годом их пребывания в Сибири. Он пишет: «Пора обнять вас, дорогой Гаврило Степанович, в первый раз в нынешнем году, и пожелать вместо всех обыкновенных при этом случае желаний продолжения старого терпения и бодрости: этот запас не лишний для нас, зауральских обитателей без права гражданства в Сибири...»

Декабрист Штейнгель оставил в России крошечного сына, когда начал свой тридцатилетний путь каторги и ссылки, и 18 июня 1854 года пишет Пущину из Тобольска в Ялуторовск:

«Вот и последнему моему исполнилось сегодня 29 лет! Пасмурность и дождь, не лучше и на сердце. Побеседую с Вами, мой родной, благородный друг...»

* * *

«Только семейные радости, — писала родным в Россию жена декабриста А. И. Давыдова, — разгоняли эту беспросветную скорбь... Иногда, хоть и редко, на короткое время забываем, где мы теперь...» И потому легко представить себе, как обрадовал Давыдовых неожиданный приезд к ним из Каменки двух дочерей и сына. Они оставили их после восстания 14 декабря маленькими детьми, а к ним в Сибирь приехали уже взрослые молодые люди. Их сын Петр женился впоследствии на родившейся в Сибири дочери Трубецких, Елизавете.

Познакомился наконец с приехавшими к нему двумя сыновьями и декабрист Якушкин. После смерти жены, не получившей разрешения следовать за мужем в Сибирь, их воспитывала мать жены, Н. Н. Шереметева. Это была умная и образованная женщина, тетка поэта Ф. И. Тютчева, большой друг Н. В. Гоголя, пользовавшаяся уважением среди своих друзей и знакомых.

Старшему сыну Якушкина, Вячеславу, было уже двадцать семь лет, когда он приехал к отцу в Ялуторовск, младшему, Евгению, шел двадцать пятый год.

Якушкин с гордостью показывал сыновьям организованную им в Ялуторовске, в память своей умершей жены, их матери, женскую школу...

Анненковых обрадовал приезд дочери. Уезжая после восстания в Сибирь, Полина Гебль оставила дочь у матери Анненкова. Сейчас дочь Анненковых приехала к родителям со своими двумя малолетними детьми. Ночью она отыскивала в Тобольске их дом. Услышав шум, ее мать, не ожидавшая еще приезда дочери, выбежала на улицу. Она увидела шедшую ей навстречу молодую женщину и в недоумении остановилась, не зная, назвать ли дочерью ту, которая уже обняла ее, целовала.

В 1851 году Волконских посетила сестра декабриста, вдова министра императорского двора и фельдмаршала, Софья Григорьевна Волконская.

Ее встретили торжественно. Сергей Григорьевич Волконский выехал вперед и ожидал сестру в семи верстах от Иркутска, в старом Иннокентьевском монастыре. Ему было в то время шестьдесят шесть лет, сестре — шестьдесят восемь.

С. Г. Волконскую сопровождала из Петербурга племянница, дочь Волконских, Нелли, и с нею же приехала компаньонка, Аделаида Тэт, горбатая, с двумя торчащими вперед зубами, но необычайно веселая и остроумная женщина. Несколько месяцев С. Г. Волконская прожила в Иркутске, в семье брата. Вместе с ними она посетила семью Бестужевых в Селенгинске и заехала в Ялуторовск, где жили декабристы.

Любопытно, что даже приезд в Сибирь к брату такой знатной особы, как С. Г. Волконская, сопровождался подпиской о том, что она ни с кем не будет переписываться из Сибири, а при возвращении в Петербург ни от кого не примет писем и «вообще будет поступать с тою осторожностью, которую требует положение ее брата в Сибири».

Приезды эти являлись праздниками для всех декабристов и отвлекали их от тягостной и безнадежной действительности.

* * *

Большую радость доставляла декабристам и их женам на поселении музыка.

В Сибирь в то время уже начали приезжать на гастроли артисты из России. В Иркутске гастролеровала тогда скрипачка

Отава, давали концерты: певица Ришье, виолончелистка Христиани и пианист Малер. Ришье провела в Урике вечер в доме Волконских. Собравшиеся декабристы с наслаждением слушали ее...

После одного такого концерта этой приезжей артистки, на котором присутствовала М. Н. Волконская с детьми, генерал-губернатор Руперт отдал распоряжение «запретить женам и детям государственных преступников посещать общественные места увеселений», так как это не соответствует их положению, и тем более неуместно «свободное посещение ими, под каким-либо предлогом, казенных заведений, для воспитания юношества предназначенных».

Это было уже на двадцать третьем году пребывания Волконских в Сибири. Мария Николаевна написала об этом своей сестре, Екатерине Орловой. Через короткое время генерал-губернатор Руперт вынужден был по приказу из Петербурга отменить свое распоряжение.

Приезжавшие в Сибирь артисты давали концерты в Тобольске, Омске, Ялуторовске, и всюду декабристы являлись на их концертах почетными гостями.

* * *

Декабрист М. С. Лунин как-то посетил в Урике Волконских. Было поздно. Мария Николаевна, убаюкивая маленькую Нелли, напевала старинный романс.

«Я слышал, — писал после этого вечера Лунин сестре, — последнюю строфу из гостиной и был опечален тем, что опоздал... Материнское чувство угадывает. Она взяла свечу и знаком показала, чтобы я последовал в детскую... Мать, счастливая отдыхом дочери, казалась у постели ее одним из тех духовных существ, что бодрствуют над судьбой детей... Музыка была мне знакома, но в ней была для меня прелесть новизны, благодаря контральтовому голосу, а может быть, благодаря той, которая пела... Ария Россини произвела на меня впечатление, которого я не ожидал...»

Проживая на поселении, многие декабристы обзавелись инструментами. В 1852 году, не надеясь на скорое освобождение, Пущин просит своего лицейского товарища и друга Ф. Ф. Матюшкина купить для него фортепьяно и выслать зимними обозами в Тюмень, на его имя. «Я думаю, все это обойдется не более трехсот целковых...» — добавляет Пущин.

Через несколько месяцев, в феврале 1853 года, фортепьяно было получено, и Пущин направил по этому поводу Матюшкину восторженное письмо:

«...Ура лицеем старого чекана!» Это был вечером тост при громком туше. Вся древность наша искренне разделила со мной благодарное чувство мое; оно сливалось необыкновенно приятно со звуками вашего фортепьяно. Осушили бокалы за вас, добрые друзья, и за нашего старого директора (Энгельгардта. — А. Г.).

Теперь Аннушка уроки берет дома — и субботы мои оживились для молодежи... Старый лицей над фортепьянами красуется, а твой портрет с Энгельгардтом и Вальховским — на другой стенке, близ письменного моего стола. Ноты твои Аннушка скоро будет разыгрывать, а тетрадка из лицейского архива переписана. Подлинник нашей древности возвращаю. От души тебе спасибо за все, добрый друг!..»

Аннушка была родившаяся в Сибири дочь Пуцила, которую он очень любил и которая за год до амнистии выехала с младшим братом в Россию...

Увлекаясь музыкой, декабристы приобщали к ней и местное население.

Музыка хоть на короткое время отвлекала декабристов и их жен от тяжких мыслей, тревог и забот. Между тем жить становилось все труднее и труднее. Близкие и родные постепенно уходили из жизни, их оставалось все меньше, и помощь из Петербурга стала поступать реже.

Приходилось изыскивать средства для существования. Многие декабристы пробовали заниматься хлебопашеством, но, глядя на сельскохозяйственные занятия С. Г. Волконского, Ф. Ф. Вадковский писал И. И. Пущину:

«Он посвящает хлебопашеству то время, которое оставляет ему воспитание детей, то есть сеет деньги, жнет долги, молотит время и мелет пустяки, когда уверяет, что это дело выгодно...»

Другие декабристы, как, например, Н. Ф. Лисовский и И. Б. Аврамов, промышляли по Енисею рыбой, П. А. Муханов и Ф. Ф. Вадковский вели торговлю хлебом, И. И. Горбачевский пробовал заниматься мыловарением, а приехавший в Сибирь племянник И. И. Пуцила пытался привлечь дядю заняться добычей золота, чем тогда занимались многие сибирские промышленники.

Занятия торговлей могли наложить на декабристов определенный отпечаток, и Якушкин счел необходимым написать по этому поводу Пущину:

«От нас всегда зависит много уменьшить наши издержки... Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно

менее хлопотать о самих себе. Оно, конечно, не так легко, но зато и положение наше не совсем обыкновенное. Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем? И что же после этого нам остается?..»

Высказанные Якушкиным в письме к Пущину взгляды были присущи почти всем декабристам. Чем бы они, нуждаясь, ни занимались, они жизнь свою всегда рассматривали в свете идей 14 декабря. Любой человек может совершить любой поступок, но их действия не могут рассматриваться сами по себе. Положение их было «не совсем обыкновенное», и они полагали, что все их дела должны рассматриваться в свете дней, озаривших их молодые годы. Они были «лучшие люди»...

* * *

За несколько лет до амнистии, в 1850 году, декабристы тепло и радушно встретили прибывших в Сибирь осужденных петрашевцев.

Декабристы знали о процессе кружка петрашевцев. Кружок этот существовал с 1845 по 1849 год и отражал глубокие социально-политические и идейные искания демократически настроенного дворянства и разночинной интеллигенции, находившихся под влиянием освободительных идей декабристов, А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Петрашевцы боролись за установление в России республиканского строя, за уничтожение крепостничества и революционное переустройство общества.

Среди петрашевцев оказался провокатор, Антонелли, и в ночь на 23 апреля 1849 года они были по его доносу арестованы и заключены в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. К следствию привлечено было больше ста человек, суду предано двадцать три. Из них двадцать одного человека приговорили к расстрелу. На Семеновском плацу в Петербурге их одели в белые саваны, завязали глаза и поставили под расстрел. В последнюю минуту им объявили о замене смертного приговора вечной каторгой и арестантскими ротами.

Отбывать наказание петрашевцев отправили в Сибирь. По дороге они остановились на несколько дней в Тобольске.

Петрашевцы находились в очень печальном состоянии. Лишенные какой бы то ни было материальной помощи, голодные и холодные, они сидели в общеуголовной тюрьме.

Узнав об их приезде, жены декабристов сразу пришли им на помощь, и первой откликнулась Н. Д. Фонвизина. В особенно тяжелом состоянии она нашла Петрашевского — большого, истощенного, в кандалах.

Узнав, что фамилия жены декабриста, посетившей его в тюрьме, Фонвизина, Петрашевский рассказал ей, что к их кружку был близок некий Дмитрий Фонвизин, двадцатипятилетний юноша... Он был болен туберкулезом, находился при смерти и потому избежал ареста и тюрьмы...

Фонвизиной стало ясно, что Петрашевский рассказывал ей об участии ее сына, которого она, уезжая за мужем в Сибирь, оставила в России ребенком. Она вышла от Петрашевского потрясенная и взволнованная, хотя давно уже знала, что оба ее оставшиеся в России сына умерли...

Среди петрашевцев находился и осужденный на каторгу Ф. М. Достоевский. Ему было тогда двадцать восемь лет, он был уже довольно известным писателем, автором «Бедных людей», «Неточки Незвановой», «Белых ночей».

Жены декабристов, Фонвизина и Анненкова, подарили Достоевскому Евангелие с заклеенными в переплете деньгами. По этому поводу он писал позже:

«Эту книгу с заклеенными в ней деньгами подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном привыкли видеть брата».

Евангелие это было единственной книгой, которую в те времена разрешали иметь в тюрьме заключенным. Оно находится сейчас в музее Ф. М. Достоевского в Москве.

Когда наступил день отправки петрашевцев, Фонвизина поехала проводить их. Свидание должно было состояться в семи верстах от Тобольска, по омской дороге. Стоял страшный холод — было больше 30 градусов, — ветер в открытом поле дул нестерпимо. Фонвизина и бывшая с нею спутница промерзли, а отправка петрашевцев почему-то задерживалась. Оставив кучера на дороге, они ушли вперед.

Наконец послышался звон бубенцов, подъехали и остановились, как условлено было, две тройки. Достоевский и его товарищ, петрашевец Дуров, выпрыгнули из повозок. Они были в арестантских полшубках и меховых малахаях. На ногах — кандалы.

Фонвизина простилась с ними и дала письмо к своему доброму знакомому, инспектору Омского кадетского корпуса И. В. Ждан-Пушкину, которого просила помочь петрашевцам.

— Не теряйте бодрости духа, о вас будут там заботиться добрые люди! — крикнула петрашевцам Фонвизина, когда ямщик ударил по лошадям и тройки помчались «в непроглядную даль их горькой участи». От Тобольска до Омска было шестьсот верст...

Полученное Достоевским от Фонвизиной письмо дало некоторые результаты. В Омске проживал некий священник Сулоцкий, живший до того в Тобольске и Ялуторовске. Он находился в дружеских отношениях со многими декабристами, и через него их жены держали связь с Достоевским.

Сулоцкий сообщал, что Достоевский находился в тюремном госпитале, что главный лекарь Троицкий предлагал ему лучшую пищу, а иногда и вино, но Достоевский от всего отказывался и только просил, чтобы его почаще принимали в госпиталь и содержали в сухой комнате.

Позже Сулоцкий писал, что он добился разрешения посылать Достоевскому книги и журналы — правда, лишь религиозно-духовного содержания, — и добавил, что Достоевский просил прислать ему «Историю» и «Иудейские древности» Иосифа Флавия. Ни в одной библиотеке Омска книг этих, однако, не оказалось.

Так прошло четыре года омской каторги, по окончании которых Достоевский и Дуров были освобождены из тюрьмы, определены рядовыми и лишь в 1856 году получили разрешение вернуться в Россию.

Выйдя из тюрьмы, Достоевский сообщил Фонвизиной свой новый адрес: «Семипалатинск, Сибирский линейный № 7 батальон, рядовому Федору Михайловичу Достоевскому».

Находясь на каторге, и после, уже живя в Петербурге, Достоевский благодарно вспоминал теплое, внимательное и заботливое отношение жен декабристов к нему и ко всем петрашевцам. 22 февраля 1854 года он писал своему брату, М. М. Достоевскому:

«Ссылные старого времени, — т. е. не они, а жены их, — заботились об нас, как об родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самопожертвованием. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас...»

Сообщая Фонвизиной свой новый семипалатинский адрес, Достоевский добавил, что лучше все же писать ему по адресу его живущего в Петербурге брата, М. М. Достоевского: так, кружным путем, письма вернее и безопаснее дойдут до него в Семипалатинск.

Уже вернувшись из Сибири домой и живя в своем имении Марьино, под Москвой, Фонвизина вела деятельную переписку с своими оставшимися в Сибири друзьями. Переписывалась она и с Достоевским. Она рассказывала писателю, как неприветливо встретила ее Москва после 25-летней каторги в Сибири. Достоевский, сам испытавший прелести каторги, писал ей, 20 февраля 1854 года, из Омска:

«С каким удовольствием я читаю письма ваши, драгоценнейшая Н. Д. Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма ваши идут прямо из вашего доброго, человеколюбивого сердца, легко и без натяжки...

Я слышал, вы куда-то хотите ехать на юг? Дай вам бог выпросить позволение. Но когда же, скажите, пожалуйста, когда же мы будем свободны, или по крайней мере, так, как другие люди? Уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Что касается до меня, то я желаю лучше всего или уж ничего. В солдатской шинели я такой же пленник, как и прежде...»

Все пережитое Достоевским на каторге нашло свое отражение в его «Записках из Мертвого дома», написанных в начале шестидесятых годов, по возвращении писателя из ссылки в Петербург.

Книга эта, как писал Герцен, «явилась страшным повествованием, относительно которого автор, вероятно, и сам не подозревал, что, очерчивая своей закованной в кандалы рукой фигуры своих сотоварищей-каторжников, он создавал из правод одной сибирской тюрьмы фрески à la Буонаротти».

Царская цензура, однако, нашла, что Достоевский не показал в своей книге ужасов каторги и у читателя могло создаться превратное впечатление о каторге, как о слабом наказании для преступника. Это заставило Достоевского дополнить вторую главу книги небольшим отрывком, в котором он писал, что, несмотря ни на какие облегчения участи каторжных со стороны правительства, каторга не перестанет быть нравственной мукой, невольной и неизбежно карающей преступника. Достоевский так и начинал свой отрывок: «Одним словом, полная, страшная, настоящая мука царила в остроге безысходно», и писал, что самая страшная мука заключается в лишении человека свободы и гражданских прав.

«Записки из Мертвого дома» принесли Достоевскому всемирную известность. Они показали, как страшна была царская каторга, к которой Николай I приговорил декабристов навечно.

Вступив на престол, новый царь, Александр II, опубликовал приказ по войскам, в котором приводил последние слова умиравшего Николая I: «Благодарю славную верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году, равно храбрые и верные армию и флот».

После такого приказа по войскам нового царя декабристы ни на что уже не надеялись.

«...Ныне пришла почта российская, — писал Волконский сыну Михаилу, — и мои кости останутся в Сибири. О себе не горюю — накликал на себя этот удел; и все-таки совесть чиста и готов предстать пред суд божий без упрека в тщеславии или эгоистически в чем; родина и убеждения были причиной моего немалого самопожертвования. Манифест ясен, и о нас ни полслова, как Войнаровского наша память похоронена будет в Сибири; о себе не сетую: чем более испытал, тем в самом себе я становлюсь выше, но о матери твоей, о тебе, мой друг, и твоей будущности, о разлуке с дочерью... сильно и сильно горюю...»

Волконский просит сына получить для него разрешение выехать вместе с матерью из Сибири и заканчивает письмо словами: «Исполнение двух моих умолений снимет тяжкий камень с моего сердца, и тогда я спокойнее сойду в могилу»...

Проходили месяц за месяцем и ничего нового декабристам не приносили. Из Петербурга шли вести неутешительные.

В одном из писем к друзьям Пущин писал в апреле 1856 года из Ялуторовска:

«Бесцветное какое-то начало нового царствования. Все подличают публично и подчас целуют руку у царя. Все дико и ничего не обещает хорошего. Адресов и приказов нет возможности читать. Отличились четыре генерал-адъютанта, а Ростовцев (который сообщил в декабре 1825 года Николаю I о существовании заговора), тот просто истощается в низости; нет силы видеть такое проявление верноподданничества. Не знаю, были ли такие сцены при Николае... Знаю только, что Александр I не позволял так кувыркаться. По-моему, это упадок, и до сих пор не вижу ничего, кроме упадка. Между тем, время такое, что можно бы на что-нибудь получше обратить умы...»

Взоры всей России были в то время обращены к героическому Севастополю, и декабристы жадно ловили все приходившие оттуда известия.

«Разумеется, — писал Пущин Якушкину, — очень естественно человеку, рожденному в свет, умереть, как царю, так и под-

данному, но умереть в такую минуту тому, который затеял всю кутерьму, это не совсем обыкновенно. Одним словом, этим многое может разрешиться. Новому правителю легче действовать и поправлять ошибки не свои...»

И добавлял в конце письма:

«Я ничего не загадываю, но и не удивлюсь, если скажут: отправляйтесь куда знаете. 30 лет без нескольких месяцев — такая хронология не часто бывает...»

В бумагах Пущина сохранилось письмо к нему, без подписи и даты, от какого-то родственника из Петербурга, который писал о настроении тогдашних прогрессивных кругов России:

«Грустно подумать, что время уничтожает следы всего былого, что никто не вспомнил об изгнанниках, озаривших самое начало царствования его таким ярким блеском!..»

Но все же внимание нового царя обратили на необходимость «кончить всю эту сумятицу и вывести с честью Россию из этого посконного ряда без отрешьев». Городничие тех мест, где жили на поселении декабристы, неожиданно получили приказ собрать и сообщить губернаторам показания декабристов о том, где живут их близкие и родные и из кого они состоят.

«30 лет пишу через III отделение, — иронически заметил по этому поводу Пущин в письме к Фонвизиной. — Прошу взглянуть на адреса, и все сведения получите. По-моему, если хотят вернуть допотопных, стоит только сказать: поезжайте, куда желаете, и скажите нам, куда едете... Все-таки видно, что чего-то хотят, хоть хотят не очень нетерпеливо...»

Но здоровье было уже не то, силы не те, и не было веры в завтрашний день. Еще в 1845 году, в большом письме на имя бывшего директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта, Пущин писал:

«Если б мне сказали в 1826 году, что я доживу до сегодняшнего дня и пройду через все тревоги этого промежутка времени, то я бы никогда не поверил и не думал бы найти в себе возможность все это преодолеть. Между тем и это все прошло, и, кажется, есть еще запас на то, что предстоит впереди...»

Под этим письмом Пущина могли бы подписаться все оставшиеся в живых декабристы...

Когда было наконец получено сообщение об амнистии и предстояло возвращение в Россию, Пущин писал Нарышкиным:

«Так долго мы зажились в благодатной Сибири... Я помню этот путь, когда фельдъегерь вез меня в Сибирь. Теперь вряд ли мне его одолеть...»

Освобождение декабристов последовало осенью 1856 года. В Москве находился в то время в служебной командировке родившийся и выросший в Сибири сын Волконских, Михаил Сергеевич.

Вечером на Спиридоновку, где он жил, неожиданно прибыл курьер из Кремля и предложил молодому Волконскому немедленно явиться к шефу жандармов князю Долгорукому.

Волконскому вручили манифест о помиловании декабристов и предложили срочно выехать с ним в Сибирь.

Волконский выехал в ту же ночь. В пятнадцать дней он домычался на перекладных до Иркутска.

Какими-то неведомыми путями в Сибирь уже дошли вести о предстоящем освобождении декабристов. На почтовых станциях большого сибирского тракта, в деревнях, в степи толпы народа и ссыльных встречали молодого Волконского. Он останавливал лошадей и, стоя в экипаже, читал манифест об амнистии.

Родители его уже жили в то время в Иркутске. Ночью в их дом постучали.

— Кто там?

— Это я, Миша. Я привез прощение...

В ту ночь никто уже не спал...

Царская «милость», к сожалению, пришла поздно. Большинство декабристов, пройдя через каторжные тюрьмы и ссылки, не выдержали и погибли. Из ста двадцати одного осужденного в живых остались пятьдесят пять человек. Из них тридцать четыре находились в Сибири, остальные — на жительстве под надзором полиции во внутренних губерниях России.

Мрачными вехами проходили в памяти немногих оставшихся в живых декабристов прожитые ими в Сибири годы. Лишь дети напоминали им о том, как много лет они провели там. Незадолго до амнистии декабристы провожали уезжавшую из Ялutorовска в Петербург дочь Анненковых, Оленьку, вышедшую замуж за инженерного офицера К. Н. Иванова.

— Мудрено вообразить, — говорили декабристы, — что Оленька, которую грудным ребенком везли из Читы в Петровский, теперь взрослая женщина, очень милая и добрая...

Началось наконец возвращение в родные места.

Из одиннадцати жен декабристов вернулись из Сибири и вместе с мужьями доживали на родине свои последние годы

лишь Волконская, Нарышкина, Анненкова, Фонвизина и Розен. Потеряв в Сибири мужей, вернулись на родину умирать Давыдова, Ентальцева, Юшневская. Муравьева, Трубецкая и Ивашева погибли.

Не все декабристы покинули Сибирь после амнистии. М. Кюхельбекер остался в Баргузине, где в 1859 году и скончался. Не хотел возвращаться Д. Завалишин, но вынужден был выехать в 1863 году. Николай I осудил его на двадцатилетнюю каторгу и выслал из России в Читу, а сын Николая I, Александр II, выслал Завалишина из Читы в Россию: местные власти находили вредным его пребывание в Забайкалье — он часто слишком критиковал их действия.

Все покидавшие Сибирь декабристы, по существу, ехали в Россию умирать. «Часть из них очень стары, почти все белы и хворы, у всех большой запас аптекарской кухни», — писал Муханов еще в 1841 году, а с тех пор ведь прошло до амнистии еще пятнадцать лет...

Навсегда остался в Петровском заводе, близ пепелища сгоревшей каторжной тюрьмы, один И. И. Горбачевский и в селе Смоленском, под Иркутском, — В. А. Бечаснов. В Олонках оставался «первый декабрист» В. Ф. Раевский.

* * *

Сибирское население с грустью провожало декабристов. Память о них надолго сохранилась всюду, где они жили на поселении.

Несмотря на тяжелые условия существования, часто очень недоброжелательное к ним отношение со стороны местной злой и трусливой администрации, декабристы «столько сделали для Сибири, сколько сама она не сделала бы и в сто лет».

«Настоящее житейское поприще наше, — писал декабрист Лунин, — началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили».

Особо надо упомянуть о ялutorовском кружке Якушкина, в котором участвовали Ентальцев, М. Муравьев-Апостол, Оболенский, Пущин и Тизенгаузен. Они много сделали для просвещения местного населения. И благодарную память о себе оставили декабристы среди якутского и бурятского населения Сибири.

Поведение декабристов, основанное на простых, но строгих нравственных правилах, на ясном понимании справедливого,

честного и гуманного отношения к людям, не могло не оказывать благотворного влияния на местное общество.

В Сибири никогда не было крепостного права, и потому сибирский крестьянин резко отличался по своему самостоятельному характеру от российского крестьянина. Для него декабрист не был «барин» в том смысле, в каком это понятие определялось в то время для крестьян в России.

Декабристы являлись живыми образцами и носителями подлинной культуры, и это поднимало их в глазах тех, кто с ними общался.

Все чувствовали себя с ними легко и просто.

Пример декабристов, не пренебрегавших никаким трудом, действовал на окружающую облагоураживающе. Они подавали населению примеры рациональной хозяйственной практической деятельности, были лучшими наблюдателями и знатоками края, не тяготились никакими занятиями, обучали взрослых и детей чиновников и крестьян математике, физике, химии, механике, иностранным языкам.

Они поддерживали нуждавшихся добрым советом, оказывали материальную помощь, защищали от злоупотреблений местных властей. Самые матери и закоренелые чиновники боялись декабристов.

Братья Бестужевы были ревностными пропагандистами ремесленного образования. Они приезжали в бурятские улусы и обучали кочевников ремеслам. Буряты часто приезжали к ним в Селенгинск, чтобы познакомиться с тем или иным ремеслом и приобрести определенные трудовые навыки.

Как братья к братьям, относились декабристы к местному населению.

Сибири декабристы предвещали великое будущее. «Сама природа, — писал А. Бестужев (Марлинский), — указала Сибири средство существования и ключи промышленные. Схорони в горах ее множество металлов и цветных камней, дав ей обилие вод и лесов, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов».

«Расставаясь с страной изгнания, — писал декабрист Розен, — с грустью вспоминал любимых товарищей-союзников и, благословляя их, благословлял страну, обещающую со временем быть не пугалищем, не местом и средством наказания, но местом благоденствия в высшем значении слова. Провидение, быть может, назначило многих из моих соизгнанников... быть основателями и устроителями лучшей будущности Сибири, которая, кроме золота и холодного металла и камня, кроме

богатства вещественного, представит со временем драгоценнейшие сокровища для благоустроенной гражданственности».

О том же писал и Басаргин и, подчеркивая роль декабристов в поднятии общей культуры Сибири, добавлял: «Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило».

* * *

Многие места, связанные с именами декабристов, в Сибири бережно охраняются. В декабре 1950 года, в сто двадцать пятую годовщину со дня восстания 14 декабря, на домах, где жили декабристы, были установлены мемориальные доски. Охраняются разбросанные по Сибири памятники над могилами декабристов. В музеях и архивах Сибири хранятся рукописи и вещи, принадлежавшие декабристам или сделанные их руками, а также портреты и картины, рисованные Н. Бестужевым.

На деревянном двухэтажном доме в Волконском переулке в городе Иркутске висит мемориальная доска: «В этом доме жил декабрист Сергей Григорьевич Волконский». Имеется мемориальная доска и на доме С. П. Трубецкого.

В доме, где жил в Олонках «первый декабрист» В. Ф. Раевский, сейчас районная библиотека.

Дом в Селенгинске, в котором жили с сестрами Михаил и Николай Бестужевы, не сохранился. В доме их друзей, Старцевых, предполагается создать музей в память декабристов.

В доме, где жили в Туринске Ивашевы, на улице Декабристов, сегодня помещается библиотека имени И. И. Пущина.

В парке культуры и отдыха Кяхты намечено установить бюст Н. А. Бестужева, выполненный по проекту скульптора А. И. Тимина.

В кяхтинском краеведческом музее хранится несколько небольших картин Н. Бестужева.

В Чите сохранились дома М. Н. Волконской и Е. И. Трубецкой и старая церковь, куда водили в кандалах декабристов и где Полина Гебль венчалась с И. А. Анненковым. На Дамской улице, где жили жены декабристов, сохранился домик Е. П. Нарышкиной с мемориальной доской на фасаде. Входя в этот домик-музей и вспоминая высокий подвиг жен декабристов, посетители обнажают головы. В музее хранятся книги и многие личные вещи декабристов — часы, шкатулка М. Н. Волконской и столик, изготовленные руками Николая Бестужева. На площади Декабристов сооружен памятник героям 1825 года.

Портреты декабристов украшают сегодня вокзальный перрон Петровского завода, где декабристы отбывали каторгу, а в городе все места, связанные с памятью о них, находятся под охраной отдела культуры Совета Министров Бурятской Автономной Республики. Здесь сохранились дома Е. И. Трубецкой и И. И. Горбачевского, один из них отведен под библиотеку. На месте сгоревшей тюрьмы Петровского завода выстроена школа. Школьники часто украшают цветами могилы А. Г. Муравьевой и И. И. Горбачевского.

В Петровском заводе имеется «гора Лунина», названная так в память декабриста, а могила его в Акатуе, где он скончался, была в 1897 году восстановлена М. С. Волконским, сыном декабриста.

Сто лет назад, когда амнистированные декабристы покинули Ялуторовск, жители города писали И. И. Пущину: «У нас стало грустно в городе, ибо декабристы были цветы, украшавшие Ялуторовск...». Именами Пущина, Оболенского, Якушкина и других декабристов называли сегодня ялуторовцы улицы своего города. В доме, где жил Муравьев-Апостол, — музей декабристов, а в доме, где помещалась организованная Якушкиным школа, сейчас детский сад. Одна из комнат этого дома — кабинет И. Д. Якушкина, восстановленный в том виде, в каком он был при жизни декабриста.

И сегодня, через сто сорок лет после восстания 14 декабря, все приезжающие в Читу, Петровский завод и другие места поселений декабристов, прежде всего знакомятся со всем, что связано с их именами.

Много мест, связанных с восстанием и именами декабристов, сохранилось в Ленинграде и Москве. Сенатская площадь, на которой произошло в Петербурге восстание, переименована сейчас в площадь Декабристов.

И тридцать три могилы декабристов на московских кладбищах говорят о том, что уцелевшие после тридцатилетней каторги и ссылки декабристы именно в Москву приехали сложить свои кости, несмотря на то, что ни в Москве, ни в Петербурге им не разрешено было жить после амнистии.

На кладбище Ново-Девичьего монастыря покоятся: М. И. Муравьев-Апостол, А. Н. Муравьев, М. Ф. Орлов, С. П. Трубецкой; на Ваганьковском — А. П. Беляев, М. А. Бестужев, П. С. Бобринцев-Пушкин, К. П. Оболенский; на кладбище Донского монастыря — В. Т. Зубков, М. М. Нарышкин, П. Н. Свистунов; на Пятницком — И. Д. Якушкин, Н. В. Басаргин; остальные на разных кладбищах Москвы.

глава Девятнадцатая

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Мы, по крайней мере многие из нас, увидели цель жизни народов, цель существования государств, и никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять.

Н. И. Тургенев

Я СНЫМ зимним утром 1861 года А. И. Герцен гулял со своей двоюродной сестрой Т. П. Пассек по Пале-Роялю, в Париже. Они увидели медленно идущего впереди старика, просто, но хорошо одетого. Его благородная наружность и что-то печально-задумчивое в лице остановили на нем внимание Т. П. Пассек.

— Знаешь ли ты, кто это? — спросил Герцен.

— Не знаю. Скажи, Саша, кто?

— Один из участников четырнадцатого декабря, князь Сергей Григорьевич Волконский, возвращенный из ссылки.

«В памяти моей, — вспоминала Пассек, — осветился трогательный ряд женщин-аристократок — они бросают родных, роскошь, блеск общественного положения и идут за мужьями в глубину Сибири; представился прустно-поэтический вечер, который княгиня М. Н. Волконская, отъезжая в ссылку к мужу, проводит у своей невестки, — умной, талантливой писательницы, княгини З. А. Волконской, — окруженная самыми замечательными личностями литературного мира того времени.

Печально я смотрела на шедшего впереди нас слабыми ногами старца.

— Хочешь познакомиться с князем? — спросил Саша.

— Конечно, хочу! — ответила я.

Мы ускорили шаги и нагнали князя. Он быстро обернулся к нам. Узнавши Александра, с которым был знаком, приветливо улыбнулся и подал ему руку. Саша, почтительно кланяясь, сказал:

— Здравствуйте, князь. Как ваше здоровье? Прогуливайтесь, и прекрасно — утро великолепное...

Затем он представил нас друг другу, и мы все вместе отправились дальше. Разговаривая, князь Сергей Григорьевич несколько раз жаловался на свои ноги. Обойдя часть Пале-Рояля, мы зашли отдохнуть на квартиру к Александру. Знакомство с князем Волконским продолжалось, и он нередко посещал нас в Париже...»

Об одном из таких посещений рассказывает в своих «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунов:

«Раз я прихожу к А. И. Герцену и застаю такую картину. В мягком большом кресле сидит величавый старик (таких стариков я еще не видывал) с длинными, по плечи, и белыми, как снег, волосами; в лице и во всей фигуре почтенного старика, откинувшегося на спинку кресла, было что-то патриаршее, спокойное; в прямом, ясном взгляде чувствовалась душевная красота и та уверенность в себе, которая дается хорошо прожитой жизнью и спокойной совестью.

Перед стариком стоял Герцен, относившийся к нему с такой сыновней, предупредительной почитательностью и берегущей любовью, которую если нужно уметь вызвать, то еще больше нужно уметь носить в себе.

Этот патриарх-старик был декабрист князь Волконский... Он был лишен возможности жить в Петербурге, но ему не было запрещено жить за границей, и он уехал в Париж...»

* * *

М. Н. Волконская, вернувшись в Москву из Сибири, болела и вскоре получила разрешение выехать для лечения за границу. Ее сопровождала дочь Елена Сергеевна.

Через год, по их ходатайству, разрешен был выезд за границу и С. Г. Волконскому. Но он был уже очень болен. Ему разрешили пробыть за границей не более трех месяцев. В связи с болезнью жены и своей собственной он несколько раз обращался к царю с просьбой об отсрочке... В Париже за ним был установлен тайный надзор...

М. Н. Волконская очень изменилась. Все пережитое в ссылке наложило на весь ее облик строгую печать времени. Но лицо ее было одухотворено особой внутренней красотой.

Романтическая и героическая в красоте своего подвига, она смотрела сейчас на жизнь своими большими глазами из глубины перенесенных страданий...

Уезжая из России, она даже не была уверена, что вернется, и взяла с собою в мешочке горсть родной земли, которую просила положить в ее гроб, если умрет вдали от родины...

Вот они идут все трое по улице Мира в Париже — А. И. Герцен, М. Н. Волконская и С. Г. Волконский. И здесь же был вынужден жить Н. И. Тургенев. По-разному сложилась их жизнь, и разная у них судьба: Герцен — вечный изгнанник, Волконские — только что отбыли тридцатилетнюю каторгу и ссылку в сибирь, Н. И. Тургенев, заочно приговоренный по делу декабристов к смертной казни, лишен был возможности вернуться на родину.

Один из активнейших членов Тайного общества, Николай Тургенев пользовался среди товарищей по восстанию большим авторитетом и являлся кандидатом в члены временного правительства после свержения самодержавия. С ним и его братом Александром был очень дружен Пушкин и, находясь в их доме, написал оду «Вольность».

В дни декабрьских событий 1825 года Н. Тургенев находился в Англии и по призыву царского правительства в Россию не вернулся, а Англия отказалась выдать его.

В Петербурге между тем распространился слух, будто Тургенева везут морем в Россию.

И. А. Вяземский написал в те дни стихотворение «Море», в котором называл его «очаровательницей мира, красой творчества». Пушкин ответил ему на это:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славил лирой золотой
Нептуна грозного трезубец?
Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

Лишь через тридцать один год после восстания, после амнистии, 11 мая 1857 года, Тургенев приехал на короткое время в Россию вместе с родившимися за границей сыном и дочерью, но скоро снова уехал в Париж. Он скончался 10 ноября 1871 года и похоронен на кладбище Пер-Лашез, неподалеку от могилы французских коммунаров.

* * *

Жалели ли все они о перенесенных страданиях и построили бы свою жизнь иначе, если бы им предложили начать ее сызнова?

«Нет!» — ответил на этот вопрос Волконский. И так ответили бы все вернувшиеся из Сибири декабристы и их жены.

Волконский находился в Париже 19 февраля 1861 года, в день падения крепостничества. Стоя в церкви, он плакал и говорил, что это были самые счастливые минуты его жизни: сегодня уже и в России можно было открыто говорить об ужасах крепостного права, о том, за что декабристы столько выстрадали и, по существу, отдали свою жизнь.

Париж, Ницца, Рим, Женева, Виши, Флоренция... Легко представить себе это сказочное путешествие Волконских после тридцатилетней каторги и ссылки. Здесь они присутствовали на двух свадьбах: их овдовевшая дочь вторично выходила замуж и женился сын Михаил.

* * *

Русское передовое общество оказало возвратившимся из Сибири декабристам и их женам сердечную встречу. Даже люди консервативно настроенные считали необходимым выразить им свое уважение. Декабристов всюду охотно принимали.

Через полвека после их возвращения, работая над романом «Декабристы» и вспоминая свою встречу с Волконским в 1861 году во Флоренции, Л. Н. Толстой писал известному пианисту А. Б. Гольденвейзеру:

«Его наружность с длинными седыми волосами была совсем как у ветхозаветного пророка. Как жаль, что я тогда так мало с ним говорил, как бы мне он теперь был нужен! Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы...»

Царское правительство продолжало, однако, относиться к декабристам по-прежнему подозрительно и недоверчиво.

В Москве и Петербурге им не разрешено было жить, но все они стремились быть ближе к Москве. Волконские числились живущими в деревне Зыковой, под Москвой, а фактически жили у дочери в Москве. Пущин, женившись на овдовевшей Фонвизиной, поселился в Марьине, близ Бронниц. М. Муравьев-Апостол жил в Твери, Батенков и Оболенский — в Калуге, Анненков — в Нижнем Новгороде, Нарышкины — под Тулой.

Правительственные агенты не спускали глаз с декабристов. В этом смысле любопытен обращенный к московскому генерал-губернатору Закревскому запрос шефа жандармов Долгорукова:

«До сведения государя императора дошло, что... Муравьев-Апостол, Оболенский и Батенков проживают в Москве без разрешения и позволяют себе входить в самые неприличные разговоры о царствующем порядке вещей. Скромнее всех, по слухам, ведет себя Муравьев. Что же касается до Трубецкого и Волконского, то они будто бы бывают во всех обществах с длинными седыми бородами и в пальто...»

Производивший секретное расследование по этому запросу генерал донес:

«Чтобы лица сии позволяли себе входить в самые неприличные разговоры о существующем порядке вещей — я подтвердить не могу. Несмотря на столь продолжительное отчуждение от общества, при вступлении в него вновь, они не выказывают никаких странностей, ни уничижения, ни застенчивости, свободно вступают в разговор, рассуждают об общих интересах, которые, как видно, никогда не были им чужды, невзирая на их положение; словом сказать, 30-летнее их отсутствие ничем не выказывается, не паложило на них никакого особенного отпечатка, так что многие этому удивляются и, предполагая их встретить совсем другими людьми, частью убитыми, утратившими энергию, частью одичавшими, могут находить, что они лишнее себе позволяют».

Закревский сообщал, со своей стороны, шефу жандармов, что он действительно разрешил приехать в Москву, на три дня каждому, Муравьеву-Апостолу, Оболенскому и Батенкову и что Трубецкой и Волконский «действительно носят бороды».

Николая I уже не было в живых, но его сын, Александр II, которого дворянство окрестило «царем-освободителем», продолжал относиться к декабристам мелочно-придирчиво. Волконский обратился однажды с просьбой разрешить ему съездить в Петербург навестить свою большую сестру. На это ему ответили, что государь император «соизволил» отказать в этой просьбе: коль скоро сестра Волконского могла совершить в 1854 году поездку из Петербурга в Иркутск для свидания с братом, то теперь, когда брат уже возвратился из Сибири, она тем более может сама съездить к нему в деревню Зыково под Москвой.

«Дивлюсь, как не надоест им с нами возиться, полагаю, что это делается от безделья», — писал по этому поводу Якушкин Пушкину.

Такое отношение правительства к декабристам вынуждало их быть осторожными. Получив приглашение на обед в годовщину основания Московского университета, 12 января 1862 го-

да, Оболенский уклонился от этого обеда «по случаю различных манифестаций, имеющих неприятные последствия, которых он был свидетелем в прошлом году, по случаю подобного праздника».

Уцелевшие после всего пережитого декабристы тем более старались не терять связи друг с другом.

«Когда смерть разредила наши ряды, чувствуешь потребность сомкнуть их», — писал М. Муравьев-Апостол Пущину из Твери.

«Хотелось бы почаще с тобой переписываться... Приятно было бы сохранить ту же свежесть чувств, которая так долго у нас хранилась и, верю, сохранится до конца», — писал Пущину Оболенский.

В Твери, у М. Муравьева-Апостола, состоялось два «съезда» вернувшихся из Сибири декабристов. Они радостно приветствовали друг друга, но, говорили они, «трудно было заменить наш ялуторовский кружок, который всегда останется в сердечной памяти».

О каторге декабристы вспоминали с горечью и грустью и все же радовались, вспоминая, как дружно они все жили там. На память приходили разные смешные эпизоды, вплетавшиеся в их тогдашнюю жизнь, и эти отзвуки прошлого еще больше сближали их.

Декабристы рады были своим встречам.

«Нарышкиных буду рад видеть, — писал Пущин Трубецкому из Марьино в 1857 году, — с 1833 года не виделись, это гомерические сроки! Кроме нашей хронологии, редко где они встречаются...»

* * *

Пущин, «Маремьяна-старица», оказавшись под Москвой, не переставал заботиться о нуждающихся товарищах. В Москву он перенес из Сибири малую артельную кассу декабристов.

«Горе тому и той, кто живет без заботы сердечной, — это просто прозябание», — писал Пущин Фонвизиной еще из Ялуторовска, и, когда ему предложили еще в Чите принять участие в постройке и украшении церкви, он ответил, что лучше вместо этого помочь какому-нибудь нуждающемуся бедняку.

Вернувшись из Сибири, Пущин страдал одышкой, был «переломан совершенно» («куда девалась прежняя удал?!»). И все же он продолжал вести обширную переписку с товарищами и в нужную минуту всегда приходил им на помощь.

В марте 1858 года Пущин разыскал дочь К. Ф. Рылеева,

Настасью Кондратьевну. Она жила с мужем и детьми близ Тулы, неподалеку от Нарышкиных, и они помогли разыскать ее.

С 1825 года Пущин остался должен К. Ф. Рылееву 430 рублей и был рад, что получил наконец возможность вернуть этот свой старый долг его дочери.

Он видел ее в последний раз пятилетней девочкой, 13 декабря 1825 года, накануне восстания, в квартире ее отца, и она была очень тронута его письмом.

«С глубоким чувством читала я письмо ваше, — написала она Пущину, — не скрою от вас, даже плакала; я была сильно тронута благородством души вашей и теми чувствами, которые вы сохранили к покойному отцу моему... Как отрадно мне будет видеть вас лично и услышать от вас об отце моем, которого я почти не знаю. Мы встретим вас, как самого близкого, родного. Благодарю вас за присланные мне деньги — 430 рублей серебром. Скажу вам, что я совершенно не знала об этом долге...»

Так оставшиеся после 1825 года в живых декабристы не только держали постоянную связь друг с другом, но и воссоставляли старые, утерянные связи далеких прошлых лет...

* * *

Жизнь оставшихся декабристов и их жен уже близилась к концу. И по-разному сложилась она после Сибири.

Немногие, вернувшись из Сибири, застали через тридцать лет живыми своих близких и родных, и не все даже могли узнать друг друга. Член Союза Благоденствия полковник А. Ф. Бриген, крестник Г. Р. Державина, герой Бородина и Кульма, был приговорен к двум годам каторги. Жена его, Софья Михайловна, не получила разрешения последовать за мужем. Она ждала его через два года, но он после каторги пробыл в Сибири еще двадцать девять лет в ссылке и вернулся домой лишь в 1857 году, после амнистии. Он никого не узнал.

— Господа, позвольте узнать, кто из вас моя жена. Я Бриген! — весело воскликнул он, оглядев собравшихся.

Он обнял жену, которая в течение десятилетий лишена была возможности быть его спутницей, и шутя сказал, что их брак уже недействителен и они должны «перевенчаться»...

* * *

Вернувшись из-за границы и проживая в деревне, Волконский все же наезжал в Москву и иногда в Петербург. Ему пришлось побывать в Галерее 1812 года, в Эрмитаже, где —

Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.

Среди окружавших фельдмаршала М. И. Кутузова «начальников народных наших сил» должен был находиться портрет и его, героя 1812 года, генерала С. Г. Волконского, написанный известным художником Джорджем Доу. Но портрета не было. На стене висела зиявшая пустотой большая золотая рама: портрет декабриста Волконского был, по приказанию Николая I, изъят после восстания 1825 года.

В Петербурге рассказывали в начале нашего века, что, проходя как-то по Галерее 1812 года, последний царь, Николай II, увидев на стене пустую раму, спросил директора Эрмитажа Всеволожского, что это за пустая рама.

Тот объяснил, что в ней находился раньше портрет декабриста князя С. Г. Волконского.

— Не повесить ли снова? — спросил Всеволожский...

Лишь в 1903 году, через семьдесят восемь лет после восстания 14 декабря 1825 года и через тридцать восемь лет после смерти С. Г. Волконского, его сохранившийся в кладовой портрет был водворен в Галерею 1812 года на прежнее место...

* * *

Вынужденный жить на полужульганском положении, Волконский решился наконец обратиться к Александру II с двумя ходатайствами: освободить его от дальнейшего полицейского надзора и вернуть ему два знака отличия, которыми он особенно дорожил: георгиевский крест за Прейсиш-Эйлауское сражение 1807 года и военную медаль в память 1812 года.

Оба эти ходатайства были удовлетворены. Но Волконскому было уже семьдесят пять лет, и недолго пришлось ему носить кровью заслуженные знаки отличия 1812 года.

Лето 1863 года Волконский проводил близ Ревеля, в семье сына. В это время в имени Волконского, Вороньках, Черниговской губернии, в семье дочери тяжело заболела и умирала жена его, Мария Николаевна. Не будучи в состоянии из-за болезни выехать к ней, Волконский писал детям: «... как жена, как мать — это неземное существо, или, лучше сказать, она уже праведная в сем мире. Смысл ее жизни в самопожертвовании

для нас... Понимаю, как тяжело вам, а мне, вдалеке от мученицы жены моей, вдалеке от вас всех, — просто невыносимо! А двинуться в путь не могу, болезнь моя не опасная, но страдательная, едва брожу».

10 августа 1863 года Волконская скончалась. Ей было пятьдесят восемь лет. Волконский тяжело пережил смерть жены. Подагра и паралич конечностей лишили его возможности свободно ходить, а через год он мог передвигаться лишь в коляске.

Дочь Волконских вынуждена была выехать в это время в Италию, где находился ее тяжело больной туберкулезом муж, Кочубей. С нею вместе выехал близкий друг Волконских, декабрист А. В. Поджио, дочь которого заканчивала во Флоренции, под руководством знаменитого пианиста Ганса фон Бюлова, свое музыкальное образование.

Спассти Кочубея не удалось. Поджио помог дочери Волконских перевезти тело мужа в Россию и снова вернулся к оставшейся за границей дочери.

Несмотря на преклонный возраст, Поджио и в старости сохранил весь жар своей южной итальянской природы и убеждения своих молодых лет. В Лозанне и Женеве он встречался с А. И. Герценом и М. А. Бакуниним.

В письме к детям от 1 января 1865 года Герцен так передавал свои впечатления о нем:

«...Утром взошел ко мне очень старый господин, седой и прекрасный, это — Поджио, который был из главных деятелей 14 декабря: точно такой же сохранившийся старец, как Волконский. Он был сослан на 25 лет каторги и теперь исполнен энергии и веры. Я был счастлив его посещением».

В письме к Н. П. Огареву Герцен писал:

«Часов в 11... явился старец с необыкновенным величаво-энергическим видом. Мне сердце сказало, что это — кто-то из декабристов. Я посмотрел на него и, схватив за руки, сказал: «Я видел ваш портрет». — «Я Поджио». Этот сохранился еще энергичнее Волконского... Господи, что за краж людей! Иду сейчас к нему!...»

Находясь вдали от России, Поджио тепло вспоминал Сибирь, где так много перенес, и писал своему сибирскому другу, доктору Н. А. Белоголовому:

«Где моя молодость? Будь она в руках моих, я, клянусь вам, был бы прежде в Сибири, а не в Швейцарии».

Весною 1865 года в Вороньки, к дочери, переехал и отец, Волконский. Он был уже очень тяжело болен и осенью, 28 нояб-

ря, скончался. Лежа в постели, он попросил дочь почитать ему. Слушал ее, закрыв глаза, и под это чтение уснул навсегда. Ему было семьдесят семь лет.

Поджио узнал о смерти Волконского, находясь в Италии. В это время дочь его вышла во Флоренции замуж за русского, и они все вместе вернулись в Россию. Замужество дочери сняло с души Поджио груз тяжелых и мучительных дум о будущем семьи.

«Теперь, — говорил он, уезжая из Италии, — мое самое большое желание — сложить свои кости в России».

Он и приехал умирать в Россию. С большими мучениями, больной, полуживой, Поджио добрался до Вороньков и там через несколько дней после возвращения, 6 июня 1873 года, скончался на руках дочери Волконских, Елены Сергеевны. Похоронили его в вороньковском саду, близ часовни, в которой покоились Волконские. Таково было его желание.

Елена Сергеевна, вторично овдовев, вышла в третий раз замуж, за А. А. Рахманова. Общая любимица декабристов — Нелли, как звали ее все, — она была женщиной редкой красоты, живой и обаятельной. Мужчины, женщины, старушки, дети — все обожали ее. Уже в глубокой старости, парализованная, она продолжала оставаться любимицей всех окружавших ее. Скончалась она в 1916 году. Ей шел восемьдесят первый год...

* * *

Почти одновременно выехали в начале 1857 года из Сибири овдовевшие в ссылке жены декабристов А. В. Ентальцева и М. К. Юшневская.

Юшневская направилась к приглашавшей ее Давыдовой, в Каменку, а Ентальцева поселилась в Москве. Дней десять она прожила в семье Волконских, а затем наняла себе неподалеку от них, на Арбате, небольшую квартирку. Она оказалась здесь в кругу своих ялуторовских друзей, посещала родившуюся в Сибири Нонушку Муравьеву, вышедшую замуж за Бибикова, бывала у Якушкиных и Басаргиных, постоянно переписывалась с Пуциным, Оболенским, Батенковым, Розеном.

После всего пережитого на каторге и в ссылке Ентальцева душевно отдыхала в этом тесном кругу своих ялуторовских друзей. В день тридцать второй годовщины восстания Ентальцева писала Пуцину в Марьино:

«14-е число не прошло для меня без глубоких, сердечных воспоминаний, все прошедшее оживилось в душе, все до послед-

ней подробности. Не буду говорить, какие чувствования возбуждало всякое воспоминание, не все поддается словам».

Она как-то сидела у себя дома, писала письмо и неожиданно оказалась в объятиях дочери Волконской.

«Я как-то не умею разлюбить, кого люблю... — писала она после этого Пушкину. — Хотела продолжать говорить с вами, взяла перо, вдруг кто-то сзади схватил меня за руку — это была наша милая Неллинька, — зачала меня кутать, почти насильно посадила в карету и увезла к себе. Я там почевала...»

14 апреля 1858 года Ентальцева проводила за границу Волконских.

«Я провожала их до дилижанса, — писала она. — Увидимся ли еще в здешней жизни? Грустно, добрый друг Иван Иванович! Неллинька очень, очень вам кланяется... Как прощание ее со мною было трогательно, его я не могу забыть. Слышу слова ее, вижу выражение милого лица. Только зачем она благодарила меня за дружбу мою к ней, разве дружба с разлукой прекращается?...»

После отъезда за границу Волконских Ентальцева чувствовала себя в Москве одинокой. Она продолжала переписываться с друзьями, жаловалась на состояние здоровья. Оболенский предлагал ей переехать в Калугу, хотя хорошо знал, как материально не обеспечена Ентальцева, да и сам он, проживая у своей овдовевшей сестры, пуждался.

Но жизнь Ентальцевой уже подходила к концу. Она никуда не поехала. Последней из жен декабристов она вернулась из Сибири на родину и, прожив после этого в Москве всего два года, скончалась 30 июля 1859 года.

* * *

Бывший полковник декабрист М. М. Нарышкин, дослужившись на Кавказе до чина прапорщика, получил в 1844 году разрешение оставить службу и поселился с женой в небольшом поместье в селе Высоком, в семи верстах от Тулы. Нарышкина часто гостила у своей матери, графини А. И. Коновницыной, в Кярове, близ Гдова, и у тетки, М. И. Лорер, в Гаряе, Псковской губернии.

Вернувшись из Сибири, декабристы часто посещали Нарышкиных. Их посетил, возвращаясь с Кавказа, Розен с женой, навестил незадолго до смерти живший под Москвой Якушкин, приезжали Оболенский и Свистунов. Особенно дружеские отношения связывали Нарышкиных с Фонвизиной.

Собираясь за границу, Нарышкины пригласили ехать с ними вернувшегося из ссылки Пущина, но он уже был тяжело болен и не мог ехать. Навестивший их Оболенский писал Пущину:

«Елизавету Петровну нашел не таковую, какую ее оставил; но черты лица не так изменились, чтобы нельзя было ее узнать. Мы сошлись как близкие родные, и прощание с ними на долгую разлуку меня расшевелило. Бог знает, кто из нас найдется в дефиците при возвращении их из дальнего края... Мой приезд расшевелил ее, и ее внешняя апатия исчезла. Она двигалась, болтала и была нежна. Об нем и говорить нечего, это... чистая душа...

Обнимем друг друга — семейно крепко, дружно, и порадуемся, что мы можем любить друг друга, что есть еще и друзья, подобные Мишелю и Елизавете (Нарышкиным. — А. Г.), что есть Бобрищев-Пушкин; жаль, очень жаль, что Якушкина нет, долго его не будет доставать в нашем кружке...»

До последних своих дней Нарышкина не переставала заботиться о вернувшихся из Сибири и нуждавшихся декабристах.

Муж ее скончался в Москве 2 января 1863 года. Узнав, что в Туле живет и очень нуждается декабрист И. В. Киреев, она послала ему оставшиеся после мужа вещи.

Киреев написал ей:

«Очень благодарю вас за вещи покойного, всеми уважаемого Михаила Михайловича. Вы извиняетесь в том, что при посылке вещей покойного действуете со мною просто, бесцеремонно. Но такой образ действий, вместо чувства оскорбления с моей стороны, еще более обязывает меня благодарить вас.

Вот уже 35 лет, словом, со дня приезда в Читу, как я по временам должен был пользоваться пособием моих добрых, достаточных товарищей, и это продолжается до сих пор...»

Сама Е. П. Нарышкина ненадолго пережила своего мужа. Она скончалась 11 декабря 1867 года в имении своей тетки, М. И. Лорер.

* * *

Всего несколько месяцев прожил вернувшийся из Сибири И. Д. Якушкин. Известие о его смерти декабристы восприняли особенно остро.

Человек исключительной моральной чистоты и возвышенных взглядов, Якушкин пользовался среди всех знавших его большим уважением. В бытность студентом Московского университета он сблизился с П. Я. Чаадаевым, который называл его

братом и с которым он жил в одной палатке во время Отечественной войны 1812—1813 годов.

Его близким товарищем по университету был А. С. Грибоедов, и с него автор «Горя от ума» писал образ Чацкого. В 1820 году Грибоедов познакомил его с А. С. Пушкиным.

Печальным было возвращение Якушкина в Москву. Жену свою, Анастасию Васильевну, Якушкин уже не застал. Мог ли он думать, расставаясь с нею в холодную ноябрьскую ночь 1827 года на костромском этапе, что это было их последнее свидание, их последнее прощание, что они никогда больше не увидят друг друга!

Из-за болезни сердца Якушкин не мог сразу выехать из Сибири, а когда приехал в начале 1857 года в Москву, чувствуя себя «совершенно в очарованном мире», вынужден был сидеть дома: врачи пришли к выводу, что Якушкин очень болен и нуждается в серьезном лечении, и в этом смысле московский генерал-губернатор Закревский представил высшему начальству доклад.

Больной Якушкин мечтал уже спокойно отдохнуть после всего пережитого, но чиновники извлекли из архива какой-то старый царский указ, по которому некоторым преступникам (в том числе обыгрывавшим столичных богачей шулерам) запрещалось жить в Москве и Московской губернии. Этот указ был почему-то применен и к амнистированным декабристам. Якушкина выслали из Москвы, и ему ничего больше не оставалось, как выехать «за границу Московской губернии и поселиться в какой-нибудь деревушке».

Его приютил у себя в деревне Новинки, Тверской губернии, семеновец-однокашник И. Н. Толстой. Сюда часто приезжали и другие декабристы, и об их дружеских встречах тепло вспоминал друг А. С. Пушкина, член Союза Благоденствия, поэт, полковник Ф. Н. Глинка:

Вспоминаем мы хоть про Новинки,
Где весело гостили Глинка,
Где благородный Муравьев
За нить страдальческих годов
Забыл пустынную неволю
И тихо сердцем отдыхал;
Где у семьи благословенной,
Для дружбы и родства бесценной,
Умом и доблестью сиял
И к новой жизни расцветал

Якушкин наш в объятьях сына,
Когда прошла тоски година
И луч надежды обещал
Достойным им — иную долю.

Якушкину уже недолго пришлось «к новой жизни расцветать». Вернувшись из Сибири, он прожил всего несколько месяцев, и 11 августа 1857 года, шестидесяти четырех лет от роду, скончался.

Его похоронили в Москве, на Пятницком кладбище, недалеко от могилы Т. Н. Грановского. По его желанию на могиле не было поставлено никакого памятника, она только обнесена была решеткой, и по его же завещанию у могилы посадили два молодых вяза и клен.

На похороны Якушкина собралось много друзей и знакомых, и это встревожило шефа жандармов. Следивший за Якушкиным тайный агент доносил ему:

«В Москве умер возвращенный из Сибири Якушкин. Его гроб провожали Батенков, Матвей Муравьев и многие свежие его московские друзья; видно, число новых завербованных было уже довольно значительно, потому что для них было заказано 50 фотографий покойного. Кажется, полиция понятия не имеет об этой новой закваске. Увидим через пять лет, что из нее выйдет».

Уже никого почти не осталось из участников восстания 14 декабря, но III отделение продолжало опасаться декабристов. И о похоронах Якушкина шеф жандармов считал даже необходимым донести императору Александру II...

Вскоре рядом с Якушкиным лег на Пятницком кладбище и Басаргин. У него была грудная жаба, он с трудом поднимался по лестнице, и жена его, сестра знаменитого химика Д. И. Менделеева, Ольга Ивановна, на которой он женился в Сибири, обратилась к московскому генерал-губернатору Закревскому с просьбой разрешить Басаргину остаться в Москве на две-три недели, для лечения болезни. Тот разрешил Басаргину прожить в Москве не более четырех дней.

— Странно, что все они нездоровы, — сказал Закревский жене Басаргина.

— Ничего странного в этом нет, — ответила она. — Не мудрено, что после тридцатилетней сибирской каторги и ссылки люди возвращаются больные... Да и много ли их возвращается?..

22 ноября 1860 года, семидесяти лет от роду, скончался

С. П. Трубецкой. Из Сибири он вернулся после смерти жены больным. Прожив некоторое время у дочери в Киеве, затем в Одессе, он поселился в Москве с сыном в небольшой квартирке на бывшей Б. Никитской (ныне ул. Герцена), 5, жаловался на сердце и дряхлел. 22 ноября 1860 года его нашли мертвым в кресле, с книгой в руках. У гроба его собрались товарищи по восстанию и несколько сот студентов, которые от Никитских ворот до Ново-Девичьего кладбища несли его гроб на руках. Жандармы расценили эти похороны как противоправительственную политическую демонстрацию.

* * *

Н. Д. Фонвизина получила разрешение вернуться в Россию в феврале 1853 года. Она выехала вместе с двумя своими приемными девочками и близкой сибирской подругой, М. Д. Францевой.

Была весна, природа оживала, и в родных костромских лесах Фонвизина невольно окунулась в романтические воспоминания своей ушедшей молодости. Вспоминая свои девичьи годы, она писала остававшемуся еще в Сибири И. И. Пушину:

«Ваш приятель Александр Сергеевич, как поэт, когда-то прекрасно и верно схватил мой характер, пылкий, мечтательный и сосредоточенный в себе, и чудесно описал его проявление при вступлении в жизнь сознательную...»

И по внешнему облику, и по внутреннему содержанию своей первой, экзальтированной, религиозной, мистически настроенной натуры Фонвизина вовсе не походила на Татьяну из «Евгения Онегина», но в ее юности был эпизод, несколько напоминавший судьбу Татьяны. Ее родственник, Молчанов, пришел к ней однажды с словами:

— Наташа, знаешь, ведь ты попала в печать! Подлец Сонцев передал Пушкину твою историю, и он своим талантом опоэтизировал тебя в «Евгении Онегине».

Наташа Апухтина вышла вскоре замуж за генерала М. А. Фонвизина, но печальную историю ее первой любви знали многие. О ней могли рассказать и Пушкину. Но Фонвизина, романтически настроенная, легко убедила себя, что именно с нее писал Пушкин свою Татьяну, и даже в письмах иногда шутя называла себя Таней.

«В костромских лесах воспитывалась ее поэтическая натура. — читаем мы в воспоминаниях ее близкого друга М. Д. Францевой. — Она любила лес, цветы, природу».

«Мои цветочки прежние!.. Как легко было мне любить их! — писала она, вернувшись в Москву, — и с ними! И горе, и заботы, и душевные волнения исчезали при виде их и топили в благоухании. А теперь... И цветы мои все разнесло и поломало внутренним ураганом, все повергающим, все исторгающим до корней в моей духовной области».

Так изломанная жизнью, уставшая женщина сливает в один образ яркие цветы и разбитые романтические грезы своей юности...

Возвращаясь из Сибири, Фонвизина остановилась на Урале, у каменного столба на границе Азии и Европы, и записала в своем дневнике:

«Как я кланялась России когда-то, въезжая в Сибирь, на этом месте, — так поклонилась я теперь Сибири в благодарность за ее хлеб-соль и гостеприимство. Поклонилась и родине, которая с неохотой, как будто мачеха, а не родная мать, встретила меня неприветливо... Сердце невольно сжалось каким-то мрачным предчувствием, и тут опять явилась прежняя тревога и потом страх...»

Три тарантаса медленно тянулись по необозримым российским просторам: Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород... Волга!..

Не так давно здесь проехал, возвращаясь на родину, ее муж, Фонвизин. Ореолом мученичества были окружены декабристы, и всюду его встречали радушно и приветливо. Так же тепло отнеслись все и к Фонвизиной, когда она вслед за мужем проезжала через те же места.

25 мая 1853 года, в яркий весенний день, Фонвизина миновала Тверскую заставу. Тверская, Страстная площадь и наконец дом на Малой Дмитровке, из которого Фонвизина уехала двадцать пять лет назад в Сибирь.

Она на крыльях неслась в Москву, а когда приехала к себе, все показалось ей каким-то сновидением; не было ни весело, ни грустно, а как-то равнодушно. От прежнего обаяния родины не осталось ничего... Казалось, она с большей радостью вернулась бы в Тобольск.

Фонвизина пришла к тетке, но вместо радостной встречи на нее пахло холодом, от всего веяло чем-то чужим, давно отжившим. Ее окружали какие-то выцветшие гоголевские типы. Дохнуло нестерпимым раболепством крепостных, от которого декабристы давно отвыкли в своей пезатейливой сибирской жизни.

Было еще раннее утро. Не успела она осмотреться, как от

московского генерал-губернатора Закревского явился жандарм, в полной форме, и несколько чиновников, которые буквально выгоняли ее из Москвы: они боялись торжественной встречи и большого съезда друзей и знакомых, как это было недавно, когда с каторги и ссылки вернулся ее муж.

Даже не отдохнув с дороги, Фонвизина вынуждена была с тяжелым и горьким осадком в душе сразу же покинуть Москву.

Она поселилась в Марьине, близ Бронниц, где жил ее муж, в имении умершего брата. Здесь ей снова напомнили, что она — жена бывшего ссыльнокаторжного: муж ее, вернувшись в Москву после отбытия каторги и ссылки, оставался лишенным прав, и его незадолго перед тем умерший брат завещал поэтому все свои имения «генерал-майорше Н. Д. Фонвизиной».

Чиновники начали чинить ей препятствия. Возник вопрос, имеет ли право жена декабриста наследовать имущество и может ли она вообще именоваться «генерал-майоршей».

После длительной переписки III отделение сообщило наконец, что ограничения в отношении жен декабристов имели силу лишь в Сибири и не распространялись на них в России. Жены декабристов имеют право именоваться своим прежним званием. Они лишены только права жить в Москве и Петербурге.

Недолго, однако, пришлось Фонвизиным наслаждаться мирной жизнью. Ее мужу было уже шестьдесят шесть лет, все пережитое на каторге и в ссылке подорвало его здоровье. Он умирал.

— Какой завтра день? Почтовый? — спросил он. — Вы будете писать в Тобольск?.. Выслушайте мою последнюю просьбу: напишите и передайте всем моим друзьям и товарищам, назвав каждого по имени, последний мой привет. Ивану Дмитриевичу Якушкину скажите, что я сдержал данное ему мною слово — до смерти не расставаться с подаренным им мне вязаным одеялом, которым я сейчас покрыт. А вы сами видите, как я сейчас близок к ней...

30 апреля 1854 года М. А. Фонвизин скончался. Меньше гола прожил он на родине, вернувшись с каторги и ссылки...

Жизнь Фонвизиной после смерти мужа налаживалась медленно. Начались недоразумения с родными, которые бесперомно злоупотребляли ее дружбой и доверием. Она сразу почувствовала, как все они внутренне далеки от нее.

Все ее помыслы неслись в далекую Сибирь, где в опромной и дружной семье декабристов у нее осталось так много близких и верных друзей. Из разных городов Сибири, где Фонвизины оставили по себе прекрасную память, Наталья Дмитриевна получала душевные, трогательные письма. Очень часто писал

Пуцин, которого с ней и ее покойным мужем связывали особо дружеские отношения.

Пуцин любил иногда шутить и острить над собою и говорил друзьям:

— Еще в старые годы почтенный мой лицейский директор Энгельгардт говаривал мне: пожалуйста, не думай, а то непременно скажешь вздор... Этот человек знал меня, я следую его совету и точно убеждаюсь иногда, что, не думавши, как-то лучше у меня выходит.

А выходило это так потому, что Пуцин обычно следовал в своих действиях не столько велениям рассудка, сколько велениям сердца.

Когда Фонвизина, не испросив на то разрешения, самовольно поехала на короткое время в Тобольск, чтобы навестить своих сибирских друзей, из Ялуторовска приехал повидаться с ней Пуцин.

Оба они пронесли свою дружбу через годы каторги и ссылки, и оба были одиноки. Пуцин имел уже право вернуться в Россию, и Фонвизина дала согласие на брак с ним. Ей было в то время пятьдесят два года, ему — пятьдесят восемь лет.

Вернувшийся из Сибири, «настрадавшийся досыта» Пуцин обвенчался 22 мая 1857 года с Фонвизиной и поселился в Марьине. Он был уже очень болен и месяцами не вставал с постели.

В это время почти все оставшиеся в Сибири декабристы уже вернулись в Россию. Они не забывали Пуцина и Наталью Дмитриевну и часто навещали их в Марьине.

Узнав о болезни Пуцина, декабрист Г. С. Батенков прекрасно выразил в письме от 22 апреля 1858 года общее отношение к нему товарищей.

«Пусть окрепший Иван, — писал он, — стоит по-прежнему башней на нашей общинной ратуше. И теперь она, хотя одинокая, все же вмещает в себе лучшее наше справочное место и язык среди чужого, незнакомого населения».

Но Пуцин уже угасал. Болезнь осложнилась, и 3 апреля 1859 года он скончался. Его похоронили в Бронницах, рядом с могилой первого мужа Фонвизиной.

Наталья Дмитриевна на десять лет пережила его. Она умерла 10 октября 1869 года, шестидесяти четырех лет от роду. Похоронили ее в Москве, в Покровском монастыре.

Ее имение должно было перейти после смерти к двоюродному брату мужа, С. П. Фонвизину. Крепостное право в то время уже было отменено, но, зная его жестокий крепостнический

характер и желая избавить крестьян от такого помещика, Н. Д. Фонвизина предложила крестьянам принять на себя уплату лежащего на имении долга и выкупить его. Крестьяне согласились, но правительство не дало на это согласия...

* * *

Овдовевшая за год до амнистии А. И. Давыдова вернулась в Каменку. Ей было уже пятьдесят шесть лет. Из Сибири она привезла еще семерых родившихся там детей. Все радостно встретили вернувшуюся мать и своих новых братьев и сестер.

Это была уже не та Каменка, которую она оставила тридцать лет тому назад. Старая Каменка умерла, здесь шла новая жизнь. Не было уже Пушкина. Частым гостем в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия в Каменке стал другой гениальный человек, чье творчество было неразрывно связано с творчеством Пушкина, — композитор П. И. Чайковский. Его сестра, Александра Ильинична, вышла замуж за сына В. Л. Давыдова, Льва Васильевича, и Чайковский часто приезжал навестить сестру.

Композитор был очень дружен и глубоко уважал вернувшуюся из Сибири вдову декабриста А. И. Давыдову. О ней он часто писал в письмах к своему другу Н. Ф. фон Мекк. Писал, как прекрасна и радостна ее старость и как величаво она заканчивает жизнь после обильно выпавших на ее долю тридцатилетних мук и страданий. Он писал об этой умной, скромной и поразительной душевной красоты женщине:

«Я имею здесь на глазах одну из самых светлых личностей, встреченных мною в жизни, — мать моего зятя, и мне хорошо известно, чего натерпелась эта старушка...

Все многочисленное семейство питает к главе семьи обожание, которого вполне достойна эта поистине святая женщина. Она — последняя, оставшаяся в живых жена декабриста из последовавших за мужьями на каторгу... Вообще много горя пришлось ей перенести в молодости, зато старость ее полна тихого семейного счастья...

Не парадуюшься, когда смотришь на эту восьмидесятилетнюю старушку, бодрую, живую, полную сил. Память ее необыкновенно свежа, и рассказы о старине так и льются, а в молодости своей она здесь видела много интересных исторических людей. Не далее, как сегодня, она мне подробно рассказывала про жизнь Пушкина в Каменке...

Судя по ее рассказам, Каменка в то время была большим

барским именем, с усадьбой на большую ногу; жили широко, по тогдашнему обычаю, с оркестром, певчими и т. д. Никаких следов всего этого не осталось. Тем не менее, если что скрашивает безотрадную, скучную, лишенную всяких прелестей Каменку, так это именно исторический интерес ее прошлого...»

Вслушиваясь в тихий рокот и всплески приливов протекавшей вдоль берегов усадьбы реки Тясьмина и в доносившееся пение возвращавшихся с полевых работ крестьян, Чайковский написал в Каменке свою знаменитую Вторую симфонию и ряд других произведений.

Все в Каменке любили Петра Ильича, он был всегда душой общества, любил ходить в лес по грибы и очень радовался, когда ему удавалось собрать их больше всех. Дети любили его, и он любил детей.

Жила в Каменке Сашенька Переслени, его племянница, внучка декабриста Давыдова. Когда вышло из печати «Лебединое озеро», Чайковский подарил ей экземпляр его с надписью:

От Москвы и до Тюмени
Нет краше Саши Переслени...

Ребенком встречался с композитором в Каменке его племянник, внук декабриста, Юрий Львович Давыдов — нынешний главный хранитель фондов музея-квартиры П. И. Чайковского в Клину, сохранивший в свои девяносто лет необычайную ясность мысли и молодость души.

Вдова декабриста, А. И. Давыдова, скончалась в глубокой старости, в 1893 году, в один год с П. И. Чайковским. Ей было уже девяносто три года. Она скончалась тихо, без страданий. В последние часы она обедала у себя в комнате. Перед обедом прилегла на кушетку и уснула. Уснула вечным сном...

Старая Каменка умерла. Но память о ней живет, и наше поколение бережно охраняет все связанное с ее былым историческим прошлым.

Сохранились «пушкинский грот» и «мельничка декабристов». Второй жизнью живет бывший «серенький», ныне «зеленый домик», окруженный парком, носящим имя декабристов.

Шумят вековые деревья, их современники, и в «зеленом домике» сегодня — музей имени А. С. Пушкина и П. И. Чайковского. Они здесь рядом, как рядом живут их творения — гениальные произведения поэта, положенные на музыку гениальным композитором.

В 1937 году, в столетнюю годовщину со дня смерти Пушки-

на, здесь открыт был памятник с надписью: «В Каменке, находясь в ссылке, пребывал в 1820, 1821 и 1822 году великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин».

* * *

Анненковы, вернувшись из Сибири, поселились в Нижнем Новгороде. Им было в то время уже под шестьдесят лет, у них были взрослые дети: три дочери и три сына. Но через все пережитые невзгоды и болезни Прасковья Егоровна Анненкова пронесла свою поразительную галльскую подвижность, жизнедеятельность и жизнерадостность.

Сыновьям «государственного преступника» Анненкова, окончившим тобольскую гимназию, Николай I не разрешил поступить в университет. И все же оба они благодаря своим способностям достигли видного положения.

Сам Анненков пользовался в Нижнем Новгороде большим уважением, принимал деятельное участие в осуществлении крестьянской реформы.

В 1860 году Анненков провел четыре месяца за границей. В 1861 году побывала на своей родине, во Франции, и жена его, П. Е. Анненкова — Полина Гебль.

В Нижнем Новгороде жизнь их текла мирно и спокойно. Полина Егоровна прожила еще пятнадцать лет и скончалась 14 сентября 1876 года, а через год с небольшим, 27 января 1878 года, не стало и Анненкова.

Они до последних дней сохранили дружеские отношения с детьми ее скончавшейся в Сибири компатриотки К. П. Ивашевой — Камиллы Ле-Дантю. Старшая дочь Ивашевых, Мария Васильевна Трубникова, явилась в конце 50-х годов прошлого столетия инициатором движения за женское равноправие в России. Она вдохновила и объединила тогда группу выдающихся пионеров женского освободительного движения — А. П. Фило-софову, Н. В. Стасову, В. П. Тарновскую, М. А. Менжинскую и других.

Благодаря их огромным усилиям и самоотверженному труду русские женщины шаг за шагом завоевывали себе в царской России право на высшее образование.

* * *

Декабрист А. Е. Розен прожил последние два десятилетия своей жизни в небольшом поместье Викнине, Изюмского уезда, Харьковской губернии. В 1855 году, через тридцать лет после

восстания декабристов, ему удалось наконец освободиться от полицейского надзора, он уже пользовался относительной свободой, но в Москву и Петербург въезд ему был воспрещен. После крестьянской и судебной реформ 60-х годов он был выбран мировым посредником...

14 декабря 1825 года молодой А. Е. Розен пришел с своим восставшим отрядом стрелков на Сенатскую площадь в Петербурге. Почти через шестьдесят лет, 19 апреля 1884 года, восьмидесяти лет от роду, он окончил свои дни в Викнине. Там же за несколько месяцев до него скончалась его жена, А. В. Розен.

Это был шестидесятилетний путь рука об руку с женой, от Сенатской площади в Петербурге до могилы, бесконечный круг странствий с крошечными детьми по необъятным российским и сибирским просторам, тяжкий путь каторги и ссылки, надежд и разочарований, унижений и страданий...

После смерти Розена остались в живых лишь несколько декабристов. Самый старший из них, М. И. Муравьев-Апостол, скончался в 1886 году, в Москве, в возрасте девяноста трех лет. Последним из декабристов скончался в 1892 году, восьмидесяти восьми лет от роду, Д. И. Завалишин.

*Жизнь
двадцатая*

ВЛАСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ

Умрете, но ваших страданий рассказ
Поймется живыми сердцами,
И за полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями.
Они им покажут, вздохнув от души,
Черты незабвенные ваши...

Н. А. Некрасов, «Русские женщины»

ЖМЕНА декабристов и их жен стали окутываться легендами. Уже не было в живых ни Е. И. Трубецкой, ни М. Н. Волконской, когда в театре встретились поэт-демократ Н. А. Некрасов и сын М. Н. Волконской, Михаил Сергеевич.

Некрасов сообщил ему, что написал поэму «Княгиня Трубецкая», просил прочитать ее и внести свои поправки.

Волконский ответил, что, находясь в самых дружеских отношениях с семьею Трубецких, опасается, что, если в поэме окажутся впоследствии места, для семьи неприятные, Трубецкие могут укорить в этом его. Он готов был внести в рукопись свои поправки, но при условии, что Некрасов их примет.

Некрасов согласился и на другой день принес Волконскому корректуру первой части «Русских женщин» — «Княгиня Трубецкая». Высказанные Волконским замечания коснулись главным образом характеров описываемых в поэме лиц, и Некрасов не стал возражать против них. Но он решительно отказался исключить из поэмы четыре гневные строки, брошенные Трубецкою в адрес Зимнего дворца и Николая I:

А ты будь проклят, мрачный дом,
Где первую кадрилишь
Я танцевала... Та рука
Досель мне руку жжет...

Поэма имела громадный успех, и Некрасов задумал вторую: «Княгиня М. Н. Волконская» («Бабушкины записки»). Он снова приехал к М. С. Волконскому и попросил дать ему прочесть «Записки» его матери, о существовании которых в обществе было известно. Волконский наотрез отказал, заявив, что он решительно никому, даже самым близким людям, не давал их читать, тем более что до поры до времени они и не предназначались к печати.

— Ну, так прочтите мне их! — сказал Некрасов, добавив, что о княгине Волконской у него материалов гораздо меньше, чем было о княгине Трубецкой, и сыну будет, конечно, неприятно и тяжело, если образ его матери выйдет в поэме искаженным.

Волконский сказал, что ему нужно подумать, и через несколько дней дал согласие, но взял с Некрасова слово, что тот примет во внимание все его замечания и не будет печатать поэму без его полного на то согласия.

Три вечера сын Волконской читал Некрасову «Записки» своей матери, а поэт внимательно слушал и в принесенной тетради делал карандашом заметки.

Волконский вспоминал позже, что, слушая «Записки» его матери, Некрасов несколько раз вскакивал с кресла и со словами: «Довольно, не могу!» — бежал к камину, хватался за голову и плакал, как ребенок.

Закончив поэму, Некрасов прочитал ее Волконскому, принял все его замечания и просил лишь оставить без изменений сцену встречи Волконской с мужем не в тюрьме, как рассказано в «Записках», а в шахте.

— Не все ли вам равно, с кем встретились там княгиня: с мужем ли или с дядею, Давыдовым, — сказал Некрасов. — Оба они работали под землей, а эта встреча у меня так красиво выходит...

Волконский уступил.

Так были написаны и появились перед читателями «Русские женщины» Некрасова...

* * *

В шестидесятых годах и Л. Н. Толстой задумал писать большой роман, посвященный эпохе и людям восстания 14 декабря. Эта мысль полностью овладела писателем, и он с увлечением собирал материал для романа.

Толстой ознакомился с перепиской декабриста М. А. Фонвизина с женой и был поражен красотой и глубиной душевного облика Н. Д. Фонвизиной. Она заинтересовала Толстого «как прелестное выражение духовной жизни замечательной русской женщины», и писатель хотел сделать ее героиней своего романа. Толстой выводит ее в нем под именем Апыхтиной, по ее девичьей фамилии, Апухтиной.

В своем задуманном, но ненаписанном романе Толстой имел в виду показать двух друзей, о чем он писал впоследствии своему знакомому, духобору И. Е. Конкину:

«Довелось мне видеть возвращенных из Сибири декабристов и знал этих товарищей и сверстников, которые изменили им и остались в России и пользовались всякими почестями и богатствами. Декабристы, прожившие на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после тридцати лет бодрые, умные, радостные, а оставшиеся в России и проводившие жизнь на службе, обедах, картах, были жалкие развалины, ни на что никому не нужные, которым нечем хорошим было помянуть свою жизнь».

С этой точки зрения Толстого заинтересовал нравственный облик двух декабристов, З. Г. Чернышева и А. И. Одоевского. Материалы о них он получил от М. А. Веневитинова, и образ Чернышева тем более привлек его, что графы Чернышевы происходили из народа и были возвышены при Петре I. В лице декабриста Чернышева Толстой видел человека, который нашел в себе нравственные силы отказаться от своих привилегий и стать на путь борьбы народа с самодержавием.

Чернышев и Одоевский должны были стать прототипами основных героев будущего романа. Писатель выводит их на его страницах под фамилиями Чернышева и Одуевского.

* * *

Необходимо сказать, что нравственный облик З. Г. Чернышева привлек к себе внимание не только Толстого. О декабристах уже при их жизни начали слагаться в Сибири легенды, и об одной из них, относящейся к тому же Чернышеву, говорится в сибирском рассказе В. Г. Короленко «Последний луч». В центре легенды — Чернышев, вышедший из народа генерал, возвысившийся при Петре I, но затем впавший в немилость, попавший в опалу, пострадавший и опростившийся.

В начале века Короленко приехал как-то в небольшой сибирский поселок и ночевал в убогой лачуге на берегу Лены. В хижине жил старик с двумя детьми, мальчиком и девочкой.

Утром дед вышел с мальчиком посмотреть на восход солнца, на последние лучи его, перед тем как оно скроется и на Крайнем Севере наступит долгая зимняя ночь.

Блеснул последний луч, и старик спросил Короленко:

— Вы чьи? Российские?

— Да.

— Чернышевых там не знавали?

— Каких Чернышевых? Нет, не знавал.

— Проезжий тут один сказывал: при царице Екатерине служил Захар Григорьевич Чернышев. Он был потом сосланный...

— Да, был генерал при Екатерине. Только он не был сослан...

— Ну, не он, а видно, того же роду... При императоре Николае... При востестве, что ли... Говорят, книгочей был. Умирая, все наказывал детям: главное дело — за грамоту держитесь крепче...

Показывая на детей, старик сказал:

— Они вот, дети, пожалуй, что и не простого роду... настоящая им фамилия Чернышевы...

Имя Чернышевых было популярно в Сибири. В действительности существовало два Чернышевых, носивших имя Захара Григорьевича. Первый, генерал екатерининского времени, никогда не был в ссылке, второй, ротмистр кавалергардского полка декабрист Чернышев, был в ссылке, но затем направлен был солдатом на Кавказ, где дослужился до чина подпоручика, и умер не в Сибири, а в Риме.

Рассказ старика являлся отражением народной легенды, расцветившей память о декабристе Захаре Григорьевиче Чернышеве, человеке редкой скромности и детской незлобивости...

* * *

Увлеченный темой и собирая материал для «Декабристов», Толстой посетил дочь К. Ф. Рылеева, Настасью Кондратьевну, и долго расспрашивал ее об отце. Но та мало что могла сообщить Толстому: ведь ей было всего пять лет, когда казнили отца.

Толстой не раз бывал у дочери А. Г. Муравьевой, Софьи Никитичны Бибиковой, Нонушки, которая «пропасть рассказывала и показывала» ему о декабристах и их жизни на каторге и в ссылке.

Толстой подолгу беседовал с вернувшимися из Сибири декабристами М. И. Муравьевым-Апостолом, П. Н. Свистуновым, И. П. Беляевым, посетил Петропавловскую крепость и осматривал камеры, в которых находились в заключении декабристы.

От В. В. Стасова Толстой получил копию записки Николая I, в которой царь цинично намечал подробный церемониал казни пяти декабристов, и ряд других материалов. Особенно поразило писателя распоряжение Николая I пробить барабанами мелкую дробь, когда выведут заключенных. «Это какое-то утонченное убийство», — возмущался Толстой царской запиской...

Толстой писал о Николае I:

«Когда какой-нибудь смельчак решался докладывать, прося смягчения участи сосланных декабристов или поляков, страдающих из-за той любви к отечеству, которая им же восхвалялась, — он, выпячивая грудь, останавливался на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Рано!» — как будто он знал, когда будет не рано и когда будет время».

Толстой начал уже писать «Декабристов» (три главы романа были даже опубликованы им в 1884 году), но в процессе работы автор, начав с эпохи 1825 года, перенесся мыслью к молодости своего героя, увлекся эпохой 1812 года, и его первоначальная мысль вылилась в создание «Войны и мира».

Собирая материал для «Декабристов», Толстой несколько раз ездил в Петербург, но затем мысль об этом романе оставил, хотя не переставал думать о нем.

В 1877 году Толстой снова вернулся к этой теме и внимательно знакомился с записками, воспоминаниями и письмами

М. Н. Волконской, И. Д. Якушкина, А. Е. Розена, братьев Бестужевых и других.

В дневнике дочери писателя, Татьяны Львовны, имеется запись от 3 февраля 1898 года о том, что Лев Николаевич предложил И. Е. Репину сюжет картины: С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин идут на казнь.

Много позже Толстой писал, что декабристы больше, чем когда-нибудь, занимают его и возбуждают его удивление и умиление:

«Это были люди все на подбор — как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул».

«Декабристы» остались незаконченными...

* * *

Своего рода историей тридцатилетней жизни декабристов на каторге и в ссылке являлась «Библиотека добрых листков» декабриста И. И. Пущина, а также его тетрадь «Заветных сокровищ», хранящаяся сегодня в Центральном Государственном историческом архиве.

Пущин был по своему высокому моральному облику одной из центральных фигур на каторге и в ссылке.

К нему тянулись отовсюду сердца декабристов, и к нему шли письма со всех концов Сибири, где декабристы поселены были после каторги. К нему потоком шли письма и «с того света», из России.

В «Библиотеке добрых листков» Пущина насчитывалось больше тысячи писем. Они были разного формата, написаны на разной бумаге, разными почерками, и все хронологически подобраны и переплетены. Большая половина этих писем — из России, от родных и старых знакомых. Остальные — сибирские письма декабристов и многочисленных сибирских друзей и знакомых Пущина. Письма первого, «каторжного», периода писались на имя жен декабристов, так как сами декабристы, находясь в тюрьме, лишены были права личной переписки. Лишь перейдя на поселение, они уже писали сами.

Пущин провел в Сибири двадцать восемь лет. Написанные и полученные им за эти годы письма охватывают огромный круг интересов. Он пользовался исключительным уважением и любовью своих товарищей. «Рыцарем правды» назвал его декабрист Волконский за высокую честность и принципиальность, за всегда ровный, спокойный и жизнерадостный, стойкий во взглядах и убеждениях характер.

Свою переписку с товарищами по восстанию и друзьями Пущин не прерывал до своего последнего часа. Письма эти дают представление о той большой роли, какую декабристы сыграли в деле подъема культурной и экономической жизни Сибири.

* * *

Всегда, когда декабристы о чем-нибудь писали, просили или настойчиво добивались, перед ними неизменно вставала мрачная и зловещая фигура Николая I.

«Государственными преступниками» назвал Николай I декабристов, и это звание закреплено было за ними во всей дальнейшей официальной переписке. В день казни декабристов, 13 июля 1826 года, слово «преступник» выведено было большими буквами на черных поясах, которыми опоясаны были шедшие на виселицу К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский.

И когда директор Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардт, не считаясь с приговором Верховного уголовного суда, прислал своему питомцу в Сибирь письмо, адресованное «его благородию Ив. Ив. Пущину», декабрист был тронут и просил своего лицейского товарища Ф. Ф. Матюшкина «обнять директора и директоршу».

Настойчиво боролись за свое человеческое достоинство и жены декабристов. Когда декабрист И. А. Анненков, перейдя на поселение, находился уже на службе, жена его получила от губернатора письмо с неподобающим обращением. Женщина энергичная и решительная, она так подписала свой ответ губернатору: «Полина Анненкова, жена чиновника гражданской службы, а не государственного преступника. Обозначать людей по имени и их положению есть минимум вежливости, обязательной для каждого».

Потребовалось тридцать лет каторги и ссылки, горя и страданий, чтобы декабрист уже после своей смерти был назван в официальном документе по имени, отчеству и своему прежнему званию: «3 апреля 1859 года дворянин Иван Иванович Пущин умер», — в этих выражениях московский губернатор доложил III отделению о смерти декабриста.

Зато передовое русское общество всегда относилось с большим уважением к деятелям восстания 14 декабря 1825 года. О смерти И. И. Пущина А. И. Герцен напечатал на первой странице издававшегося в Лондоне «Колокола» от 22 июня 1859 года извещение в черной рамке:

«Мы только теперь получили известие о кончине в подмосковной деревне 3 (15) апреля Ивана Ивановича Пущина. Мы упрекаем наших корреспондентов, что они так поздно известили нас. Все касающееся до великой передовой фаланги наших вождей, наших героических старцев, должно быть отмечено у нас...»

Исключительный интерес для характеристики политических взглядов декабристов в последние годы их ссылки представляют материалы о связях декабристов с Герценом, о распространении в Сибири Горбачевским, М. Бестужевым и другими герценовских нелегальных изданий, о попытках Якушкина организовать еще до амнистии переписку с Герценом.

К восстанию 14 декабря и его деятелям Герцен проявлял большой интерес. На обложке «Полярной звезды» он поместил профили портретов пяти казненных декабристов. Начало деятельности Вольной русской типографии в Лондоне Герцен отметил революционной прокламацией «Юрьев день! Юрьев десь!», в которой напоминал читателям о восстании 14 декабря и именем Пестеля и Рыльева призывал к сокрушению крепостничества. В «Историческом сборнике» Герцен поместил публикацию «Смерть Милорадовича», убитого Каховским 14 декабря на Сенатской площади, используя для этого рукопись его адъютанта, сына коменданта Зимнего дворца, А. П. Башуцкого.

В «Полярной звезде» Герцен опубликовал написанное Сперанским «Донесение Следственной комиссии» и написанный декабристом Луниным знаменитый «Разбор донесения Тайной следственной комиссии». Герцен опубликовал и лунинские пропагандистские письма к сестре, и его «Взгляд на русское Тайное общество с 1816 до 1826 года».

Герцен разоблачил в своем журнале и видимую «законность» приговора над декабристами, доказав, что ссылка приговора на закон была обманом, фальшивкой.

В «Колоколе» за 1862 год Герцен упомянул о «Записках» одного из основателей Общества соединенных славян Ю. К. Люблинского и затем предпринял издание «Записок декабристов» в Вольной русской типографии в Лондоне. Оповещающая об этом читателей, Герцен писал:

«Мы предполагаем издавать «Записки» отдельными выпусками и начать с записок Якушкина и кн. Трубецкого. Затем последуют записки Оболенского, Басаргина, Штейнгеля, Люблинского, Н. Бестужева, далее о 14 декабря... «Белая Церковь», «Воспоминания Оболенского о Рылееве и Якушкине», статьи Лунина и разные письма».

Записки Якушкина о 14 декабря были впервые напечатаны Герценом в 1863 году.

После амнистии Герцен встречался с некоторыми декабристами в Париже и Женеве.

Знаменитая клятва Герцена и Огарева в исходе лета 1827 года на Воробьевых горах в Москве явилась символом продолжения революционной борьбы молодой сменой. Вспоминая 14 декабря, Герцен писал:

«Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе были поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... и вся эта передовая фаланга, шедшая вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла...»

И позже:

«Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? Поймут ли они?.. О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем, — мы заслужили их грусть...»

* * *

Хранительницей живых традиций декабристов в Москве до конца своих дней оставалась Софья Никитична — Нонушка — Муравьева.

Уехав в Москву после смерти в Сибири родителей и окончив институт, она вышла замуж за М. И. Бибикова, племянника декабристов Муравьевых-Апостолов. Дом ее в Москве был своего рода клубом, где собирались друзья и почитатели декабристов.

Бибиковы жили на М. Дмитровке (сейчас улица Чехова). Отец Бибикова был известный вельможа начала прошлого века, проделавший весь поход против Наполеона и присутствовавший на Венском конгрессе, человек очень образованный и оригинальный. Когда он тяжело заболел, врачи, чтобы не волновать больного и скрыть от него его тяжелое положение, говорили между собою на консилиуме по-латыни.

Бибиков внимательно вслушивался в их разговор и, открыв глаза, сказал окружавшим его врачам:

— Меня приводит в отчаяние не безнадежность моего положения, а те ошибки, которые вы делаете, говоря по-латыни...

Правнучка Александры Григорьевны Муравьевой, А. Бибикова, рассказывает в своих воспоминаниях, что «дом бабушки, Софьи Никитичны Бибиковой, был настоящим музеем, и осо-

бая прелесть этого музея была в том, что у него была душа, что все эти картины и миниатюры, старинная тяжелая мебель и огромные молчаливые и таинственные книжные шкафы, точно скрывавшие в себе невысказанные истории, мраморный бюст прадеда, декабриста Никиты Михайловича Муравьева, — все это жило, все было полно воспоминаний. Каждая вещь имела свою историю и сохраняла в себе тепло семейной обстановки, печать привычек, вкусов, мыслей своих обладателей. Это все были живые свидетели прошлого, блестящего и трагического прошлого в шитых мундирах и арестантских шинелях, свидетели, связывавшие это прошлое с настоящим и неразрывно с самой Александрой Григорьевной Муравьевой».

Здесь царил особый культ воспоминаний. Каждая вещь была с кем-то и с чем-то связана: старинное кресло, на котором умер в Сибири прадед Никита Михайлович; старинный массивный и тяжелый рабочий столик в виде жертвенника, подаренный им жене, Александре Григорьевне; часы, сделанные Н. А. Бестужевым в Сибири и подаренные Муравьевой незадолго до ее смерти; всевозможные портреты и миниатюры родных и близких работы знаменитых художников Левицкого, Тропинина, Соколова, Изабэ. Все это были страницы жизни декабристов, собиравшихся по пятницам у Софьи Никитичны на Малой Дмитровке.

Среди всех этих немых свидетелей прошлого сидела бабушка, Софья Никитична, «в своем неизменно черном простом платье, с крупными морщинами на характерном лице, с белыми, как серебро, волосами. От всего ее облика веяло необычайной благородной красотой...»

А. Бибикова вспоминает, что как-то ей пришлось встретиться у бабушки с известным московским коллекционером П. И. Щукиным, которому удалось приобрести у нее ценные миниатюрные портреты Никиты Михайловича и Александры Григорьевны Муравьевых. Щукин был образованный и культурный человек, бесспорный ценитель и тонкий знаток искусства, но, получив эти миниатюры из дома бабушки Софьи Никитичны и вставив их в музейную оправу, он вынул из них душу. У бабушки тоже был музей, но этот ее музей жил, и главной его артерией была она сама, Софья Никитична, Нонушка, как звали ее все декабристы.

* * *

Декабрист И. И. Горбачевский навсегда остался доживать в Сибири свой век. В своих письмах к вернувшимся в Россию товарищам Горбачевский как бы водил их по казематам поки-

нутой Петровской тюрьмы, и письма эти насыщены были трогательными воспоминаниями и грустными настроениями оставшегося на старом пепелище одинокого декабриста.

«Мы только в разлуке узнаем цену наших товарищей, в разлуке только узнаем потерю их... — писал Горбачевский Оболенскому. — Часто гляжу здесь на наше прежнее жилище... вы все для меня теперь какие-то мифы... Жившие когда-то здесь, — где они? Где их искать? Когда их увидишь?.. Сажу на одном и том же месте, как гвоздь, забитый в дерево, — такие мои обстоятельства и такое положение. Куда ехать? и на какие деньги... Сестра моя живет в Петербурге при детях; в Малороссии все умерли; конечно, будь способы, псехал бы туда хоть подышать тамошним воздухом, но это «не наша еда лимоны», как некогда писал ко мне В. Л. Давыдов».

Горбачевский пишет товарищам, что их каторжную тюрьму в Петровском заводе посещают разные люди и часто просят его показать, где кто жил и что делал. Он много рассказывает им, а они продолжают задавать всё новые и новые вопросы. Какой-то господин из Петербурга подобрал в камере Оболенского все брошенные когда-то декабристом перья; потом подобрал и положил в бумажник все валявшиеся на полу бумажки. Какой-то генерал, сослуживец Якубовича, вырвал все гвоздики из стен в его каземате. Кто-то выкопал в садике и увез с собою столик в кустах, за которым пили чай Ивашевы.

Горбачевский рассказывает, как выглядят бывшие казематы Пуцина, Штейнгеля и других декабристов, сообщает, что когда-то посаженные Мухановым в тюремном дворе деревья сделались уже большими.

«Все заросло травой, — пишет он Оболенскому в письме от 17 июля 1861 года, — мрак и пустота, холод и развалина; все покривилось, а особенно левая сторона, стойла разбиты, одни решетки и толстые запоры железные противятся времени. Недостает тут одного — наших кандалов. Грудь у меня всегда стесняется, когда я там бываю: сколько воспоминаний, сколько и потерь я пережил, а этот гроб и могила нашей молодости или молодой жизни существует. И все это было построено для нас, за что?.. И кому мы все желали зла? Тебе кланяется Ив. Ив. Первухин, дряхлый уже старик, наш страж бывший и живая хроника обо всех нас; его конек — во всех рассказах о былом времени...

В доме Муравьевой теперь казарма солдат, в доме Давыдовой — казарма ссыльных, в доме Трубецкой — квартира управляющего заводом, в доме Анпенковой — контора, в доме Вол-

конской — школа; в доме Фонвизиной живет священник отец Поликарп, дом Ивашевой занят квартирою дьякона здешнего. Дом Юшневской упал в развалины...»

Большому Пушкину Горбачевский писал:

«Смотри, любезный Пушкин, держись... и не пренебрегай своим недугом... Иногда я смотрю на окошко в твоей бывшей комнате; много в голове тогда рождается воспоминаний, сердце сжимается, думая, где вы все, что с вами? Увижу ли я тебя когда-нибудь, мой любезный Иван Иванович? Долго мы были вместе, я привык к тебе, — теперь довольствуюсь и тем, что посмотрю на то место, где ты жил, — я и тому рад. Прощай, Пушкин... прошу тебя, пиши ко мне, это есть единственное утешение получать известия от тех, которых любишь...»

Книги являлись для Горбачевского большим утешением в его безрадостном существовании, и он был счастлив, когда получал от Фонвизиной посылки с книгами.

Горбачевский пишет М. А. Бестужеву, как радостно для него в его одинокой, заброшенной жизни общение с простым русским народом, с ссыльными.

«Что за народ любопытный, — пишет он, — оклеветанный, убитый, но люди умные, рассудительные, даже — скажу тебе страшную вещь — люди очень добрые и честные. Многих я из них видел, говорил с ними, многим я был даже приятель; что они рассказывают — это поэзия...»

* * *

Память об Александре Григорьевне Муравьевой бережно сохраняется в Сибири до наших дней. Над ее могилой всегда горела неугасимая лампада, а уезжая из Петровского завода на поселение, декабристы всегда приходили поклониться перед отъездом ее праху.

«Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму», — написал А. С. Пушкин своему другу П. А. Вяземскому, когда снова приехал в Михайловское, где он «провел изгнанником два года незаметных».

Такое же поэтическое наслаждение испытал И. И. Пущин, посетив в 1849 году, по пути на Туркинские минеральные воды, Петровский завод. Об этом он писал из Ялуторовска в Петербург:

«...Я был в Петровском; подъезжая к заводу, увидел лампаду, которая мне светила среди туманной ночи. Этот огонек всегда горит в часовне над ее могилой. Тут же узнал от Горба-

чевского, поселившегося на старом нашем пепелище, что, гуляя однажды на кладбищенской горе, он видит человека, молящегося на ее могиле. Подходит и знакомится с генералом Черкасовым. Черкасов говорит ему, что счастлив, что имел возможность преклонить колени перед могилой, где покоится прах женщины, которой он давно в душе поклоняется, слышал о ней столько доброго по всему Забайкалью. Вот уже слишком двадцать лет, что светится память нашей первомученицы!..»

В 1862 году, через тридцать лет после смерти Муравьевой, Горбачевский получил от декабриста Оболенского письмо с просьбой сообщить, в каком состоянии находилась тогда ее могила.

В трогательных подробностях Горбачевский сообщил в письме от 18 января 1862 года, что могила в порядке, что он сам следит за ней и от дочери Муравьевой, Нонушки, получает письма по этому поводу. Уже тридцать лет, писал он, лампада горит неугасимо, но вот беда: на 1862 год осталось на масло всего 42 руб. 58¹/₂ коп. и еще сторожу нужно платить 6 руб. 84 коп. жалованья. Этих денег может не хватить на неугасимое горение лампы, и Горбачевский просит Оболенского сообщить об этом кому следует...

Горбачевский начал писать свои воспоминания, но в какую-то нехорошую минуту сжег их, оставив лишь записки о восстании на юге Черниговского полка и судьбе его участников. В одном из писем к М. А. Бестужеву он рассказывал о своем последнем трогательном прощании, в ночь на 15 сентября 1825 года, с казненным впоследствии декабристом С. И. Муравьевым-Апостолом.

Когда они разговаривали, Муравьев-Апостол держал в руках свою головную щетку, любовно разглаживал ею бакенбарды Горбачевского, потом обнял его, горячо поцеловал и сказал:

— Возьмите эту щетку себе на память от меня. Ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить свои воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я вам и приказываю, как начальник ваш по обществу нашему, так и прошу, как друга, которого я люблю почти так же, как Михайлу Бестужева-Рюмина, написать о намерениях, цели нашего общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас...

Муравьев-Апостол еще раз обнял и горячо поцеловал Гор-

бачевского, и они расстались навсегда. Подаренную ему Муравьевым-Апостолом щетку Горбачевский положил в боковой карман шинели, и она уцелела у него от всех многочисленных обысков—в Зимнем дворце, в Петропавловской, Шлиссельбургской и Кексгольмской крепостях, в Сибири. Декабристы Трубецкой, Поджио и другие очень просили Горбачевского отдать им эту щетку, даже предлагали за нее тысячу рублей. Но старый декабрист, хотя и очень нуждался, не мог расстаться с этой драгоценной памятью казненного друга. От времени из этой щетки даже волосы выпали, осталось одно древко...

* * *

Памятный подарок С. И. Муравьева-Апостола не дошел до наших дней. Но в городе Пушкине, в экспозиции Всесоюзного музея А. С. Пушкина, можно видеть несколько подлинных, принадлежавших декабристам и хорошо сохранившихся вещей. Они помещаются в особой витрине.

Перстень золотой с сердоликовым камнем. Он был пожертвован А. С. Пушкиным для лотереи в доме Раевских. Его выиграла М. Н. Волконская, а внук ее, С. М. Волконский, подарил Пушкинскому дому.

Серебряная, позолоченная внутри чарка, поступившая в Пушкинский дом с сопроводительной запиской: «...от младшего поколения Муравьевых: Валериана — рожд. 1941, Сергея — рожд. 1947, Никиты — рожд. 1950 г. 22 декабря 50 г. Ленинград. Сергей Муравьев».

Круглая бронзовая чернильница декабриста Артамона Муравьева и песочница, вправленные в большую овальную перламутровую раковину с резьбой. На раковине — чеканный бронзовый ободок на четырех лапках с ажурным бортиком и плоским выдвижным ящичком. Сверху на раковине три литые бронзовые фигурки: амур и два дельфина.

Железная шкатулка декабриста В. П. Ивашева. На крышке изображена комната Ивашевых в сибирской ссылке. В. П. Ивашев стоит с письмом в руке, рядом с ним жена его, К. П. Ивашева. В комнате круглый стол, диван, кресло, клавесин, ширмы, шкаф.

Чашка В. П. Ивашева из сервиза, заказанного отцом декабриста в Париже и предназначавшегося для отправки сыну в Сибирь. Чашка фарфоровая, с подставкой и высокой золоченой ручкой со змеиной головкой. На чашке — золотая монограмма из начальных букв имен Ивашева и его жены.

Цепочка, сплетенная В. П. Ивашевым из волос его умершей в Сибири жены.

Пенал В. К. Кюхельбекера с надписью, удостоверяющей, что он был в свое время подарен А. С. Пушкиным одному из своих друзей.

Барометр Артамона Муравьева. На деревянной рейке укреплена стеклянная трубка с резервуаром для ртути.

Медальон Матвея Муравьева-Апостола — золотой, овальный, гладкий. На крышке с внутренней стороны вырезаны имена: матери — Анны, сестер Елизаветы и Екатерины, братьев Сергея и Иполита и декабриста И. Д. Якушкина. Около имен поставлены даты их смерти: повешенного Сергея — 13 июля 1826 года, застрелившегося Иполита — 3 января 1826 года, умершего в Москве Якушкина — 11 августа 1857 года. Судя по последней дате, надписи эти были сделаны уже после возвращения Матвея Муравьева-Апостола из ссылки.

Нательный крест Матвея Муравьева-Апостола на цепочке.

Два кольца декабриста И. И. Пущина, сделанные из его кандалов. Одно из них подложено золотом, другое — серебром.

Письменный стол декабриста Н. И. Тургенева, красного дерева, с тремя выдвижными ящичками и съёмным шкафчиком с пятью ящичками. Доска стола покрыта темно-коричневой кожей с золотым тиснением по краям. У стола — вольтеровское, обитое желтой кожей кресло. Здесь же — подставка для бумаг, бювар из зеленой кожи с золотым тиснением и замком и портфель из красной кожи с двенадцатью отделениями и металлическим замком.

Все эти вещи поступили в дар музею от внуков и правнуков декабристов.

* * *

Пройдя тяжкий тридцатилетний путь каторги и ссылки, уцелевшие декабристы остались верны тем идеям, которые привели их 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь.

«Глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался», — писал из крепости Г. С. Батенков.

Через тридцать лет после восстания С. Г. Волконский писал: «Мои убеждения привели меня в Верховный уголовный суд, на каторгу, к 30-летнему изгнанию, и, тем не менее, ни от одного слова и сейчас не откажусь».

Н. И. Лорер писал в своих «Воспоминаниях», что, если бы

ему дано было теперь, через сорок лет после вступления в Тайное общество, изменить этот шаг и тем самым всю свою судьбу, он ни за что бы на это не согласился.

Поселившись после возвращения из каторги и ссылки в Нижнем Новгороде, И. А. Ашненков писал декабристу А. Н. Муравьеву, что его старая ненависть к рабству пробудилась с тех пор, как он попал в Пензенскую губернию... Отпечаток рабства на всех лицах и разбойничьи повадки управляющих и заседателей показались ему там в тысячу раз большими, чем в Нижнем.

Ненависть к самодержавию, крепостничеству и рабству развивалась, углублялась и охватывала все более и более широкие слои русского народа.

«Мы, по крайней мере многие из нас, увидели цель жизни народов, цель существования государств, и никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять», — писал заочно приговоренный к смертной казни Н. И. Тургенев, выражая тем самым глубокую веру декабристов в конечное торжество идей свободы и гуманизма.

Давая оценку движению декабристов, В. И. Ленин писал: «Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял в открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году»...

Из искры возгорелось пламя...

* * *

Окидывая мысленным взором десятки разбросанных по сибирским просторам могил декабристов, потеряв уже всякую надежду вернуться когда-нибудь на родину, С. Г. Волконский писал незадолго до амнистии:

«Не грустно умереть в Сибири, но жаль, что из наших общих опальных лиц, костей — не одна могила. Мыслью об этом не по гордости, тщеславию личному: врозь мы, как и все люди, пы-

линки; но грудюю кости наши были бы памятником дела великого при удаче для родины и достойного тризны поколений».

Так думал и Александр Бестужев, когда говорил: «И самая смерть наша будет полезна отечеству...»

Декабристы страстно любили Россию. Когда уже скончался Николай I, новый император Александр II благодарил в приказе по войскам «славную верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году».

О декабристах царь в те дни не вспомнил, и один из друзей писал из Петербурга Пушкину: «Грустно подумать, что время уничтожает следы всего былого».

Поседевший на каторге и в ссылке Пушкин ответил на это Батенкову, проведенному двадцать лет в одиночном заключении Петропавловской крепости:

«Совестно это читать при бойне крымской, где мы встречаем врагов в больших силах. Что ж делать, добрый друг, настала тяжелая година... Как-то мудрено представить себе хорошее. Между тем одно ясно, что в судьбах человеческих совершается важный процесс... Верю, что из всех этих страданий должно быть что-нибудь новое. Сонные пробудятся, и звезда просветит. Иначе не могу себя успокоить».

Одновременно и Герцен, как бы связывая себя с людьми 14 декабря и обращаясь к грядущим поколениям, писал, что «наши страдания — почка, из которой разовьется их счастье».

— О нас в истории страницы напишут! — восклицал юный поэт А. И. Одоевский, направляясь 14 декабря, после ночного совещания у Рылеева, на Сенатскую площадь.

Священные могилы декабристов стали в наше время «памятниками дела великого». Не страницы, а сотни книг написаны о декабристах и их героических женах, а сами они, вволю настрадавшись, сказали устами А. И. Давыдовой:

«Какие мы героини? Это поэты сделали из нас героинь, а мы просто поехали за нашими мужьями...»

«Тризна поколений», о которой мечтал С. Г. Волконский, — это необычайно возросшее могущество и величие России, которая, как утес, высится сегодня над миром, освобождая человечество от цепей рабства и гнета...

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
<i>Глава первая.</i> В ДОМЕ У СИНЕГО МОСТА	11
Начало XIX века. — Порабощенная Наполеоном Европа и непокоренная Россия. — Ранние преддекабристские организации. — Тайные общества и Общество соединенных славян. — «Первый декабрист» В. Ф. Раевский. — Смерть Александра I. — Междоусарствие. — Присяга и «переприсяга». — Накануне восстания у К. Ф. Рыльева. — План восстания.	
<i>Глава вторая.</i> «ДЕТИ 1812 года»	23
«Лучшие люди из дворян». — «Великая весна девяностых годов XVIII века». — Очаги воспитания декабристского мировоззрения. — Московский университет. — Московская школа колонновожатых. — Царскосельский лицей и «лицейский дух». — Ранние преддекабристские организации. — Союз Благоденствия. — Северное и Южное тайные общества. — «Зеленая лампа». — Вольнолюбивые стихотворения Пушкина и их революционизирующее действие. — Пушкин среди декабристов в Каменке. — «Первый декабрист» В. Ф. Раевский. — И. И. Пущин в Михайловском. — Общество соединенных славян.	
<i>Глава третья.</i> НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ	40
14 декабря 1825 года. — Восставшие полки у памятника Петру I. — Николай I на площади перед Зимним дворцом. — Выстрел П. Г. Каховского и смерть М. А. Милорадовича. — Людские массы на улицах и площадях Петербурга. — Отсутствие диктатора С. П. Трубецкого и смятение в рядах декабристов. — Инициатива в руках Николая I. — Приказ стрелять картечью. — Восстание Черниговского полка на юге России. — Разгром восстания.	
<i>Глава четвертая.</i> ДЕРЖАВНЫЙ ТЮРЕМЩИК	53
Первый допрос арестованных в Зимнем дворце. — Лицом к лицу с Николаем I. — Смелые и независимые ответы декабристов. — После допроса — в Петропавловскую крепость. — 150 царских записок коменданту крепости генерал-адъютанту А. Я. Сукину. — Тактика Николая I при допросах. — Срывы отдельных декабристов. — «Фаланга героев».	
<i>Глава пятая.</i> В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ	68
«Секретный дом» Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. — Тюрьма в тюрьме. — Живые мертвецы. — «Полубоги» и тюремщики. — Унтер-офицер Соколов. — Предложение бежать за границу. — Фрукты из Милютиных рядов. — Средневековое судилище. — Допросы. — Вольнолюбивые стихи А. С. Пушкина в армии и в делах декабристов — Письмо А. С. Пушкина к поэту В. А. Жуковскому. — Царский приказ: из дел вынуть и сжечь все «возмутительные сти-	

хи». — Встреча А. С. Пушкина с царем. — Шесть месяцев в крепостных казематах.

Глава шестая. ПРИГОВОР И КАЗНЬ 90

Николай I диктует судьям приговор. — Состав судилища. — Одиннадцать разрядов осужденных. — Как встретили декабристы приговор? — Расправа с солдатами. — Гражданская казнь. — Сооружение виселицы. — Последние часы осужденных. — Предсмертное письмо К. Ф. Рылеева. — Казнь пяти. — Большой парад и «очистительное молебствие». — Запись А. И. Герцена. — Судьба предателей.

Глава седьмая. НА КАТОРГУ 108

Царский манифест в день казни декабристов. — В кандалах на Нерчинские рудники. — Прощание с Петербургом. — «Вот и Сибирь!» — Отношение населения к декабристам. — Встреча Е. П. Оболенского с духобором в лесу. — Письмо к Е. И. Трубецкой. — Благодатский рудник. — Маленькие тюрьмы в большой тюрьме. — Начальник рудников Бурнашев. — И. И. Сухинов и Зерентуйский заговор. — Самоубийство И. И. Сухинова. — Страшная казнь. — Мысли о побеге.

Глава восьмая. ПУТЬ Е. И. ТРУБЕЦКОЙ В СИБИРЬ 122

«Владимирка» и Сибирский тракт. — Партии каторжников в кандалах. — Случайная встреча в пути с мужем. — Инспекции Иркутскому губернатору И. Б. Цейдлеру. — Жены декабристов вне закона. — Задержка в Иркутске. — Три подвиги. — Письма мужа с каторги. — Полугодовая борьба с И. Б. Цейдлером. — Угроза отправить этапом. — Приезд в Б. Нерчинский завод. — Покосившаяся хибара для жилья.

Глава девятая. «ДНО МЕШКА, КОНЕЦ СВЕТА» 130

М. Н. Волконская. — Арест мужа и свидание в крепости. — Отъезд в Сибирь. — Прощальный вечер в московском доме Зинаиды Волконской. — Послание А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...» — В Благодатском руднике. — «Сопествие в ад». — Первое свидание. — На коленях перед мужем. — Помощь жев декабристов заключенным. — Первые письма на родину. — Княгиня Волконская и разбойник Орлов. — Размысления начальника рудников Бурнашева.

Глава десятая. СЕМЬ МУРАВЬЕВЫХ 145

Комендант каторги С. Р. Лепарский. — Дом Е. Ф. Муравьевой в Петербурге. — Вольнолюбивые настроения Муравьевых. — А. С. Пушкин в доме Муравьевых. — Никита Муравьев — автор Конституции. — Отношение Муравьевых к парю. — Отношение Николая I к Муравьевым — Отъезд А. Г. Муравьевой к мужу на каторгу. — Слуховое окно против тюремного двора. — Ответ А. И. Одоевского на послание А. С. Пушкина. — Душевный облик А. Г. Муравьевой. — Посылки из Петербурга на каторгу.

Глава одиннадцатая. «ЮНОШЕСКАЯ ПОЭМА» 156

Читинский острог. — Тюремная вольница. — Каторжный быт. — «Хозяин» и общий котел. — Декабристы на работах. — Рукою А. С. Пушкина. — Как получились книги. — «Каторж-

ная академия». — Мастерские. — Огороды. — Литературно-музыкальные вечера в каторжном клубе. — «Святые годовщины» 14 декабря. — Приезд жен декабристов. — Венчание Полины Гебль с И. А. Анненковым. — Клуб у тюремного частокولا. — Дамская улица. — Деньги и письма с родины. — Снятие кандалов. — Кольца из оков.

Глава двенадцатая. В НОВУЮ ТЮРЬМУ С «МАРСЕЛЬЕЗОЙ» . . . 186

Из Читинского острога в тюрьму Петровского завода. — Тень свободы после пятилетнего заключения. — Два партиями в поход. — Дневки в бурятских юртах. — В шахматы с бурятами. — Разговор с М. С. Луниным. — Фельдъегерь из Петербурга. — Известие о революции во Франции.

Глава тринадцатая. ТЮРЬМА ЗА БАЙКАЛОМ 194

Тюрьма на болоте. — 64 камеры без окон и воздуха. — Ночью за четырьмя замками. — Жалобы в Петербург. — Труды и дни декабристов. — Имущие и немущие. — Образование артелей взаимопомощи. — Новый тюремный быт. — Литературные связи с Петербургом. — Власть музыки. — В домыке М. Н. Волконской. — Решение В. П. Ивашева бежать с каторги. — Приезд Камиллы Ле-Даптю. — Венчание. — Смерть А. Г. Муравьевой. — Неугасимый огонь над могилой. — Лицемерное «всепрощение» Николая I.

Глава четырнадцатая. КОНЕЦ КАТОРГИ 217

Декабристы покидают тюрьму. — Переход на поселение. — Сердечные прощания и грустное расставание. — Полусвобода. — Мысли о завтрашнем дне. — Жизнь, полная случайностей. — Жеребьевка. — История с декабристом Н. И. Лорером. — Одинокая изба в Мертвом Култуке. — Возвращение в Иркутск. — Письма в Россию и из России. — Ходатайства декабристов и отказы царя. — Прощание с комендантом.

Глава пятнадцатая. ПОСЛЕДНИЙ АКТ ДРАМЫ 228

Расселение декабристов. — Колонии под Иркутском. — Смерть Е. И. Трубецкой. — Смерть С. П. Юшневской у гроба Ф. Ф. Вадковского. — Смерть Никиты Муравьева. — Высылка из Сибири художника Мазера. — Запрещение детям декабристов носить фамилии родителей. — Ответы декабристов на «милость» царя. — 13-летняя Нонушка Муравьева и императрица. — Несгибаемый М. С. Лунин. — Трагическая судьба декабриста Н. А. Муханова и В. М. Шаховской. — Два брата Поджио. — «Бессребrenник и целитель» Ф. В. Вольф.

Глава шестнадцатая. «ГЛАВНОЕ, НЕ УТРАЧИВАТЬ ПОЭЗИЮ ЖИЗНИ» 251

Центры сибирских поселений декабристов. — Туринская колония. — Смерть декабриста В. П. Ивашева и его жены. — Трое сирот. — Ялуторовский кружок. — В Березове. — Духовная болезнь и смерть А. В. Ентальцева. — Судьба и смерть жены декабриста И. Д. Якушкина. — Основанные декабристами школы. — Гибель В. К. Кюхельбекера. — Польские изгнанники в Сибири. — Приезд в Курган наследника престола. — Поэт В. А. Жуковский у декабристов. — Рядо-

выми на Кавказ. — Последний вечер на поселении. — Смерть «первого декабриста» В. Ф. Раевского. — Декабрист-крестьянин П. Ф. Выгодковский. — Сибирские браки декабристов.

Глава семнадцатая. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ БЕСТУЖЕВЫ 270

М. П. Бестужев в окружении пяти сыновей и трех дочерей. — Последнее свидание. — Через Финский залив в Швецию. — Ночной обыск. — Арест четырех братьев. — Дуплейная болезнь и смерть Петра Бестужева. — Елена Александровна Бестужева. — Ходатайство о разрешении ехать в Сибирь и отказ царя. — Смерть матери. — Новое разрешение и отъезд сестер. — Встреча в Сибири. — Занятия Бестужевых. — «Шлиссельбургская станция». — Смерть Н. А. Бестужева. — Отъезд сестер Бестужевых в Москву. — Положение М. А. Бестужева в Сибири. — Помощь Литературного фонда. — Нужда и смерть.

Глава восемнадцатая. ОСВОБОЖДЕНИЕ 293

Через двадцать пять лет. — Гости с Большой земли. — Музыка в жизни декабристов. — Гастроли артистов из России. — Заботы о существовании. — Смерть Николая I. — Новое царствование. — Прибытие петрашевцев. — Помощь жев декабристов Ф. М. Достоевскому. — Манифест об освобождении. — 66 могил декабристов. — Возвращение оставшихся. — Культурная роль декабристов в Сибири. — Места казни и поселения декабристов сегодня.

Глава девятнадцатая. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 310

Волконские в Париже. — А. И. Герцев и С. Г. Волконский. — Л. Н. Толстой о С. Г. Волконском. — Недоверчивое отношение правительства к декабристам. — Донесения агентов III отделения. — Два «съезда» в Твери. — Артельная касса декабристов в Москве. — И. И. Пущин у дочери К. Ф. Рыльева. — Портрет С. Г. Волконского в Галерее 1812 года. — Возвращение Георгиевского креста и медали 1812 года. — Смерть М. Н. Волконской. — Смерть С. Г. Волконского. — Смерть А. В. Поджио. — Нарышкины. — Высылка из Москвы И. Д. Якушкина и Н. В. Басаргина. — Похороны И. Д. Якушкина и донесение тайного агента. — Смерть С. П. Трубецкого. — Н. Д. Фонвизина в Москве. — Высылка из столицы. — Н. Д. Фонвизина и И. И. Пущин.

Глава двадцатая. ВЛАСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ 331

Н. А. Некрасов и М. С. Волконский. — Как были созданы Н. А. Некрасовым «Русские женщины». — «Последний луч» В. Г. Короленко. — Л. Н. Толстой в работе над романом «Декабристы». — Л. Н. Толстой у дочери К. Ф. Рыльева. — Рассказы дочери Муравьевых, С. Н. Библиковой. — Посещение Л. Н. Толстым казематов Петропавловской крепости. — Беседы с декабристами. — С. Н. Библикова — хранительница живых традиций декабристов. — Культ воспоминаний. — Письма И. И. Горбачевского из Петровского завода. — На старом пепелище. — И. И. Пущин у могилы А. Г. Муравьевой. — Головная шетка казненного С. И. Муравьева-Апостола. — Памятные вещи декабристов в Эрмитаже. — В. И. Ленин о декабристах. — «Тризна поколений».

Оформление Евг. Когана.

*Подбор иллюстративного материала
М. Барановской*

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Для средней школы

Гессен Арнольд Ильич

ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД...

Ответственный редактор Б. В. Луния

Художественный редактор С. И. Нижняя

Технический редактор Т. М. Токарева

Корректоры

Э. Л. Лофенфельд и К. П. Тягельская

Сдано в набор 11/XI 1964 г. Подписано к печати
18/IV 1965 г. Формат 60×84 1/16 Печ. л. 26. Усл.
печ. л. 23,74. Уч.-изд. л. 22,69+32 вкл.=24,59. Ти-
раж 100 000 экз. ТП 1965 № 522. Цена 1 руб. 09 коп.
Издательство „Детская литература“. Москва,
М. Черкасский пер., 1.

* * *

Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавополиграф-
прома Государственного комитета Совета Мни-
стров РСФСР по печати. Москва, Сушецкий вал,
49. Заказ № 1392